

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей Российской Федерации,
Администрация Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Н.М. АХПАШЕВА
Б.Л. АЮШЕЕВ
А.Г. БАЙБОРОДИН
Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ
Б.Я. БЕДЮРОВ
В.А. БЕРЯЗЕВ
Б.В. БУРМИСТРОВ
С.В. ВТОРУШИН
В.В. ДВОРЦОВ
Б.С. ДУГАРОВ
А.И. ИВАНТЕР
В.Н. КАЗАКОВ
Б.Н. КЛИМЫЧЕВ
Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)
В.М. ЛОМОВ
С.Г. МИХАЙЛОВ
А.М. РОДИОНОВ
Э.И. РУСАКОВ
Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА
А.Б. ШАЛИН
В.Н. ЯРАНЦЕВ

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

4 апрель 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Зинаида СИНЯВСКАЯ. Пазлы. Повесть.	3
Виктория ДЕРГАЧ – ВА. Монологи. Рассказы.	37
Татьяна МАСС. Дневник эмигрантки. Главы из повести.	57
Николай БЕРЕЗОВСКИЙ. Два рассказа.	98
Валерий РОНЬШИН. Аркадий Петрович Чесноков-Богданов. Очерк о жизни и творчестве.	106
Дмитрий БИРЮКОВ. Черный квадрат. Главы из повести.	120

ПОЭЗИЯ

Александр ПЛИТЧЕНКО. Свет Бородинский за Уралом. Стихи.	25
Ирина СУРНИНА. Златоцвет и Чернобров. Стихи.	52
Константин ЧЕБАНЮК. Понтийские песни. Стихи.	95
Ян БРУШТЕЙН. Севера. Стихи.	102

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил ЩУКИН. «Белый фартук, белый бант...» Судьба гимназии и гимназисток. Окончание.	144
--	-----

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

К 70-летию Александра Плитченко

Алексей ГОРШЕНИН. Многостаночник.	166
Евгений ГОРОДЕЦКИЙ. Дорога к Богу.	177
Егор ПЛИТЧЕНКО. Горный город.	182
Анатолий САДЫРОВ. Четыре славных Александра.	185
Иван ОБЧИННИКОВ. Саша.	186

Книжная полка

Екатерина ФЕДОРЧУК. Оценить «величие замысла».	187
---	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Главный редактор, руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» В.А. Берязев.

ПАЗЛЫ

П о в е с т ь

БАЛКА

Дом наш стоял над самой балкой. Так называли глубокий и широкий овраг, извилисто тянувшийся от географического центра города к речке Кошевой, правому рукаву Днепра.

Все что за балкой получило название *Забалка*, частный сектор. Дома, саманные и каменные, крыши, железные и камышовые, черепица, акации, клены, палисадники... Розовые мальвы — «собачья роза»... Сады.

Город поднимался от воды и стелился правильными квадратами кварталов; почва съезжала вниз к югу, чтобы дальше снова круто вздыбиться. Застройка постепенно обыграла рельеф. Порядок смялся, косые улочки разбежались направо и налево, и вся эта неравномерность компенсировалась двумя мостами: неприметным, на Тракторную улицу, и высоким длинным, Панкратовским.

Балка проходила под ними, она была глубокой и растянулась на несколько километров. Она образовалась как русло талых и дождевых вод, которые, бывало, пронесли по ней с ревом горной реки. Кое-где на стенках ее, зацепившись корнями, поднимались деревья и кусты. Пологие склоны были покрыты ковром ромашек, спорышом или зарослями сочной лободы, мерцающей изнанкой листьев. Сюда приходили рвать траву для кроликов и коз, и главной задачей было не свалиться: там, где ничего не росло, земля часто обваливалась, потому к созревшей трещине опасно было приближаться.

Под тремя арками большого моста, в зарослях дерезы на высоких склонах, что за Тракторной, среди бледных маслиновых деревьев, извивавших свои стволы в кучугурах, по ее дну, когда было сухо, «воевали» сыщики-разбойники, с выкручиванием рук, со взятием в плен, со страхом почти взаимных боев.

Балка снилась не мне одной. Во сне я летала над балкой, зависая над самым глубоким местом, сто раз испытывала пустоту в животе от свободного падения, исходила страхом от ожидания неминуемого удара и никогда этого удара не испытала. Но иногда снилось, что я на дне и ищу способы выбраться.

ВЕНЕЦИЯ

Если нужно было в центр, говорили — «в город», — как будто там, где мы жили, был не город. Возвращаясь из города по прямой булыжной Торговой, я объявляла провозжатым: «А сейчас я покажу Венецию!»

Мы сворачивали в наш узенький проулок, оставив позади на углу одинокий фонарь. Нащупывали ногами вросший в землю ракушняк, в зависимости от времени года соскальзывая на обледенелых рывтинах или увязая в глубокой грязи, огибали знакомую ржавую трубу, торчащую у колонки, и, проскочив несколько домов, вдруг останавливались перед открывшимся пространством.



Далеко впереди высилась каменная стена моста с тремя полукруглыми арками и цепочкой фонарных огней, лабрененом висящих над огромной сценой. Путь преграждала балка. Она выкатывалась справа из-за домов проулка, изгибалась и уходила далеко вперед под центральную арку Панкрата и дальше, насколько было видно. Домики по левую сторону тоже уходили к мосту, прижимаясь к балке все ближе, дорожка между ними и балкой сужалась и исчезала, последние заборы и стены, как-то укрепленные, висели над пропастью, а вход к ним был уже с соседней параллельной улицы.

Напротив проулка, по ту сторону балки, как раз на ее изгибе и стоял наш дом, начиная правый ряд домов этой дикой улицы, на которой вместо проезжей части зияла балка. За домами, за высокими тополями и акациями, выглядывавшими из-за крыш, темнела гора, на ее гребне желтели окошки верхней улицы. В небе висела луна. На дне балки что-то журчало. «Венеция...» — я плавно обводила рукой панораму.

ДОМ

Я так подробно и детально выписываю рельеф, потому что этот неординарный пейзаж сформировал не только черты природы и характера, но и заложил основы восприятия окружающего мира. Мир вокруг был плоским, и только в нашей «Венеции» все выглядело уникальным.

На ту сторону вел мостик — сваренные между собой листы железа, укрепленные на сваях. Все, что нужно было для жизни, включая стройматериалы и уголь на зиму, перетаскивали, перевозили на тачках по этому настилу. Со временем он перекосился, края загнулись, земля осыпалась, потому дыру между берегом и железом нужно было перепрыгивать. По этой причине меня на улицу не выпускали, а если уж выпрашивалась, то строго-настрого приказывали стоять у калитки и на ту сторону не ходить. Потому и в школу меня отдали с опозданием.

Позже, в пору моей юности, устав от воплей местной общественности, власти перекинули через балку добротный деревянный мостик с поручнями, на котором можно было стоять над пропастью, читать стихи и целоваться. Мостик всегда оккупировала какая-нибудь парочка, и не одну шляпку унес поток...

Дом стоял боком к улице, выглядывая тремя окнами из-за каменного забора. От калитки вдоль всего дома через двор шла дорожка и упиралась в низенький соседский заборчик из серых выветренных досочек. Из таких же усохших досок со щелями был порожек перед входной дверью в пристроенный квадратный коридорчик с окнами из двенадцати стеклышек в переплете деревянных реек. Если бы мы жили в селе, то этот низенький коридорчик назывался бы сенями, а в настоящем городе — прихожая, но у нас он назывался *светлым* коридором. Из него попадали в большой и высокий *темный* коридор, а после — в большую кухню с окном, смотрящим в сад Шпарковских. Из кухни и из темного коридора двери вели в комнаты слева и справа — узкие и длинные, с окном в торце, и большие и квадратные, с окнами по двум стенам.

Дом этот бабушка купила у каких-то своих дальних родственников, тем самым их здорово выручив, так как в доме жили квартиранты, но выселить их после покупки дома было невозможно. Квартиранты — название тоже условное, потому как люди эти зашли в дом и стали жить, когда хозяева были в эвакуации. В узенькой комнате обосновалась старшая из сестер-квартирантов — Маланья, тихая и забитая тетка, сторожиха, а в большой — Шурка с дочкой-школьницей. Шурка была продвинутая, знала дорогу к властям, а наличие мужа в армии давало ей право голоса. Так что мы жили на дядиной половине — бабушка, дядя, мама и я. Я спала с бабушкой на сундуке, изучая ее мягкую белую спину.

Днем на весь большой дом и двор нас было двое — я и бабушка. Дом околдовывал сквозняками, скрипом половиц, шорохом под шкафом, ритмом каплюющей воды, лунным окном с мотающейся веткой, темным большим коридором, который надо было успеть пробежать, открыть дверь и вскочить в светлый проем, пока сердце не выскочило. Я и сейчас в темное помещение захожу с опаской...



Собака лает, листья падают, что-то катится по крыше. Дом, двор, день наполнены звуками... Непонятные звуки настораживают. Но из дальней комнаты доносится и зовет торопливая игольчатая дробь швейной машинки, как усиленный и ускоренный стук сердца, как будто маячок мигает: я здесь, не бойся...

СОСЕДИ

Наш дом заслонял от улицы камышовую хатку Карпенок. Такие хатки рисуют в детских книжках: два маленьких оконца, дверь, наползающая крыша из камыша, и заваленка вдоль стенки, обмазанная глиной и теплая от солнца. Иногда меня пускали туда поиграть со своими куклами.

Хозяйничала там старшая Екатерина Ивановна. Мне разрешалось называть ее бабушкой Катей, но бабушка моя обращалась к ней только по имени-отчеству и уважала. Бабушка Катя была сухой высокой старухой, с вытянутым скорбным лицом, в белом платочке, длинной темной юбке и в бесцветной, в крапинку, кофте навыпуск. Она всегда была молчаливой и суровой.

О Карпенках на улице никто ничего не знал. Откуда, кто?... Лишь через много лет, помогая им составить ходатайство о получении жилья, я узнала, что старшая Карпенка была в гражданскую медсестрой.

Бабушка Катя пряталась от ветра в загородке, под высоченным чумаком, который по весне пышно зацветал и распространял невыносимо противный запах. В их доме было две комнатки и коридор, в нем на всю длину лежала дорожка, которую бабушка Катя сплела из полосочек, нарезанных от барахла, что выбрасывали на берега нашей балки. От этого половика у меня осталось тихое преклонение перед чудом рукоделия.

Очень редко меня пускали в дом. Там всегда было полутемно, пахло сыростью и керосином; над высокой кроватью на стене висела картинка с лаковыми «объемными» лебедями на голубой воде, а в углу под потолком — темное полотно с неживым плоским лицом и огромными глазами. Я из-за этой картины дальше порога не проходила: что-то в ней было не так, чего-то хотели от меня эти страшные глаза...

У нас в большой комнате на стене висела черная круглая тарелка — репродуктор, а пониже, петелькой на гвоздике, ромбик керамической плитки с черной глазурью, на ней — белый конверт с веткой сирени. Еще выше висела большая картина в рамке: вышитая крестиком собака с бело-коричневыми ушами бежит под деревом; дерево раскидистое, зеленое, глаза у собаки грустные. В гладко-коричневом, со стеклами, книжном шкафу у мамы был спрятан журнал «Огонек», на лаковой странице которого из освещенного окна выглядывала красавица с полными золотистыми руками, а внизу, в темноте, можно было разглядеть всадника в огромной шляпе. Это картина про любовь, неизвестно откуда, но я это знала.

Старшая дочь бабушки Кати, тоже Екатерина Ивановна, молодая копия матери, работала в швейной мастерской, была партийной и тоже строгой — ни слова, кроме «здравствуйте». Младшая же, тетя Наташа, вся в кудряшках, была маленькой, фигуристой, курносенькой, большеглазой и смешливой. У нее была дочь, Зойка, старше меня на три года, поэтому я от их заборчика не отлипала.

КОЛДУНЯ

Карпенки жили под одной длинной крышей с Полиной Васильевной, маленькой кукольной колдуньей. Ее дверь и окошко пряталось от нас за огромным деревом-кустом сирени.

Когда весной этот гигантский букет покрывался бледно-сиреневыми конусами-гроздьями, голова кружилась от нежного волнующего аромата. Он был везде — в сарае, в туалете, в собачьей будке, во всех комнатах; свернув в наш проулок, можно было идти на этот запах с закрытыми глазами.



Полина Васильевна, была настоящей дамой, хоть и крошечной. У нее был маникюр, седенькие тоненькие косички кулечком на макушке и брови полумесяцем; в город она выходила в крепдешинном платье. В доме у нее в низкий потолок упиралось зеркало, да не одно, а из трех частей; в том зеркале перемешивались непонятным образом окружающие вещи, даже моих лиц там было три или больше. А на высокой тумбе перед этим неприятным зеркалом толпились разной формы и размеров пузырьки и коробочки. Особенно много там было бутылочек из синего темного стекла с неестественно большими пробками. Наверное, я уже знала слово «яд», ничто не могло меня заставить дотронуться до этих бутылочек, но колдунья улыбалась мне и пыталась сунуть в руки пахнущие сладким пустые стекляшки: «Играйся, дэточка...»

У Полины Васильевны, как и у всех, было свое несчастье. Ее красавец-сын, в черном кителе с золотыми пуговицами, потерял ногу — на войне или по случаю, после чего от него ушла жена. Наверное, она тоже была красавицей. Иногда он в майке и трусах лежал под деревом на старой кровати за высоким дощатым забором и плакал. В щели между досками я разглядывала его красивую волосатую ногу и полноги; слез я не видела, но не сомневалась, что он плачет.

ТЕТЯ ОЛЯ

Когда солнце уходило за мост, у своей калитки усаживалась тетя Оля, большая и толстая. Тетя Оля была болезненно толстой. При любом движении все ее рыхлое тело, щеки, подбородки, валики над локтями сотрясались и колебались. Передвигалась она, суча по земле ногами-колоннами в галошах, потому как никакие тапки этого трения не выдерживали.

Тетя Оля пережила войну в своем доме, платья-балдахины у нее были довоенные, штапельные. (Наша бабушка штапельное платье надевала только на выход, а для дома шила халатики из ситца.) Имущество тетя Оля сохранила, но у нее пропали дети, Валя и Толик. Не то немцы угнали их в Германию, не то они сами туда подались. Иногда тетя Оля выла по детям тонким высоким голосом. Если со двора, когда Мишки не было дома, доносилось это горестное замораживающее «И-и-и!», тетки на улице говорили: «Мабуть, дитев помынае».

Если залезть на большую деревянную лестницу, приставленную к нашему чердаку, то можно было увидеть весь двор тети Оли, от зарослей курчавой светло-зеленой ромашковой травы до парочки молодых акаций, которые казались мне мальчиком и девочкой. У порога дома росла груша, дававшая такие дивные плоды, вкуснее которых не было ни у кого. Иногда тетя Оля давала бабушке миску с грушами «для дивчынки».

Во двор к тете Оле, при всех его красотах, было не так просто зайти — вдоль металлического сетчатого забора прогуливалась угрюмая псина.

МИШКА

Мишка к тете Оле «пристал». Был он списанным моряком, боцманом или, может, капитаном. Семья у него погибла. На нашей улице он был белой вороной, даже ходил всегда в белом костюме и в белых же парусиновых туфлях. Небольшого роста, крепкий, с фигурой, напоминающей переспелый огурец, розовым лицом и такой же лысиной, белыми бровями и короткой сединой. Голоса его никто никогда не слышал, кроме дней аванса и зарплаты, когда он положил всю улицу своими представлениями. Услышав в такие дни первые аккорды Мишкиного выступления, бабушка обычно загоняла меня в дом. Но иногда она пропускала этот момент, оглушенная стуком своей машинки, и я тут же занимала наблюдательный пункт у калитки, предварительно проверив, закрыта ли она на запор, ухватываясь за поперечину, чтоб легче стоять на носках, приподнимала крышку почтового ящика и пристраивалась к прорези, будто к биноклю. Ждать предстояло долго — Мишка не спешил, его рулады неслись впереди певца, пока он неумоимо продвигался к намеченной цели.



Улица тем временем вымирала. Пряталась Люськина голова в бигудях, по полдня торчавшая над мазанным забором напротив. Чуть ближе к мостику маячила в форточке Зинка Бобух, уютившись коленками на подоконнике. Зойка сопела у своей калитки, за серыми досками забора я видела край ее красного сарафана. Все в напряжении ждали, затаившись...

И вот появлялся Мишка. Он выходил на простор из проулка и надолго останавливался. Солнце слепило ему глаза, раскрасневшееся лицо было плаксивым, из-под съехавшего пиджака и разодранной рубашки выступала розоватая грудь, поросшая белым. Ему нечем было дышать, он открывал рот и поднимал левую руку с кулаком, продолжая начатый с кем-то спор:

— Ить... мать... твой... С-с... — сипел он.

В его ругани ничего нельзя было разобрать, из искривленного рта рвались отдельные непонятные слова, аккорды гнева — и почему-то верилось, что гнев праведный. Он наклонялся немного вбок и с силой выбрасывал кулак к солнцу и небу. Кого он проклинал?.. Бога, Сталина, Гитлера, судьбу?..

У мостика была Мишкина последняя остановка, вдох отчаяния и мобилизация сил — накренившийся скособоченный мостик еще надо было перейти. Коленки у меня дрожали, а сердце стучало как бабушкина машинка: перейдет или не перейдет?!.. Мишка выпускал последнюю обойму ругани, концентрировался на последнем рубеже и...

У калитки тем временем молча ждала тетя Оля. Мишка заходил во двор, и ее большое мягкое тело безропотно принимало в себя остатки яростной бури. За две недели синяки бледнели или вовсе сходили, и жизнь продолжалась.

Мне все это, запрещенное, подслушанное и подсмотренное, непонятное, таинственное и загадочное, по накалу своему почти священное, казалось чем-то сакральным.

БАБУШКА

Утром я сплю, сколько хочу, а потом весь день толкусь у бабушкиных ног. Бабушка топит печку, варит кашу, стирает в вагане, прямоугольном цинковом корыте, на высокой табуретке. У меня своя табуретка, пониже. Еще у меня есть детская посудка из дерева, чтобы кормить куклу, серая кошка и Тузик. На Тузика я могу положить голову, когда он стоит.

Мама на работе, дядя в институте. Мама приходит очень поздно, когда я уже сплю, она приносит из школьного буфета кусочек булочки с тонюсеньким розовым кружком колбасы. Я так сильно это люблю, что меня будят, и я тут же съедаю принесенное, разрываясь между сном и действительностью и считая маму феей.

Дядя надо мной подтрунивает: скажи «апроксимация»... скажи «дифференциал»... В моем произношении это звучит так, что все дядины друзья аплодируют, лишь бабушка меня спасает от них.

Бабушка меня воспитывает. Она поручает мне подметать пол и заставляет по несколько раз собирать мусор на совок, потому что у меня не сразу выходит. И я не на шутку устаю от этого занятия. А бабушка говорит: «Чего губы надула? Хочешь крутить колесо, будь хорошей девочкой». Крутить колесо от машинки, когда бабушка шьет — это большой почет. К тому же я зарабатываю себе лоскутки и шью из них что-нибудь целыми днями.

Чулки у меня всегда висят гармошкой, поэтому их надо подтянуть, прежде чем выйти за калитку. Бабушка с ведрами идет в конец улицы за водой, я семеню рядом, держась за ее подол. У деревянного заборчика между нашими дворами она может остановиться для разговора с Екатериной Ивановной. Я жду рядом, засунув палец в рот, хоть меня за это и ругают.

Если я влезаю в разговор, меня наказывают. Бабушка говорит: «Неси табуретку». Я начинаю реветь, несую, снимаю трусы, ложусь на табурет — и она стегает меня матерчатым поясом от своего халата. Это совсем не больно, но самое страшное в процедуре — осознание того, что наказание неотвратимо...

Левая рука у бабушки очень красивая — веночки по верху ладони расходятся букетиком. Правая — совсем другая: пальцы вкривь и вены складываются в прямоугольник с толстой поперечиной. Бабушка и сама красивая, но не так, как мама, без краски. А еще она... мягкая. Мы спим с нею на сундуке. Она на краю, я — возле стенки. У нее спина белая, гладкая, «мраморная». И у нее есть кнопочка-бородавка, я люблю ее нажимать. «Спи, Зыночка», — почему-то бабушка любит называть меня именно так. Но спать не хочется, и я дразнюсь — не дышу. Я научилась затаивать дыхание, пока бабушка не заметит и не встряхнет меня, рассердившись.

Самое восхитительное — это летние вечера, когда темно и видна только белая марлевая занавеска. Бабушка сидит на маленьком стульчике, прислонившись к закрытой половинке двери. Я у нее на коленях, в подоле ее юбки, отчего юбка часто трещит и рвется. Над нами лампочка, вокруг рассеивается свет, видны ближние вырезные листья виноградской беседки напротив и ствол груши; дальше — сгущающаяся темнота. Вокруг лампочки кружатся мошки и комары, в траве что-то звенит — наверное, кузнечики. Почему-то принято говорить, что они стрекочат, но слышна только морзянка на одном высоком «з-з-з». Если свет выключить — будет видно небо со звездами, но тогда страшно. Мы одни, мы ждем своих.

Тут, в этом гамаке, я многое узнала о бабушке и о себе. Я засыпала под журчание рассказа и снова не знала, сон это или явь...

ТАЙНЫ РАСКРЫВАЮТСЯ

Дядя учился, мама работала. Папа где-то был, но очень далеко. Бабушка шила на заказ. Окончив работу, она собирала все лоскутки, сворачивала их трубочкой, перевязывала косым тонким остатком и бросала в матерчатую торбочку. Таких торбочек под кроватью хранилось много. Там были култышки из шотландки в клеточку, байковые, ватные на ощупь рулончики, ситцевые узорчатые кусочки, сатиновые, гладкие и с косыми нитками, штапельные, шелковые, шифоновые, крепдешиновые, креп-жоржетовые с волшебными цветами, даже бархатные, панбархатные и плюшевые. Я могла с закрытыми глазами на ощупь найти тот сверточек, что подходил к моей задумке.

Заказчицы приходили на примерки. Это были женщины, знакомые бабушке еще по довоенной жизни, мамыны коллеги-учительницы и соседки с улицы. Я сидела в уголке, играла с лоскутками и слушала их разговоры. Говорили они о том, какая жизнь сложная, сколько что стоит, о всяких болезнях, о том, как было до войны, о самой войне или о ком-то из знакомых. Бабушка держала губами булавки и говорила мало.

Часто захаживала Полина Васильевна; она крутилась перед зеркалом, пытаясь увидеть свою круглую спину, и сыпала незнакомыми словечками:

— Гофрэ, Софья Борисовна, гофрэ... Мне хочется фантази...

Пока бабушка поправляла и приметывала, собеседница успевала сообщить свое мнение о соседях. Особенно доставалось Карпенкам — Полине Васильевне не давала покоя хохотушка Наталья:

— Нэт у нее никакого мужа! Капита-ан... Вы знаете, что такое капитан?! Если бы он был, мой Константин знал бы фамилию. Его нет! И не было. Вы посчитайте, Софья Борисовна, посчитайте. Девять месяцев! Когда родилась дэвочка? То-то же! Посчитайте...

Речь шла о Зойке. Зойка говорила, что ее папа плавает, он привезет ей говорящую куклу из заграницы. Папа задерживался. Но он и не очень-то был нужен: кукла была у меня, большая, трофейная, дядя привез, у нее даже открывались глаза. Кукла жила у Зойки, и та с ней играла сколько хотела. Но меня беспокоил загадочный счет, который Колдунья навязывала бабушке. Счет, связанный с рождением и долгим отсутствием Зойкиного отца. Читать я уже умела, но тайну разгадать не могла, надежда оставалась только на Зойку — она и считала лучше, и, наверное, понимала больше.

Мы стояли на улице у нашей калитки, я тихо и настойчиво наговаривала Зойке мантру: «Девять месяцев... посчитай...» Мне только было не слишком понятно, от какого события надо отсчитать девять месяцев, чтобы счет приобрел смысл.



— Зойка, считай, — наступала я в экстазе предоткрытия, — нет никакого отца!
— Как это — нет? — Зойка неожиданно возмутилась и огрызнулась: — Это у тебя нет!

— У меня есть, — спокойно парировала я. — Мой папа учится, он далеко.

— Ага, учится... В тюряге твой папочка, в тюр-ря-ге, все знают! — и она легонько оттолкнула меня.

Трава была скользкой, как и подошва у сандаликов, я не нашла, за что зацепиться, потому потихоньку сползала по покатоному склону в балку, оглушенная новостью, пока кто-то из взрослых не ухватил меня за шиворот.

ОЖИДАНИЕ

Зойка была права — мой папа отбывал срок.

На третьем году его армейской службы началась война, аэродром бомбили. В обнимку с радией он прошагал от Сталинграда до Кенигсберга. Когда война закончилась, солдат-победитель демобилизовался и зашел повидаться с родственниками, только что вернувшимися на родное место из эвакуации. Высокий, сильный, красивый... Контуженный, правда, но это не в счет. Девушка, двоюродная сестричка, мыла пол; увидела — раскраснелась, тоненькая, ясноглазая, летящая, кинулась на шею. Вскоре поженились, сняли комнатку в восемь квадратных метров, для себя и для бабушки. Папа работал мастером в профучилище, перед моим рождением перешел работать в кооперацию. Время было строгое, за украденный коробок спичек получали срок. В какой-то момент, не удержавшись на вираже между требованиями жизни и прямолинейными установками советского законодательства, папа попал в места отдаленные, успев все-таки увидеть меня, новорожденную. Нам предстояло прожить без отца двенадцать лет.

Тем временем вернулся с японского фронта мамин младший брат, и мы переехали в купленный на бабушкино имя дом над балкой.

Зимой мы слали папе посылки...

В доме пахнет вкусным. Жарится мясо, потом оно заливается жиром и застывает на холоде. Бабушка называет это блюдо «таканкой». Мне его дают попробовать; я бы ела и ела эту вкуснятину без остановки, но это для папы.

В печке потрескивают дрова. Я сижу на маленьком стульчике и грызу семечки; шкурки можно бросать на пол, только потом надо их подмести в угол, к дровам. На стенке напротив мечутся тени от огня, на столе горит свечка; мама склонилась возле огонька над пальцами. Мама очень худенькая, у нее голубые глаза и красивая улыбка. Таких губ, как у моей мамы, нет ни у кого. Редкими свободными вечерами она вышивает картину гладью. На светло-бирюзовом атласе два белых голубя прижимаются друг к другу. Серебристые крылья, черные, с оранжевым ободком, кружочки глаз, желтые клювы... Я пытаюсь разгадать, кто из них мама, кто папа. Конечно, тот, кто чуточку побольше — это папа. У меня тоже есть папа, вместе с мамой мы его ждем.

Летом ждать веселее. День начинается утром, переваливает через полдень, склоняется к вечеру, вползает в сумерки и в темноту. Огромный старый клен у заднего угла дома держит корнями край балки. Клен — дух двора, символ детства, источник бесхитростных радостей, тени, весеннего цветения. Мощные ветви расходятся над забором и простираются над балкой; из необъятного внизу ствола с морщинистой корой прут по весне тонкие светло-зеленые веточки веером. Каждое утро я проверяю, насколько они подросли. Когда ветки становятся достаточно твердыми, их можно срезать и выписывать по ним узоры, острым ножичком снимая тонкую шкурку, под которой мокрое и желтовато-белое тело. Дядя даже может обстучать кожицу, сташить ее с веточки, не повредив, сделать на древесине насечки, вернуть назад шкурку — и будет мне свисток.

Недалеко от клена низенький курятник из жердочек. Когда куры квохчут и заливаются, бабушка просит меня залезть внутрь, — только с моим росточком и можно



добраться до гнезда. Солнышко просвечивает в щели, тени от жердей лесенкой ломаются на соломе, пахнет перьями, а в золотистом гнезде розовеет яичко... И руки потеют от счастья. А потом бабушка крутит этим живым теплым яйцом вокруг моего лица, приговаривая, чтоб лицо мое было такое же чистое и овальное, как яйцо.

Почтовый ящик, немножко помятый, с облупленной краской, плоский, волшеббно притягательный. Письмо в почтовом ящике похоже на яйцо в гнезде. В двенадцать часов несут почту. Я жду ее, крутятся у калитки и без конца заглядывая в ящик — вдруг пропустила. Иногда в косую щелку виден остро белеющий уголок, и сразу понимаешь, что там — только газета или и письмо тоже. Бывает, что письмо вложено в газету и выпадает при развороте; а иногда газет и писем так много, что их не опускают в прорезь, запихивая пачку прямо в ящик. Тетя Клава, наша почтальонка, с большой черной сумкой на ремне через плечо, набитой газетами, со стопкой писем в руке стремительно несется из проулка к мостику, загорелая, худая, длинноногая, и кричит:

— Пятьдесят шестой — письмо!.. Пятьдесят второй — газета!.. — и мы бежим ей навстречу, потому что взять почту из ее рук — это к удаче.

Письма приходят от бабушкиных сестер и от папы. От папы каждую неделю. Мы ему тоже пишем каждую неделю. Мама макает ручку в чернильницу, у нее получаются буквы ровными рядочками; я усердно соплю рядом. В каждом письме мы посылаем ему отпечаток моей ладони: я растопырываю пальцы, а мама обводит их карандашом. За четыре года рука выросла и скоро не поместится на лист. Папа на фотографии в армейской форме, в буденовке со звездой, у него широкие темные брови, прямой сильный нос, улыбка до ушей, а глаза говорят: посмотрите, какой я молодец! Я люблю папу на фотографии, только мне не понятно, чем это он так доволен... Он пишет, что целует отпечаток моей руки, и грустного я люблю его больше, чем на фотографии.

МЫ ЕДЕМ К ПАПЕ

Для меня в воспоминаниях важны ощущения. Вспомнить — не просто выудить из памяти дату, место, суть и картинку события, но восстановить ощущение самой себя и свою взаимосвязь с миром в нужный момент.

На четвертое лето своей безмужней жизни мама отправилась вместе со мной в тяжелую поездку — проведать папу. Через год, после смерти Сталина, была амнистия, и папа вернулся домой. Знала бы это наперед мама, потерпела бы еще год — может, было бы меньше обид и сложилось бы все как-то иначе...

Я немного помню из той поездки — что-то из этого рассказала мама, но что-то осталось и от собственных переживаний.

Помню мамин пиджак... Помню серый пустырь и дорогу к вокзалу... Помню мерцающую темную воду далеко внизу и страх... Помню... помню... помню...

Я сижу на краю подводы спиной к лошади, опираюсь на руки и болтаю ногами. Я переполнена удовлетворением и предвкушением. Мама взяла меня, взяла, потому все угрозы и опасения позади — мы едем к папе! Нам предстоит добираться на поездах с пересадками, на пароходе, еще на чем-то, а пока что мы едем на подводе по нашему городу, который мне почти так же не известен, как и далекий Рыбинск, куда мы направляемся.

Я болтаю ногами и рассматриваю пуговицу, на которую застегнута петличка туфли. Я стараюсь не глядеть на туфли, только на пуговицу, выпуклую, как головка у гриба. Я ненавижу эти туфли, новые коричневые туфли с рантом и квадратным носком, потому что они грубые, твердые и коричневые. Мне понравились бежевые, с закругленным носком на тоненькой подошве... и без рантов. Без рантов! Но я не знаю этого слова и не могу объяснить маме, почему я так сильно не хочу эти туфли, поэтому продавщица смотрит на меня зло, а мама сердится, так что даже устроенный мною скандал не помогает.

Я сижу на подводе и болтаю ногами. Внутри меня танец: мама взяла меня, взяла! Мы едем к папе...



В Москве у нас пересадка. У мамы большой твердый чемодан с треугольными набалдашниками на углах, сумка, перевязанная веревкой, сумочка в руках и я. Меня не надо нести, я иду ногами. Мы устраиваемся возле стенки; справа и слева от нас вдоль стены сидят и лежат люди с чемоданами и узлами. Это привокзальная площадь. Я глажу булжники, они, теплые и серо-фиолетовые, расходятся веером из-под меня; вся площадь, вымощенная этими разбегающимися полированными булжниками, поднимается перед нами, и там, на бугре, стоят несколько будочек на колесах. На каждой из них по два длинных вертикальных сосуда с красным и оранжевым сиропом, а из крана с рукояткой между ними тетечка напускает в стакан воду с *бульбочками*. Я еще не знаю слова «газировка», но туда, к холодной жгучей воде с сиропом и бульбочками, я дорогу проложила. Ждать нам поезда до глубокой ночи. Танцующие булжники кружат мне голову, и я, расставив ноги, двумя руками крепко держу тонкий стеклянный стакан, в котором тает пена. Вдруг все начинает вертеться, я зажмуриваюсь и хватаюсь зубами за край стакана, а мама, присев на корточки, ласковым голосом просит меня выплунуть стекло... Когда объявляют посадку, я засыпаю, и разбудить меня уже невозможно...

Мы все ближе к папе. С причала на пароход ведет узкий шаткий мостик; кто-то в морской фуражке и очень красивый переносит меня на руках. Верх фуражки — белый и круглый.

— Это еще не папа? — спрашиваю я.

— Нет, это не папа...

В поселке, где жили бывшие заключенные, нас ждали. Мы остановились в доме у папиного бригадира.

Мне скучно и неприкаянно. Вдоль дома тянется длинный огород. Зеленые заросли на нем с меня ростом, я их побаиваюсь. Мама что-то шьет на машинке, для хозяйки. Когда она встает, я обнимаю ее, висну на ней и поглаживаю ладошками ее пиджак из бумазеи. На приталенном пиджаке зеленые, белые и кофейные полоски расходятся елочкой, и там, где ткань подходит к груди, образовывается очень притягательный изгиб — я все время подпрыгиваю и глажу эту выемку.

Наверное, еще никогда я не проводила с мамой так много времени. Вечером мы идем вдвоем по проселочной дороге. Слева и справа, насколько можно видеть, простирается цветущее картофельное поле. Таких нежных оттенков картофельного цвета из бесконечных бело-желтых и сиреневых мелких бутончиков я не видела больше никогда. Дорога тянется к заводу. Он так далеко, что его длинные двухэтажные корпуса, помещенные в сумерках желтыми точками-окнами, почти сливаются с уровнем земли.

Встречу с папой я не помню. То ли ожидание было слишком ярким, то ли действительность настолько уныло-серая. Комната для свиданий почему-то вспоминается мне большим кубом. Длинный стол со щелями, я внимательно изучаю их. За столом сидит дядька, у него голова без волос, костлявое лицо и большие грубые руки. Он совсем не похож на бравого солдата в буденовке; по-моему, он больше похож на бандита. Он мне совсем не нравится. Мама разговаривает с ним. Из их разговора я не понимаю ничего. Скажут слово — и молчат. Слова падают и проваливаются в щели. Я не хочу такого папу.

РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ

Из путешествия я вернулась не просто повзрослевшей на две недели — мое младенчество сошло с меня нежной шкуркой. У меня появился свой опыт, свое знание, свои картинки, у меня даже был теперь материал для осмысления. Я стала дерзить, пыталась не слушаться.

По-моему, осмелела не только я, но и мама. Она даже отважилась отстаивать свои права перед дядей и бабушкой. У них вышел спор. Видимо, мама рванулась к независимости. Результатом было решение отдать меня в детский сад.

Редкий ребенок, лишенный опыта общения со сверстниками, не обречен на комплексы. В детский сад я ходила три дня. После того как я, старательно складывая



пальцы, показала бабушке дулю, гордая своим новым познанием, взрослые помирились, и я вернулась восвояси, в замкнутый мир двора и дома, взрослеть на виду у взрослых людей. Но даже эти три дня принесли мне новый опыт. Я узнала, что кроме компота из сухофруктов бывает компот из консервированных яблок, и это необыкновенно вкусно. Дети со мной не играли, эта обида осталась мне на память. И еще... мне пришлось испытать удивительное непонятное чувство.

Две воспитательницы сидели на скамейке и тихо разговаривали, пока я возилась в песочнице. Их слова шелестели над моей головой и залетали мне в уши. Они говорили о мальчике, его звали Боря. У него было яичко. Или яичка не было. Или оно было больше, чем надо, или, наоборот, меньше. Только из-за этой беды с яичком ему предстояла операция. Иначе он никогда не сможет жениться. А он такой красивый мальчик...

— Боря, подойди сюда, — одна из воспитательниц подозвала его.

У него были необыкновенные глаза. И ресницы тоже необыкновенные. Воспитательницам было его очень жаль.

Об устройстве мальчиков я представления не имела. И эта зияющая пустотой непонимания проекция на женитьбу заворожила меня тайной. Подслушав, я оказалась сопричастна чужой беде, меня переполнили жалость к мальчику Боре и желание его защитить, опекать, я даже согласна была жениться на нем и без этого злополучного яичка. Если и был в этом какой-то элемент жертвенности, то он остался во мне навсегда — чтобы полюбить, во мне должны родиться сострадание и восхищение...

Говорят, что я очень приставала со всякими «почему». Но на самом деле меня больше занимали философские вопросы: меня родила мама, маму — бабушка, бабушку — прабабушка... ну а до нее?.. Ведь как-то же появился первый человек... Это мне не давало покоя. Бога бабушка отвергала, так же как и теорию эволюции, поэтому она мне ничем не могла помочь. Не могла я своим умом дойти и до первого слова, самого первого слова, с которого началась человеческая речь. И еще... меня очень волновал порог чувствительности. Я видела, как бабушка рукой хватала горячую крышку от кастрюли, пальцами тушила свечку. Когда у меня болел живот или сдиралась кожа на коленке, мне очень хотелось знать, всем ли бывает так больно. Мне казалось, что если очень долго думать над этим, можно додуматься — меня даже иногда бросало в жар в ожидании откровения. Почему-то чаще всего эти размышления настигали меня на завалинке у Карпенок, под рассеянным вишнями солнцем.

ДЯДЯ

Дядя — свет очей моих, боль моего сердца, мамин младший брат. Он носил меня, крохотную, к маме в школу, на кормление. По дороге, бывало, встречная тетка его останавливала: папаша, дите-то — вниз головой...

Дядя — это шевелюра волной, приподнятая бровь, тонкий нос, насмешливый голос, два метра роста, жилетка с бежевыми и коричневыми ромбами, толстые книги, дифференциалы с интегралами.

Иногда он берет меня с собой в институт, сидит в скверике на зеленой траве, что-то читает, а я под его согнутыми ногами, как под аркой, катаю мяч. По дороге туда и обратно мы трудимся. Вывески — это мой букварь. Дядя меня не хвалит, только насмешничает и иронизирует. А я приподнимаюсь на цыпочки и лезу из кожи вон, чтобы отличаться и заслужить похвалу.

Дядя — студент, светлая голова, умница, надежда семьи. В конце войны он семнадцатилетним попал на дальневосточный фронт. На полигоне, когда батарея из восьми пушек впервые выстрелила, дядя дважды перекувыркнулся.

Дедушка на портрете и дядя очень похожи. Бабушка его не просто любит, она в нем души не чает. И одна у нее забота — дядю женить. А это, даже мне понятно, совсем не просто. Потому что... Потому что симпатичная Эллочка — ему до локтя; на улице она норовит столкнуть его на дорогу, а сама семенит по бордюру. У высокой, ему под стать, Аси — лошадиные зубы, Кира — сутулая, а красавица Аня уже



вышла замуж за его друга. Если бы бабушка спросила меня, я бы поделилась подозрением, что дядя всех девушек боится, отгораживаясь от них своими насмешками.

Но однажды у бабушки появилась новая клиентка; бабушка ей шила почти все, потому что на ее фигуру готового не купишь, у нее такой живот, что хоть подставляй повозку... и шею, и плечи. И еще она говорит, говорит, говорит...

И наговорила. Есть у нее младшая сестра — студентка, умница, красавица на выданье. Эта самая сестра вот-вот придет к ней в гости. Надо их с дядей обязательно познакомить.

Она действительно оказалась красавицей, только не студенткой, а врачом с дипломом, и не младшей сестрой, а средней, с опытом неудачного первого замужества... Бабушка не успела опомниться, как все свершилось.

Хлопали двери во всех коридорах, люди приходили и уходили; был длинный стол, а к нему еще приставочка — и называлось это свадьбой. Толстая тетя все время жевала и без конца говорила двум маленьким мальчикам: «Кушайте, дети, кушайте», — отчего моя мама, худая как щепочка, вообще есть не могла. Так у нас в доме появилась тетя Валя. Дядя выглядел вполне счастливым, а к бабушке радость так и не пришла, она посчитала себя обманутой.

ОБМАН — ИЛИ СЛАДКАЯ МЕСТЬ

Свадьба пришлась на осень, и зиму мы прожили уже впятером, теснясь на дядиной половине. Бабушка спала в кухне, дядя с тетей в большой комнате, а мы с мамой в длинной узкой спальне.

Бабушка с Шуркой часто скандалили, ссоры вспыхивали по любому поводу и без повода.

Вот Шурка ковыряет ключом в своей двери в темном коридоре и бурчит:

— Сволочи!

Бабушка бросает ей из кухни:

— Ах ты, дрянь!

Обе распаяются, обзывают одна другую каждая своим набором ругательств. Я потом еще долго сортирую эти слова, пытаюсь определить назначение каждого и расположить их в порядке ругательной значимости. Например, «гадость» — это слабое слово, потому что так можно сказать про какое-нибудь явление, а вот «стерва» — это что-то покруче, но годится только для женщины, мужчин-стерв не бывает. Дядя с нею не ругается, не опускается, но металл в его голосе загоняет Шурку в комнату, как мышку в норку. Она боится и пишет на дядю доносы. Я ее ненавижу и строю фантастические планы мести.

Снег искрится на солнце. Много солнца, много белого и голубого, только серые ветки деревьев да серый деревянный забор разбавляют это белоснежное сияние. На веревке во дворе замерзшими парусами застыли такие же белые и сияющие простыни и пододеяльники — Шурка утром вывесила свежесвыстиранное. В шубе и валенках по сугробам не побегаешь, приходится бродить по расчищенным в снегу дорожкам, жмуриться от света и искать себе занятие. Найдешь сшибленную ветром сухую ветку — и фантазируешь на тему волшебной палочки. Тузик носится где-то рядом, иногда подбегая и облизывая горячим языком. «Тузик, Тузик, оп!..» Тузик включается в игру, вертится волчком, передними лапами колотит по гулкому полотну, еще, еще... На сахаристой поверхности появляется рисунок, будто отпечатался серый забор. Это, конечно, не очень хорошо, но я же не дотрагивалась! Это все Тузик... Спасибо, Тузик!..

Вечером Шурка разбирается с мамой. Мама говорит твердым голосом:

— Зиночка не трогала ваше белье, ей и в голову не придет что-нибудь портить, я ручаюсь за своего ребенка. Наверное, ваши простыни ударились о забор.

Шурка захлебывается криком, но мама закрывает за ней дверь и приступает к допросу. Я бы, конечно, рассказала маме правду, но как тогда мама будет выглядеть перед Шуркой... Поэтому я всячески поддерживаю мамину уверенность в моей непричастности...

Это был единственный в жизни случай, когда я обманула маму.



ШПАРКОВСКИЕ

Зима длинная, зимой мне скучно. Я люблю забираться на подоконник в кухне и смотреть во двор Шпарковских.

Вот мимо окна к туалетной будке идет заспанная тетя Шура в ночной рубашке, наброшенной на плечи фуфайке и в резиновых калошах на босу ногу. Их огромный двор засыпан снегом. Ряды фруктовых деревьев уходят к воротам. Шершавые стволы с мозолями и пеньками обрезков поддерживают заснеженные кроны из разбегающихся и переплетенных ветвей. Под снегом штабели досок, приготовленные для стройки. Еще недавно мы влезали по выступающим торцам досок наверх, бежали по ним и с разгона, визжа, валились боком в мягкие кучи пестрых пряных листьев. Вакханалия необузданной радости. Неужели чудо-праздник был здесь, на месте этого черно-белого царства?

Летом во дворе у Шпарковских кипит жизнь. Наш забор над балкой продолжается их забором. Как раз в этом месте балка заворачивает, пройти под заборами нельзя, только иногда какие-нибудь смельчаки-альпинисты пробуют свои силы и пробираются боком, на носках, цепляясь руками за камни и свисающие побеги клена. Я наблюдаю этот экстрим сверху, сидя в развилке мощных ветвей, спрятавшись в гуще листьев.

У Шпарковских большая семья. Толстая бабушка Варя нянчит чужих детей. Своих малышей нет ни у кого. Кто-то из сыновей сидит в тюрьме; иногда они возвращаются, потом снова пропадают. Тут можно увидеть лохматого дядю Витю, лысоватого Ваську с больным сердцем, Шуру со своим кудрявым Гришкой, младшего Юрку-каланчу и рыжую конопатую Тамарку — как и Зойка, она немного старше меня.

Слева от их двора отвесная стена горы, которая тянется за всеми домами нашей улицы от Панкратовского моста. Вся гора буйно заросла колючими кустами дерезы, летом покрытыми мелкими бледно-сиреневыми и светло-кофейными цветками. В одном месте гору по вертикали стесали на высоту человеческого роста, оголив рыжую твердую глину. Глина всегда нужна, чтобы мазать чердаки, полы в летних кухнях и сараях, ее роют и для более крупных строительных работ. Шпарковские используют ее для себя и дают соседям — кому за деньги, кому в обмен на молоко или яйца. Во дворе у них, можно сказать, маленькое месторождение. Постепенно там образовалась большая, всегда прохладная и сухая пещера. Ее углубили, вырубili ступеньки вниз — получился хороший погреб. Им тоже пользуются ближайшие соседи.

Рядом с пещерой две высоченные сухощавые акации с прибитой между ними перекладиной и двумя толстыми веревками, к которым внизу узлами накрепко привязана доска. На этих качелях можно раскачаться до самой крыши, но я боюсь даже смотреть, как это делает Юрка. Он летит, стоя на доске, и кричит что-то ругательное, да так, что дух захватывает. К Юрке я отношусь... как к инопланетянину. А еще он гоняет голубей, у него деревянная голубятня на вышке с лестницей. Когда он на земле, то ни на кого не глядит, переругивается с матерью и швыряет слюной как-то особенно по-босаяцки. Вечерами у них возле качелей собираются Юркины дружки и Тамаркины подружки, они там играют дотемна, но меня рано забирают домой, я успеваю присутствовать только в самом начале этих игр.

— Я садовником родился. Все цветы мне надоели, кроме... — «садовник» берет паузу и смотрит, кого бы выбрать...

Смысла в игре нет никакого, кроме вот этого выбора. И он называет розу или георгин, или ромашку, выбирая самых красивых и взрослых девочек. Может, не таких уж и красивых... но он никогда не выбирает меня. И уже в темноте, в кровати я прислушиваюсь к дальним взрывам смеха за окном, пытаюсь представить, что там сейчас происходит, и моей грусти нет предела...



ДЕДУШКА

По воскресеньям меня навещал дед, отец моего папы. В окно я видела, как он размеренно шел по улице в белом парусиновом костюме или в прямоугольном черном пальто, высоко поднимая ноги, отставив руки, согнутые в локтях, от туловища и подавшись вперед.

Дед садился на стул с высокой спинкой, сам такой же длинный, худой и твердый, как этот стул, снимал шляпу, вытирал лысину и, растерянно улыбаясь, спрашивал, как дела. Если его самого спрашивали, он отвечал односложно. Меня он ласково называл *мейделе*, девочка, потом брал сухими пальцами за щеку и причмокивал: «Билькеле...» — булочка.

Каждый раз он приносил мне в кулечке, свернутом из газеты, яблоки и конфеты, а иногда — необыкновенно пахнущие живые оранжевые шарики, мандарины. Как же я их ждала! Но выразить благодарность мне было сложно — дед явно не пользовался симпатией в нашем доме. По их личным с бабушкой счетам выходило, что дед был в чем-то очень виноват. Бабушка при этом не скупилась на определения: я знала, что дед жадный, глупый, хитрый, что он молчун и врун.

ЧТЕНИЕ

В ту зиму мне исполнилось пять лет. На именины ко мне пришла Зойка с желтым глиняным цыпленком в подарок. Она была важная и неприступная, но как же я ее любила!.. Ее саму, коричневое школьное платье с белым кружевным воротничком, черный отутюженный передник с сердечком и портфель, портфель с двумя отделениями, с блестящим замком, полным тетрадок и книг..

Екатерина Ивановна иногда приводила Зойку к нам делать уроки. Та читала «Родную речь», выполняла письменные задания в тетрадке с косыми линейками и решала примеры по арифметике. Я млея рядом, пытаюсь копировать ее умения: читать мне хотелось страстно, я могла уже складывать буквы в слова, но читать гладко, воспринимая смысл, увы, не получалось.

Волшебная книга у меня была: большого формата, в твердой сизо-серой обложке, с одноногим оловянным солдатиком и изящной танцовщицей на фоне сказочного замка. Внутри можно было встретить Русалочку, диких лебедей, огниво, Дюймовочку, Снежную королеву, принцессу на горошине, гадкого утенка и даже голого короля. Почти на каждой странице были особенные картинки: волны завитушками набрасывались на утес, плащ с плеча злой мачехи ниспадал длинными тонкими линиями и закручивался змеями по полу. Много-много позже я узнала имя художника. И сколько бы я ни встречала других прекрасных иллюстраций к этим сказкам, для меня «настоящий» Андерсен существует только в картинках Конашевича.

Понятно, что все эти сказки я знала почти наизусть. И очень любила делать вид, что читаю — особенно, если кто-то чужой был рядом: мне хотелось внимания и похвалы. Я брала книгу, устраивала ее на коленях и начинала громко «читать», ловя ухом разговор и терпеливо ожидая, когда же на меня обратят внимание и начнут хвалить: ах, какая маленькая, а уже читает!.. И зачастую я срывала аплодисменты. Но однажды меня поймали, когда, потеряв бдительность, я заливалась соловьем, держа книгу вверх ногами. На этом показательные выступления пришлось оставить.

АМНИСТИЯ

Март — это уже весна. Но за окном непогода, ветер треплет мокрые жалкие ветки. Мрачное небо, серый грязный дождь, слякотный день...

Я сплю в своей новой кровати у теплой трубы, но какие-то странные звуки мне мешают и не дают спать. Когда я просыпаюсь, у торца моей кровати стоят, обнявшись, мама и бабушка, упершись друг в друга лбами, и навзрыд плачут. На коленках я добираюсь до спинки кровати, хватаюсь руками за никелевую перекладину и с перепугу присоединяюсь к ним. Из прочитаний я понимаю только одно: что же



теперь будет, что с нами всеми теперь будет... Мой рев их понемногу выводит из экстаза, и мама мне объясняет, что случилось ужасное — умер дедушка Сталин. Из черной тарелки радио в большой дядиной комнате пугающе вылетают неживые слова и ухают душераздирающие аккорды.

К вечеру в сплошном трауре наметились просветы, несущие что-то положительное. Прозвучало новое слово — «амнистия», оно стало повторяться в разных словосочетаниях, и я поняла, что это горе каким-то непостижимым образом принесет неожиданную радость — мой папа может скоро оказаться дома. И действительно, в мае нам пришла телеграмма...

ПАПА ЕДЕТ

Дядя не зря учил меня читать вывески. Когда принесли телеграмму, я разобрала слова: «Буду... пятницу... Москвы... целую... Миша». До маминого прихода я стояла под калиткой, изнывая от нетерпения.

— Папа едет! — потная, почти сомлевшая, я ткнулась маме в ноги.

— Едет, не проедет, — вдруг раздраженно бросила мама и простучала каблук по дорожке к дому. А я осталась с зажатой в руке телеграммой, в которой расшифрованные печатные буквы еще минуту назад кричали о наступающем счастье. Бесконечные пять лет непрерывного ожидания вдруг свернулись калачиком и жалобно твякнули. Мир оказался непознаваем.

Ошарашенная, я поплелась в дом. Там громко разговаривали мама и бабушка. Мне было не интересно. Я просто сразу ощутила, что все рухнуло. Папа ехал домой через Москву, он там на три дня остановится у товарища. Зачем ему Москва, если мы здесь его ждем? Или уже не ждем... Я впервые не понимала, кого любить, кого жалеть, кто хороший, а кто плохой. И не знала еще, что мне предстоит много лет такого невозможного выбора.

ВСТРЕЧА

Папу собралась встречать целая делегация. Я почти ничего не помню — ни лиц, ни разговоров, ни того, как шли, как встретили, как увидели, или того, как я всю дорогу домой восседала на папиных плечах — у меня тлеют только крохотные искорки воспоминаний...

Мама в бежевом костюме. Одна. Тенью, силуэтом... Дядя — высокий, стремительный. Он не радуется, он всего лишь снисходителен к общей приподнятости, только снисходителен. Радуетя тетя Валя. Через три месяца у нее родится Семка. Тетя Валя ведет меня за руку. Мы с нею почти на равных, знаем папу по фотографии. Хоть я и видела его прошлым летом в лагере, но не помню. Дедушка подходит к нам уже на вокзале, торжественный и взволнованный, с ним тетя Мина, папина сестра. Бабушка осталась дома. Кто-то же должен быть дома. И бабушка Маня, папина мама, тоже ждет дома, она не ходит, она парализованная.

На перроне толпа встречающих. Привокзальное радио, гудок паровоза, дым, много вагонов, проводницы в дверях, окна, лица... Ну где же, где?!.. Говорят, что первой папу увидела тетя Валя. Он признал ее позже, увидев меня.

От вокзала нужно долго идти прямо, потом надо или сворачивать к нам, или идти дальше, к дедушке. Мама спросила у папы:

— Куда ты пойдешь?..

«Куда ты пойдешь?» — с этим вопросом она прожила год. И была готова к любому его ответу.

— Домой, — ответил папа, — куда же еще?!.. — Перед ним таких вопросов не стояло.

У поворота приостановились и разделились: все повернули к нашему проулку, а дедушка немного помялся и пошел дальше, ему надо было привезти бабушку Маню к нам.



По переулку шли очень счастливые люди. Соседи выглядывали в окна и выходили на улицу поприветствовать нас, потому что это настоящее счастье, когда кто-то возвращается домой.

ДУДОЧКА

Папа привез мне дудочку — телесного цвета, с отверстиями в трубке, с белым мундштуком и пятисантиметровым раструбом.

Двери в доме хлопали, калитка не закрывалась. Приехали родственники. Людей было больше, чем на дядиной свадьбе. В кухне жарилось и варилось. Женщины сустились, мужчины курили и беседовали во дворе. Я бегала за дом к Карпенкам подудеть, когда меня отправляли, — дудела каждому, кто обращал на меня внимание, а тем, кто не обращал, дудела еще настойчивее. Наконец бабушка не выдержала, выдернула у меня дудочку, забросила на кухонный шкаф и сказала сердито тете Розе:

— Нашел, что ребенку привезти!

Я надула губы и пошла раздумывать, почему дудочку ребенку привозить плохо. Папа привез еще самодельные ножи с острыми лезвиями и рукоятками из плотно подогнанных прозрачных разноцветных шайб. Внутри одной из рукояток виднелся чертик, в другой — женская фигурка. Папа все это сделал сам, он работал на тюремном заводе токарем и слесарем, но бабушка считала привезенное свидетельством плохого вкуса:

— Ты посмотри только на это жлобство, — говорила она тете Розе.

Еще папа привез картину. Картина была свернута в рулон, на ней неизвестный нам художник, папин товарищ, изобразил папу, маму и меня между ними. Я поняла, как он это сделал: маму и меня он скопировал с одного фото, а папу срисовал с той фотографии, где папа в буденовке, только вместо буденовки он придумал папе шевелюру. Что бабушка сказала о картине, я не помню, но рулон этот еще много лет валялся в сарае.

А еще... Еще у нас на перед зеркалом много лет стояла необычной формы большая коробка, обтянутая красным шелком. Внутри, в двух углублениях среди вспененного белого атласа, лежали две прямоугольные бутылочки — духи и одеколон «Красная Москва», самая лучшая парфюмерия по тем временам. Недаром все-таки папа заезжал в Москву.

ПРИТИРКА

После водворения в нашу жизнь папа стал главным объектом моего изучения. Он часто сидел посреди двора на низенькой скамеечке, грея на солнце угристую спину, сосредоточенно раздумывая о чем-то своем, и курил. Как большой камень посреди мелководья, как Гулливер в стране лилипутов.

Я крутилась вокруг него, изучая и приноравливаясь. Подкравшись сзади, длинной соломинкой проводила по выступающим позвонкам, сыпала песок на плечи, брызгала водой, выскакивала из-за занавески с пугающим криком, всячески провоцируя его. Но к общению с пятилетней девочкой папа был совершенно не готов. Единственное, что приходило ему в голову — щекотка. Я смеялась до икоты, вырываясь из его больших рук. Убегала, снова заигрывала... И снова он меня щекотал, не выпуская. Однажды, когда мне стало невмоготу, я укусила его за палец. От неожиданности папа отбросил меня шлепком, да так, что от его пятерни остался отпечаток. Я голосила, бабушка ворчала, а мама приказала ему больше не распускать руки, после чего я еще долго косо поглядывала на него, не приближаясь, обиженная и разочарованная.

Мамин запрет папа нарушил всего один раз, когда я попыталась проверить пределы дозволенного: я влезла на табурет и, поднимаясь на носки, попыталась дотянуться до картинки на стене. Табурет перевернулся, я упала, папа подхватил меня и от души надавал мне по попе. Несколько дней я не могла сидеть, а между родителями



разразился скандал, с угрозами мамы на тему «или-или». И я уже смотрела на папу не обиженно, а победно и отчужденно...

Папа устроился на завод, приходил вечером в рабочей одежде, которую называл робой, она была в мазуте; металлическая пыль въедалась в его кожу, окрашивая ее синевой, поэтому руки не отмывались. Бабушка наливала ему суп или борщ, он угрюмо ел, брал портфель и уходил в техникум. С физикой и математикой он справлялся, но литература была для него неприступной крепостью. «Погиб поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой...» — обреченно повторял папа, и скоро язык у него начинал заплетаться, он ненавидел уже и оклеветанного поэта, и Лермонтова, и всю эту чертову литературу. Бабушка сетовала:

— Ребенок уже выучил, а этот... — и она обреченно махала рукой.

Ко всем праздникам на заводе организовывали детские утренники. В «красном уголке» (клубом завод тогда еще не обзавелся) меня ставили на стул, я громко и вдохновенно декламировала «свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой», и моя голова тоже никла, гремели аплодисменты, а я в такие минуты любила в равной степени и кудрявого поэта, и бледно-конопатую тетю Веру, культ-массовика, одаривавшую меня конфетами и призами.

МАЛЬЧИК С ХУТОРА

Тридцать лет отделяет папино детство от моего. Очень насыщенное событиями время, куда поместились колхозные страсти, армия, война и тюрьма.

Ему выпало родиться на исходе гражданской войны в таврических степях в еврейской семье, кочевавшей из деревни в деревню в поисках кусочка счастья, которое никак не находилось. По каким-то генетическим линиям он унаследовал крепкий организм, жилистое тело, высокий рост, силу в руках, безотказность в работе, упрямый характер, борцовский нрав, а также флегматичное и оптимистичное отношение к жизни.

Мать при доме держала лавку, у нее всегда можно было выпросить пряник или халву. Отец его, мой дед, рано остался сиротой и прожил жизнь среди родни жены, многочисленной, работающей и отзывчивой. Его сын уже с шести лет был при деле: курай для печи — Мося, воду и корм для коровы — Мося, сусликов с поля выбить и на шкурки перевести — и тут он чемпион. Тарелка нарезанного лука, политого маслом — ему для крепости. Мамина ладонь на голове — для поощрения. Уроки он делал при керосинке — на русском, на украинском или на еврейском: каких учителей бог посылал, тем и рады были.

Когда стали наделять землей, засветило солнце в окошко. На радостях они голыми руками выкорчевали весь бурьян на трех гектарах. Но недолго музыка играла, началась коллективизация — все ушло в колхоз, все там и пропало. Зимой голодного тридцать третьего продержались на кукурузной муке, выменянной на материно кольцо. Бывали дни, когда в доме вообще ничего съестного не было. Когда корова отелилась — съели теленка... к весне пошли суслики. Так и выжили.

Книг в доме не было, но все твердо знали, что ученье — свет. Девчата уехали в город учиться, за ними и Мося. Он выучился на токаря; так бы и прижился в городе, но дома утонул младший братик, слегла мать — пришлось возвращаться. До самой армии работал на фабрике — жизнь кипела, спать было некогда.

В армию попал осенью. Сразу послали в дозор. Сутки пролежали в канаве под дождем. Когда возвращались в казарму, он оценил тяжесть солдатской шинели. Зимой поморозился — при двадцати восьми градусах устав не позволял опускать уши у шапки. Ранним летом переплывали реку, он плавать не умел, унесло течением — хорошо, товарищ выгачил.

Выучился на радиста в авиаполку. Через восемь месяцев началась война. Уже падали бомбы, но они все еще надеялись, что это учения. Когда новенькому лейтенанту разворотило живот, только он смог заправить кишки внутрь и оттащить его к медикам. Начал в Луцке, закончил в Кенигсберге. Контузило: рация взорвалась во время связи. Четыре награды.



Демобилизовался он через год после Победы. Возвращаясь домой, заехал к родственникам повидаться... Дальше я рассказывала: подошел к калитке, двоюродная сестричка кинулась на шею... Через пару лет родилась я.

ФАНЬКА-ПОМОЩНИЦА

У дочек портних тяжелая жизнь. Кому на улку погулять, а им всегда есть работа: подол подрубай, петли обметывай, пуговицы пришивай — и нет этому конца. Брату Ациньке и на велосипеде покататься можно, и с любимым папочкой поиграть, а Фаньке только и остается, что у окошка иголкой ковырять.

— Пойдем, Фанька, поможешь нам ругаться противу збурьевских, без твоего острого языка нам не сдюжить, — напрасно зовут ее девочки.

В восьмом классе писали в школе сочинение; отец прочел о Днепре, о кручах, о желтой степи, о парусе, рвущемся в неведомое — и прослезился: не заметил, как дочка выросла. Начищенные зубным порошком белые парусиновые туфли на быстрых ногах, две косицы свисают до плеч, глазички серо-голубые. Очки один раз наде-ла, хлопцы в тот же день разбились — с тех пор близорукой жила.

В июне сорок первого она как раз окончила свою райцентровскую школу и подалась в Днепропетровск, к родне, поступать в медицинский. А там уже по радио — война. Еле в Голую Пристань вернулась и привезла от просвещенной родни наказ бежать поскорее от немца.

Шли рядом с лошадью, узел с вещами и швейная машинка — на подводе. В степи попали под бомбежку. Обхватив голову руками, вжималась в землю. Переправились.

Путевку им дали в Казахстан — маленький аул Кайрат, неподалеку от Алма Аты. Землянка; в арыке — змеи, в степи — волки. Работали на табаке, поливали, собирали зрелые листья, осенью в сарае нанизывали на веревки для просушки, паковали.

Отец ее сдавал на глазах. В легких тлел туберкулез, в желудке горела язва. Не было свежих сливок, не было проветренной комнаты. Он слег, когда сына забрали в армию, и умер уже после Победы.

Фаньку, передовичку-табачницу с аттестатом за десятилетку, послали на трехмесячные курсы, экстерном приняли экзамены за учительский техникум — стала она Фаней Семеновной, учительницей. Да так быстро это случилось, что до конца своей тридцатилетней учительской практики она боялась, что диплом ее вдруг признают ненастоящим.

Теперь они жили с мамой в большом русском селе при школе, ждали писем от артиллериста Ациньки с Дальнего Востока и мечтали только об одном — поскорее бы домой, на ридну Украину.

До войны Фаня больше любила отца: он был веселым, с шуточками-прибауточками, остроумным, жизнерадостным, играл на кларнете. А мать... — вечно сердитая, с перевязанной головой, шила да шила. Но в эвакуации все перевернулось, в землянке обнажилась женская боль матери. Теперь они были подругами, и Фаня в семье стала за старшую...

Наконец вернулись в свою Голую Пристань. В их квартире жили соседи, было неудобно их выселять. Сняли комнату поближе к школе. Подружка Талочка рассказывала о соученицах, кто и как выживал. Из тех евреев, кто не уехал — погибли все. Из мальчиков, что ушли на фронт, вернулись единицы.

Начиналась новая послевоенная жизнь. Вечерами выходили на набережную, в парке уже поднялись деревья, посаженные на субботниках до войны. Наряжались как могли: девочки в марлевых платьях, зато у Фани с вышивками, с ришелье. Да и не в нарядах дело... Они с Талочкой плечиком поведут, засмеются звонко — и те немногие парни, что уцелели, уже возле них.

Раззнакомились, поделились на пары. Фаня оказалась с Митей. Он ждал ее под окнами, заговаривал о женитьбе. Мать забеспокоилась: хороший парень, но не еврей — сегодня целует, а завтра напьется, побьет, жидовкой обзовет... Нет, не будет ее согласия.



«Можно и без согласия обойтись», — настаивал Митя. В своих чувствах и преданности он не сомневался. Вот уедет мать на праздники — а они в ЗАГС!..

Так бы и было, если б не вырос у калитки Мося, Моисей, Моська из детства. Но каким же он теперь стал!.. Был кургузым крепышом, вечно насупленным, диким, слова не скажет. Однажды, правда, когда она гостила на хуторе, приказал всем хлопцам: «Вы, дураки, ее слушайте, она ж из города»... Так и просияла она для него всю жизнь небесной звездочкой.

ГЕНЫ

Откуда мы родом — теперь уже не узнать. Прадедущка Борис пришел в немецкие колонии, созданные на Украине еще царицей Екатериной, откуда-то с запада, стал торговать зерном. Его уважали и прислушивались к его советам.

Родилось у него четверо детей, жена умерла, он женился на ее сестре, моей прабабушке, и они родили вместе еще шестерых. Умер он осенью, когда увозили на подводах первый колхозный урожай; было ему всего семьдесят с небольшим, хотя в памяти потомков он остался богатырем и глубоким стариком.

Все обязанности по дому и работам были строго распределены. Слово отца — закон, послушаться боялись. На старшего прапрадед так осерчал, что даже отлучил от дома. Частенько мать посылала малышей к наказанному пасынку отнести теплых пирожков, чтоб отец не знал.

Рядом жила его сестра с обширным семейством. Дети играли вместе, дружили, вырастали, а некоторые из них, бывало, даже объединяли свои судьбы. Обычная история изолированных меньшинств и коронованных особ, даже великий творец теории эволюции полюбил кузину: не принято было далеко ходить за невестами.

Обе мои бабушки из этого дома. Соню оберегали от тяжелых работ. Была она слаба сердцем, чувствительна, склонна к рассуждениям, чутка к новым веяниям. Учила эсперанто, в тайную тетрадочку записывала стихи, обожала поэта Надсона, плакала над «Оводом», мечтала, шила и мечтала... В шитье и вышивке проявился ее художественный дар. Из всех детей отец устроил в немецкую школу только ее, все остальные учились дома.

Старшая, Маня, как и все дети, работала в саду, на огороде, на кухне и по дому. Семья большая, работы много. Да и приданое себе надо приготовить — чем больше, тем лучше.

Можно было попросить Соню отделать скатерти прошвами, как они с Розой сами себе сделали, а на ночных рубашках пусть вышьет розочки, очень уж красиво. Мане так никогда не изловчиться, лучше она вместо Сони будет корову доить, окна мыть, половики трусить. А еще Соня Маниному ухажеру по ее просьбе письма писала, да такие романтические, что он, когда приехал знакомиться, сразу понял, кто есть кто.

Двадцатый век тем временем вышивал стебельки и обрывал их бессчетно, обем сестрам навесил серег, дал испить каждой из своего стакана. Когда дети их вдруг надумали пожениться, этому никто не обрадовался, а сторона жениха и вовсе воспротивилась, но со временем все смирились.

Мне от нашей большой семьи передались глаза разного цвета: левый глаз у меня с голубиной, правый — с бирюзой. Говорят, это признак вырождения.

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ

Красноречием папа не обладал, потому почти не ругался. Но когда после ночной смены шум и музыка из Шуркиной комнаты не дали ему спать, он молча вышел из дома, ткнул кулаком в оконное стекло, стянул платком окровавленную руку и молча ушел к себе. Через неделю Шурка уехала. Незаметно собрала вещи, забросала их в кузов и исчезла навсегда, оставив нам большую комнату — пусть ободранную и замшелую, но теперь нашу. Мама наутро уже белила там потолок.



Теперь по воскресеньям мы ходили проведывать бабушку и дедушку. Любой выход за калитку воспринимался мной как праздник. Переходили мостик, шли по колдобинам переулка, чинно здороваясь с соседями, сворачивали на бесконечно длинную Торговую, которая упиралась в Советскую, а там уже начинался асфальт и *город*. Вернее, город тут как раз заканчивался, начинался пригород, окраина...

Я заглядываю в большие стекла магазинных окон и ловлю наше отражение. Я иду между папой и мамой, поджимаю ноги и висну на их руках. У мамы волшебное платье, губы накрашены, она пахнет духами. Папа вышагивает по-дедовски, «как журавель», — так говорит мама.

На углу дверь в большой магазин, там всегда столько соблазнительных приманок: сыр, колбаса, халва. Рядом стоит фургон с большими буквами «Хлеб», и дядька, торопясь, несет перед собой деревянную решетку с булочками, запах которых мы уловили еще за квартал отсюда.

Впереди кинотеатр «Коминтерн» с огромной афишей у входа, там всегда толпится народ: одни стоят в кассу, другие ждут, когда начнут впускать. Если сеанс заканчивается, из широко открываемых боковых дверей вываливает народ, и по возбужденным и удовлетворенным лицам понятно, что им перепало немного счастья. Рядом симметрично изгибаются две лесенки, ведущие на таинственную галерею, и там — филармония... Это слово по своему волшебству созвучно маминеро духам. Здесь всегда праздничный шум и отголоски музыки, но мы проходим мимо.

Фасады домов на высоких цокольных этажах бахвалятся частыми и вытянутыми вверх окнами. Редкие массивные двери закрыты наглухо, вход в дома со стороны внутренних дворов. Мы входим в ворота такого общего двора, где у каждой невзрачной двери, забаррикадированной перекошенными стульями, стульчиками, ящиками и шкафчиками, копошатся жители.

Дед живет в глубине, надо пройти мимо самодельных разночинных сарайчиков и общей жутко воняющей уборной. Мой праздничный настрой сникает перед входом, я знаю, что сейчас придется расплачиваться. Где-то внутри меня начинает закручиваться пружинка терпения.

В длинном узком коридоре горит тусклая лампочка на стене над столиком. Вокруг лампы видны подвижные тени. Дед встречает нас; он берет меня за щеку длинными твердыми пальцами, говорит ласково: «А шейне мейделе», — и достает приготовленный кулек с конфетами.

Из своей комнаты выходит тетя Мина, очень похожая на деда, такая же худая и плоская. Папа сразу же выходит курить, а мама и тетя перекидываются вопросами-ответами ни о чем. Я очень хорошо чувствую натянутость между ними и подкручиваю свою пружинку.

Дед подталкивает меня к двери в бабушкину комнату: иди, Зиночка, поздоровайся с бабушкой. Отступить уже некуда, под его прикрытием я вхожу и окапываюсь возле двери.

Бабушка сидит на кровати. У нее паралич. Из согнутой спины торчит гладко причесанная большая голова с гребешком в волосах. Один огромный глаз смотрит в сторону, глаз поменьше — на меня. Она что-то говорит, пытаясь совладать с неповоротливым языком. Дед ей резко отвечает. Руки у нее на коленях трясутся, большие пальцы ногтями вжаты в ладонь. Дед пытается подтолкнуть меня поближе к ней; иногда ему это удается, но чаще всего пружинка моя не выдерживает, я изворачиваюсь и убегаю.

Обратно мы идем уже в темноте; сначала я иду, стараясь ставить ноги красиво, как мама, повторяя ее походку, потом начинаю спотыкаться, и мама просит папу взять меня на руки. Папа сильный, но я уже большая девочка — мне его жаль, но еще жальче себя. На его руках я засыпаю.



СЕСТРИЧКА

Родители спали в длинной узкой спальне на высокой музыкальной кровати с накрахмаленными занавесками. Пятилетняя разлука, умноженная на обиды и недоумения, привела к их отчуждению. Изменились самооценки, трещинки разочарования соединились в разломы неприятия. Они часто и громко ссорились, а то, что было скрыто от чужих глаз, тоже их не мирило, лишь разводило еще дальше. Мама не умела кривить душой, вряд ли бы она осталась в этом покосившемся браке надолго, если бы не моя сестричка, появившаяся на свет благодаря закону, запрещающему аборт. В последующей маминой любви к младшей дочери всегда присутствовала доля раскаяния за то, что она этого ребенка не хотела.

Девочка получилась — глаз не оторвать. И связала, склеила, зацементировала, определила этой лодке хоть и вынужденный, но достаточно устойчивый курс.

Солнце в окне золотило бок кленового ствола, тонкая веточка пучком лимонно-желтых листьев гладила стекло. Бабушка на кухне намеренно громко разговаривала с кошкой и стучала ножом по доске. Недавно она меня уже будила, но мне так не хотелось расставаться со сном...

— Бабушка, мне приснилось или сестричка уже родилась?

— Родилась, родилась... — бабушка улыбается сквозь еще сердитое выражение лица. — Эх ты, соня...

Я начинаю изнывать от нетерпения. Раз она уже здесь, когда же я, наконец, ее увижу?!.. В школу — подожди, подарок — подожди, сестричку — подожди... Сколько же можно ждать!

Младшие братья и сестры, как инопланетяне, вдруг появляются на обжитом нами пространстве и внедряются в него без спроса, взрывая своим присутствием установившийся уклад.

Уже год по двору, не разбирая, где мусор, а где лужа, целыми днями ползает дядин Семка. Ему давно пора ходить, но у него на коленях толстая кожа, и он на этих коленях с такой быстротой носится, что его не заставить встать с четверенок. Я придумываю ему преграды, заставляю ходить, пытаюсь превратить в человека.

Еще я учусь пеленать, кажется, преуспевая в этом женском умении, и качаю люльку, где теперь, после меня и Семки, лежит сестричка, любительница покричать. Люлька — это деревянная кроватка на двух подпорах-коромыслах. Я раскачиваю ее все сильнее, стараясь совладать с ревом, упрямыца перекатывается от стенки к стенке, не унимаясь, но я еще более упряма. Заканчивается это соревнование катапультированием. Каким-то чудом сестренка не долетает до пола, застряв между стеной и кроваткой.

Мама всячески старалась показать мне, что мы с нею — одно целое, мы вместе отвечаем за это новое существо, — подчеркивая, что нуждается в моей помощи. И я в полной мере почувствовала себя старшей сестрой, мамой номер два, что компенсировало мне потерю статуса единственной обожаемой.

ШКОЛА

Замуж так не хотят, как я хотела в школу. Семь лет мне исполнилось в январе, так что на учебу я отправилась уже великовозрастной девицей.

Школа находилась на горке, за балкой — двухэтажное здание, два больших отполированных шара по бокам от парадного входа, два ряда огромных окон.

На школьном дворе, обсаженном по периметру вдоль забора акациями, выстроились первоклассники с портфелями не по росту. Десятиклассники с подарочными тетрадками и карандашами расположились напротив. Через весь строй высокий выпускник пронес на плечах маленькую девчущку с колокольчиком — кажется, это была я... Может быть, и не я, просто мне очень хотелось выделиться из общего строя...

«Станьте парами», чья-то живая рука в моей руке — и мы ручейком движемся за Розой Давидовной, лавируя между такими же ручейками.

Внутри все пахнет краской и побелкой; тут гулкие вестибюли, черные крышки парт, косые лучи солнца в окнах. В изгиб лестницы между прутьями ограды чуть ниже перил вмонтировали большой вазон с финиковой пальмой. Эту пальму бабушка вырастила из косточки, она так разрослась, что уже не помещалась на подоконнике. За нею в школу перекочевали роскошный фикус и китайская роза.

Не только наши цветы в школе связывали меня с домом. Тут работал мой любимый дядя, его выпускной десятый шефствовал над нашим первым «Б». Директор Леонид Иванович до войны учил в школе маму и дядю; проходя мимо меня по школьному коридору, он часто останавливался, гладил меня по голове, спрашивал весело: «Порядок, землячка?..» — и передавал привет бабушке от жены. На перемене я забегала в подсобку кабинета физики, и дядя давал мне десять копеек на бутерброд с колбасой — на большой перемене надо было успеть перекусить в буфете.

Я подпадала под категорию «учительские дети». В школу я всегда ходила одна, никто меня не отводил, даже первого сентября. На родительские собрания мама тоже не ходила, она в это время проводила собрания в своей школе. Табель с оценками за каждую четверть и похвальные грамоты вручали дяде.

Закулису учебного процесса я давно постигла дома, наблюдая, как мама готовилась к урокам, писала планы и проверяла бесконечные тетрадки. Со временем я и сама стала ей помогать проверять тетради, даже рисовала наглядные пособия.

Задолго до сентября у нас дома начали обсуждать, к кому из учителей меня записывать: обе учительницы не вызывали восхищения у мамы и дяди. Записали меня к лучшей из них, хотя учительница из параллельного класса тоже оказалась симпатичной и располагающей к себе.

Трепета перед своей первой учительницей у меня не было, я ощущала даже какое-то совершенно нелепое, конечно же, чувство равенства с ней. Она была мягкой телом и душой, вся в оборочках и завитушках, с черными глазами, извиняющейся улыбкой, округлым лицом, сплошь усеянным коричневыми веснушками, и еще — сильно робела перед завучем и директором.

Я сидела на ее уроках прямо и не шевелясь, правая рука на левой, в любую минуту готовая подняться. Все, что она говорила, я знала, потому что все мамыны учебники за четыре года выучила наизусть, что уж говорить о букваре...

В первые же дни с ее подачи меня избрали старостой класса. Кажется, после этого я стала повыше ростом, а выражение сосредоточенности с моего лица не уходило даже на переменах, от моих глаз и ушей не могло укрыться ни одно нарушение. Тряпка... мел... проветрить класс... выгнать всех на перемену. Когда учительнице нужно было выйти из класса во время урока, она ставила меня около своего стола, вынимала из сумки приготовленную книгу, и я что-нибудь читала классу «с выражением» — при этом все слушали и сидели намного тише, чем на обычном уроке.

К сожалению, старостой мне не пришлось быть долго...

АППЕНДИЦИТ

В конце лета родители с друзьями и родственниками поехали в Олешковский лес на воскресный день. Такие прогулки случались редко и были событием для всей детворы. Сначала мы добирались в порт, на речном трамвайчике поднимались по Днепру, сворачивали в приток, где огромные ивы с обеих сторон отражались в воде. Выходили в Цюрюпинске и около часа шли по длинной кривоватой улице, увязая в песке. Потом дети углублялись в лес, а взрослые оборудовали место для пикника, доставали еду, пересмеивались и шутили; нам при этом разрешалось осваивать пространство в пределах слышимого «Ау!». Малыши отставали и окапывались поблизости от стойбища, а мы, семилетки, убегали искать таинственное.

Как когда-то клен казался мне сущностью всего живого, так уже в сознательном возрасте лес стал для меня непостижимым чудом — это мир открывался в своей многоликости.

Олешкинский лес покоился на песчаных холмах: взбегаешь по хвойной подушке на вершину холма, а перед тобой новый холм. Мы нашли полянку, заросшую ковылем, прятались, догоняли друг друга, ловили, боролись. Вдруг резкая боль в правом боку согнула меня пополам, да так, что нельзя было ни вдохнуть, ни крикнуть. Кто-то позвал маму, она отнесла меня к привалу. Пока я лежала, боль прошла, но бегать уже не хотелось. Взрослые между собой сошлись во мнении, что это аппендицит, и я запомнила...

Осенью обострилось противостояние с папой. За столом папа хмуро посматривал, как я одной рукой купаю ложку в супе, выбираю на кромку тарелки фасолины и кусочки лука, другой — подпираю голову, которая не хотела сама держаться. Он остерегался меня трогать при маме, но в ее отсутствие однажды не выдержал и грохнул кулаком по столу:

— Сядь ровно, убери руку, ешь немедленно!

Это на меня-то кричать?!.. Прибежала мама, начались разбирательства. Я ревела, размазывая сопли, меня начало тошнить — и тут я вспомнила про аппендицит... Скорая не слишком заморачивалась с выяснением, меня привезли в областную больницу; в боку при надавливании немного болело, но я, конечно, реагировала ярче и лицедействовала от души, изображая острую боль. От греха подальше меня оставили на ночь, чтобы утром прооперировать.

Меня привели в огромную палату, уложили на койку. В полукруглой застекленной арке над высокой филленчатой дверью теплился свет из коридора, вокруг в полутьме стояли кровати, там посапывали чужие люди. До меня наконец-то дошло, что утром мне будут делать операцию. Но деваться было некуда.

Рано утром прибежала мама и стала меня подготавливать. Она объясняла, что я не должна бояться: больно не будет, мне сделают укол, я усну и ничего не буду чувствовать. Я довольно бодро зашла в операционную, но когда меня стали привязывать, сопротивлялась как звереныш. Я кричала, что буду вести себя хорошо, что привязывать не надо, но меня никто не слушал, люди в белом делали свое дело, переговариваясь между собой; на лицо мне вдруг опустили что-то типа кастрюли с ужасным запахом, и я успела закричать: «Враги, враги, вра...»

Аппендикс мой удалили за пятнадцать минут, но потом меня долго откачивали от наркоза, так долго, что пришлось вызывать реаниматоров. Мама несла меня из больницы домой на вытянутых руках всю дорогу — подвод уже не было, а такси были совершенно не по карману. Еще месяц я бродила по дому, скрючившись, пока мама не убедила меня разогнуться. Есть меня теперь никто не заставлял, кормили всеми моими любимыми лакомствами. После зимних каникул я пришла в школу, за это время должность старосты уже была занята.

Вскоре мне исполнилось восемь. Пазлы детства сложились. Я была очень привязана к дому, обожала маму и не любила отца. Через отрочество, юность и зрелые годы протянулась долгая дорога обретения любви к человеку, давшему мне жизнь.



Александр ПЛИТЧЕНКО

СВЕТ БОРОДИНСКИЙ ЗА УРАЛОМ

Лишь с этим человеком, из нашего мира ушедшим, некая особая связь у меня сохраняется до сих пор. Это Александр Плитченко. Именно Плитченко ввел меня в литературу, ввел как друг, на пороге предупредив об опасностях и неожиданно-стях внутри этого шумного игорно-питейного дома...

Мы познакомились в 1981 году в редакции «Сибирских огней», что находилось в здании Совнархоза на Красном проспекте, 82, это был, безо всяких преувеличений, — сибирский Олимп. Плитченко было 38 лет, мне, соответственно, 22. Несмотря на разницу в возрасте, отношения между нами сложились очень близкие, почти родственные. Все мои взгляды сегодняшние на духовной мир, культуру, историю Сибири и Азии в целом, все понимание профессии литератора, мастерства и долга службы писательской, все, что касалось мира тюркско-монгольской культуры и древних эпосов и текстов — все это Плитченко.

Уже куда позже были путешествия, участие в археологических экспедициях, изучение трудов по истории и мифологии северной Азии. А сначала была дружеская школа Плитченко. Именно он, через Бронтоя Беджорова, познакомил меня с крупнейшими алтайскими поэтами Аржаном Адаровым и Борисом Укачиным, а потом, это было особенной удачей, с великим алтайским кайчи (сказителем) Алексеем Григорьевичем Калкиным. Именно Плитченко предельно точно и вдохновенно сформулировал для меня взгляд на Алтай как на сакральное и священное место, прародину и центр происхождения евроазиатской культуры, место, где в ледниковую эпоху человек разумный впервые обрел язык, Слово.

Собственно говоря, все это упало на подготовленную почву, потому и дало обильные всходы, поскольку было близко личному опыту, детским впечатлениям от Горной Шории и степного Алтая, предощущением и предпониманием чувства рода и воздуха истории. Плитченко же приложил максимум усилий, чтобы появились первые книги моих стихов, первые публикации и первые рецензии.

Совместная работа в старинном особняке на ул. 1905 года, 33, в сибирском отделении издательства «Детская литература» и созданном мной издательстве «Мангазея» — это лучшие годы моей жизни. В СО «Детской литературы» собирались многие поэты, литераторы, художники. Это был своеобразный творческий клуб, где в свободной, беззаботной атмосфере проходили чтения, обсуждения, розыгрыши. Именно там зародились многие, впоследствии воплощенные, творческие замыслы. Кроме всего прочего, в то время обнаружился, вышел на поверхность новый пласт уникальной сибирской поэзии, сегодня известный как «Гнездо поэтов». Так назывался сборник стихотворений двенадцати поэтов, составленный мной, чем по сию пору горжусь. Большинство из них начинали свою поэтическую деятельность в 60-е, а к началу 70-х ушли в андеграунд или замолчали. Сегодня они заняли прочное место в сибирской поэзии, в корне изменив поэтическую ситуацию в Новосибирске. Это Александр Денисенко, Жанна Зырянова, Анатолий Соколов, Владимир Ярцев, Анатолий Маковский, Евгений Лазарчук, Николай Шипилов, Михаил Степаненко, Юниль Булатов, Валерий Малышев и другие...



Увы, концом этой эпохи, вслед за крахом империи, был крах издательского дела, за которым последовал общий упадок духа, близкий к унынию, здоровьем своим тогда никто не занимался, не то было времечко... И осенью 1997-го года Плитченко не стало.

Горчайшее одиночество тех дней до сих пор помнится.

Пока мы готовили эту подборку к 70-летию со дня рождения Александра Ивановича, мне на стол попало стихотворение младшей дочери Плитченко Эрты, в крещении Варвары. Привожу его здесь с душевным сочувствием и кровным пониманием.

ОТЦУ

*Не хватает тебя. Столько лет, но привыкнуть непросто.
Как же много хочу я сказать и так много спросить.
Почему лишь тепло и покой уношу я с погоста,
Если редко, но все ж приезжаю тебя навестить?*

*И зачем мне в наследство Родович, Джо Кокер и Пьеха?
Отчего я порой погружаюсь, как в омут — в печаль?
Почему по весне тянет выбросить все и уехать,
Почему дым осенних костров так зовет меня вдаль?*

*Я хочу рассказать тебе планы мои и задумки,
Поделиться мечтами, заплакать и кофе сварить,
И в усталой душе, словно в старой истрепанной сумке,
Свое детство найти, потряхнув его и оживить.*

*Помнишь рыбок в Каргате? Вкус мерзлого серого хлеба?
Помнишь клипсы тайком, диафильмы, загадки и клад?..
Я смотрю в это зимнее-зимнее-зимнее небо
И пытаюсь поверить, что ты не вернешься назад.*

Сегодня, оглядываясь на пройденный поэтом путь, с уверенностью могу сказать, что его имя уже вошло в сокровищницу сибирской литературы наряду с Потаниным, Шишковым, Коптеловым, Шукишиным и многими другими.

Владимир БЕРЯЗЕВ

Творческий путь писателя не измеряется количеством написанного. Это истина, не требующая доказательств.

Большая часть творческого наследия Александра Ивановича Плитченко уместилась в «Избранном», выпущенном в 2000 году в Новосибирске издательским домом «Горница». Здесь на 760 страницах представлены лучшие стихотворения, три поэмы, отрывок из повести в стихах «Екатерина Манькова», основные прозаические произведения, поэтические переложения русских народных баллад, переводы алтайского героического эпоса «Маадай-Кара», якутских песен, завета древних тюрков «Каменные книги», публицистика, литературоведческие статьи.

И всё это в одном томе.

Александр Иванович плодотворно работал во всех основных родах литературы. Но себя изначально считал поэтом. И если все-таки при этом писал еще прозу и публицистику, то это были проза и публицистика *поэта*. И если брался за переводы эпоса, то они не только во всей полноте передавали национальный дух того народа, с языка которого Александр Плитченко переводил, но и были истинно *поэтически* ми и по содержанию, и по форме.

Так что, когда встал вопрос об издании избранного Александра Плитченко к его к 70-летию, двух мнений по поводу того, каким быть сборнику, не было: это должна быть книга стихотворений. Думается, излишне объяснять, по какому принципу составлялась эта книга, какими были критерии отбора. Задачей составителя было показать творчество поэта в развитии, начиная с первых, ранних книг и заканчивая «Матушкой-рожью». Этот посмертный сборник стихотворений был составлен и набран самим Александром Ивановичем и явился в какой-то мере венцом его поэтического творчества.



Поэт не был избалован прижизненным вниманием литературной критики. И не потому, что его творчество лежит не в русле современной отечественной поэзии. Напротив, скорее всего, потому, что его стихи подчеркнута лишены изыска, внешней броскости, суесловия; они традиционны в лучшем смысле этого слова. Лирическая ясность, пожалуй, главная черта его стихотворений.

Можно выучиться писать стихи и даже стать хорошим версификатором. Стать поэтом — невозможно, им нужно родиться. Да, Александр Иванович окончил Литературный институт. Но его узнаваемая творческая манера, его индивидуальность не приобретенные, — они унаследованы, предопределены природным даром, что отчетливо ощущается уже в ранних стихах.

Не нужно напрягаться, чтобы сформулировать творческие принципы Александра Плитченко. Поэт прекрасно определил их сам. Обратимся к повести-эссе «Письмовник, или Страсть к каллиграфии», где он размышляет о судьбах современной отечественной культуры, и поэзии в частности. Прочтем внимательно заключительную главу, содержащую мини-исследование одной из сторон творчества Фета, которого кое-кто до сих пор пытается представить как поэта камерного, даже салонного. На примере всего лишь двух стихотворений («Никогда» и «На стоге сена ночью южной...») Александр Иванович убедительно показал присущее Фету космическое восприятие мира.

Здесь же проводится очень важная мысль о том, что беда современной поэзии — в отсутствии настоящей школы.

Школой Александра Плитченко была русская поэтическая классика. И Афанасий Фет в том числе. «Ночь пролетела, проплыла, / В реке колечко утопила...»

Его поэтика не конъюнктурна и зиждется на мощном фундаменте классической силлабо-тонической системы стихосложения.

Его художественно-эстетические воззрения не приемлют модернистского видения мира, замешенного на ерничанье и эпатаже, на пренебрежении к родному языку (и «черни», которая на нем говорит), на высокомерии и самолюбовании. Критике подобных течений в отечественной поэзии Плитченко посвятил исполненную уничтожающего сарказма статью «Я для души имею свой свинарник...» (1990). И перо его было направлено не столько против конкретных Татьяны Щербины или Дмитрия Пригова, сколько в защиту святых для русского человека понятий, духовных устоев, чистоты русского Слова. Того Слова, которому Александр Иванович в меру сил своих честно служил на протяжении всей жизни.

Его школой был и русский фольклор. Недаром почти в каждом его сборнике можно встретить стихотворения, стилизованные под народную песню.

Но более всего его школой была сама жизнь. Послевоенное детство, родительский дом, где он вырос. Друзья, односельчане. Служба на флоте. неброская природа Барабы — перелески, болотца, дорога с покоса, щебетание птиц, дожди и снега, проклевывание первых листочков и листопада, грозы и созвездья, небесная синева.

Серьёзного литературоведческого исследования, предметом которого было бы поэтическое творчество Александра Плитченко, ещё не написано. Как-то интерпретируют его грядущие толкователи? Некоторые литературоведы и литературные критики, чего греха таить, своей склонностью к систематике сродни последователям Карла Линнея, и если не образуют в той же поэзии видов, родов и семейств, — то в удовольствии классифицировать ее по группам всё равно себе не отказывают. Очень удобно — взять творчество отдельного автора и подогнать под готовое определение. Но вот незадача — поэтам эти искусственные рамки тесны. Непрочный декоративный багет не выдерживает рвущейся наружу мускульной силы творца. Они, рамки эти, — условные, мертвые, они — ограничители. А процесс творчества — естественный, живой, требующий простора.

Присутствует ли в творчестве Александра Плитченко гражданская лирика? Безусловно. Раскройте, к примеру, сборник «Матушка-рожь». «Кто напророчил году лихую?...», «Соловей перестройки», «С натуры», «Бородинское поле. 1990»... Сколько неравнодушия в этих стихотворениях! Сколько боли за поруганное Отечество!

Пейзажная лирика? Даже непосвященному видно, что она занимает в творчестве поэта одно из ведущих мест. Утренняя дорога, весна света, облако, береза, осенний бег оленей, смешанный лес, после дождя, яблоня — белая кобылица, скворец, летний вечер, по степи, старые деревья, гроза, зимнее утро, сон травы, кукушка, листопад над прудом, холодный май, реченька, над ночным покосом, летний пейзаж



с птицей, август, у ночи на краю... Что это за перечень? — спросите вы. А это и не перечень вовсе, а только его начало, — незакавыченные, через запятую, названия стихотворений Александра Плитченко. Стихотворений, где лирический герой и природа слиты воедино.

Любовная лирика? Философская? Бытовая? Присутствуют, и еще как! Но чтобы это благополучно сложилось в чистом, рафинированном виде, — такого чаще всего не бывает. В поэзии размышления о вечности соседствуют со звездным небом, любовные переживания — с сенокосными травами, а экскурс в историю — с днем сегодняшним.

Какая это группа лирики?

Так давайте же удержимся от соблазна препарировать живой организм стиха, расчленять сущность его, как сделал с это Лягушкой-царевной небезызвестный Иван из стихотворения замечательного русского поэта Юрия Кузнецова. «И улыбка познания играла / На счастливом лице дурака».

Потому что сущность стиха — это не что иное, как душа поэта.

Владимир ЯРЦЕВ

Из книги «Аисты улетают за счастьем»

ВЫШИВАНИЕ

Мама за неделю уставала
И к субботе старая была.
Мама в воскресенье вышивала,
Нитки разноцветные брала.

Радостные голуби взлетали,
Расцветали алые цветки,
Реченьки студень плескали,
Падали кленовые мостки.

Сам я накормлю скотину вволю,
Прополою, полью весь огород,
Только пусть над чистым-чистым полем
Вышитое солнышко взойдет.

Мама вышивала, вышивала,
Молодая, добрая была.
И соседкам вышивки давала,
А сама соседских не брала.

КАНАВА

Канава,
где спелые травы хрустят
под случайной ногою,
Где жук поселился в огромной
консервной цистерне,
Где белый окурок лежит,
словно маленький
боров,
Где перышко птицы
угрюмый несет муравьишка,
Где ржавый паук
оплетает цветущий репейник,
Где ищут собаки и кошки
целебную травку,



* * *

Ночь пролетела, проплыла,
В реке колечко утопила.
И два далекие весла,
Как два далекие крыла.

А утром
Осень наступила.
Молчу
И по траве иду.
Она поникла и остыла.
И веточка дрожит в саду,
Где птица летняя гостила.

Из книги «Облака, деревья, травы...»

* * *

Обидел товарищ.
Не спится.
В окошко гляжу.
У ворот
Какая-то темная птица,
Качаясь,
Клюет небосвод...
Я все же уснул.
Кто стучится
Так рано в окошко мое?
Она.
Одинокая птица.
Я раньше не видел ее.
Прости меня, детище света.
О, сколько я дров нарубил,
О, сколько по белому свету
Я братьев твоих погубил!
Прости меня, светлая птица,
В окошко стучи на заре.
О дерево —
 дивная птица,
Живи у меня во дворе.

СОБАКА В ОГОРОДЕ

У породистого мака,
где редиска проросла,
эта умная собака
словно дикая легла.
Мак над нею с перепугу
пламенеет и горит.
Дышит рыжая зверюга —
ничего не говорит,
шкурой двигает лениво —
отряхает лепестки...

В это утреннее диво
кинуть камень не с руки!



Птицы поутру судачат
про погоду и сады,
рыбы поутру чудачат,
вылетая из воды.
Утром рыбу или птаху
не загроу, не спугну,
гляну в небо и рубаху
потихоньку расстегну...
Пересвисты, перезвоны
над моею головой,
мир светающий, зеленый,
росный,
радостный,
живой!
Небо, воды, огороды,
птица, пес или пескарь —
дети малые природы —
пусть потешатся,
пускай.

ХЛЕБ

Я хлеб люблю с картошкой, с молоком,
И просто так,
И с чесноком и солью,
Я за обедом чинно хлеб хвалю,
А кто не ест, того и не неволю.
Имеешь хлеб —
По сути это — честь
И за труды достойная награда.
Имеешь хлеб,
Так все сумеешь съесть,
А хлеба нет —
И ничего не надо.

* * *

Зеркало в избе,
А на нем пчела.
Ползает пчела
По себе сама.
Под моим окном
Расцвели цветы,
Головами бьют
Сами по себе.
Над моим окном
Ласточка гнездо
Свила,
Там птенцы
Сами по себе.
Я смотрю в окно.
Что-то здесь не так.
Где-то здесь тоска.
Мне не по себе.



Посреди двора
Дерево росло.
Высохло оно
По себе само.

Из книги «Матушка-рожь»

БОЖЬИ КОРОВКИ

С детского пальца неловко взлететь,
Ползает с тихой сноровкой...
Что они думали, прашуры, ведь
Божьей назвали коровкой!

Где же настолько оно велико —
Малое это созданье,
Что, нагуляв на лугах, молоко
Носит Создателю данью?

Кто выгоняет их там к выпасам,
Поит под синюю кручей,
Кто по вечерним ведёт небесам
Стадо к деревне за тучей?

Стрельников Гриша отпел, отсвистал —
Весел, убог и неловок —
Может быть, он в горней области стал
Пастырем Божьих коровок...

Экое дело — коров выгонять!
Знания надо немного —
Только что капельку эту понять
Доброй кормилицей Бога.

* * *

Кто напророчил годину лихую?..
Вновь подымусь от неверия злой,
Выйду и в душную полночь глухую
Тяжко взлечу над землёй.

Мутно качая огни городские,
Воздух зацвёл, как больная вода,
Не разобраться — о чём по России
Стонут во тьме провода, —

Снова бедой обернулась победа,
С муками к пропасти шли на звезду?..
В дебрях недобрых усталого бреда
Я не лечу, а бреду...

Господи Боже, доколе, доколе
Будет мытариться наша земля,
Где сыновей моих кровная доля —
Прадеда, деда поля!

Где же её неизбывная сила,
Где золотая державная рожь?



Нас напоила, врагов накормила,
По миру скоро пойдёшь...

Сколько погибло, чтоб мы согласились
Светом считать беспробудную тьму,
Кто одолел нас, кому покорились,
Служим в неволе — кому?

Что же пытаться себя снова и снова,
Что же глушить свою душу виной, —
Не воскресить нам села золотого,
Дедовой пашни ржаной...

Господи Боже, доколе, доколе
Бесам поганить родительский дом!..
Глас Протопопа мятежного в поле:
— Ино ещё побредём...

1989

МИША

Мишина доля хренова,
Мишина доля горька —
Выпьет стакан разливного,
Ляжет в бурьян у ларька.

Нюхают Мишу собаки,
Бродят по Мише жуки...
Рядом то ругань, то драки,
Пьют, говорят мужики.

Миша в бурьяне тоскует,
Думает думу опять,
Горькую думу, какую —
Где мне, счастливому, знать?

Взгляд его, как на иконах
Старых — поник и потух.
Миша и плотник, и конюх,
Миша печник и пастух,

Миша Равеля не знает,
Миша Рембо не читал,
Миша в траве засыпает,
Миша от жизни устал.

Все её беды и бури
Выпали Мише сполна...
Дети, тянитесь к культуре,
Пейте поменьше вина!

1975

НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ

Закатился за озеро, прожит
День просторный, бесстрастный, простой.
Пронизав, облака не тревожит
Луч рассеянный, луч золотой.



Ты сегодня не сделал худого,
Не раскрыл молчаливого рта
Для недоброго, пошлого слова,
И котомка у беса — пуста.

В ровном шуме прибрежной дубравы
Под неяркою первой звездой —
Расправляются тихие травы,
Что примяты случайно тобой...

Что же душу гнетёт и тревожит,
Если нынче себя сберегла,
И назавтра, даст Бог, не умножит
Этой жизни присущего зла?..

Замирает душа одиноко,
Точно вольная птица в руке,
Ибо в мире и зло, и жестоко
Говорят на другом языке...

БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ. 1990.

Поверх туманной светлой мглы —
И на бугре, и под горою —
Кресты виднелись и орлы
Над монументами героям.

Туман окрестности скрывал.
В повисшей дымке над полями
За лесом монастырь вставал,
Посверкивая куполами.

И там, на западе, едва —
То расплываясь, то темнея —
Чуть видно — брезжила церква,
И светлый мрак стоял за нею.

Мне было нелегко идти
В полях солоноватой глины,
Где то и дело на пути
Кусты, болотца, мочажины.

На взгорке выровнялся шаг,
И приподняв глаза от грязи,
Увидел маковку-шишак
Злащёный над могилой князя.

Он отовсюду виден был —
Высоко вздыбленный на взлобке,
Покуда полем я торил
В полёгшей ржи кривые тропки.

Да, рожь неубрана была,
Хоть то привычным стало ныне,
Картина эта привела
Меня в тяжёлое унынье.



Я шёл по мёртвым колоскам,
Срывая их в тоске и боли,
Чтоб показать сибирякам
Погибший хлеб на славном поле...

За этим полем — выпаса,
Вода в следах копыт по склонам,
А ниже — редкие леса,
Гнильём завалены зелёным.

Свист редкой птицы, всхлип воды,
Далёкий шум на полустанке,
Да человечесии следы —
Куски железа, вёдра, банки.

Здесь почва старая, она
Всего сверх мер перевидала,
И точно бронза — зелена,
И как история — устала...

А монументы там и тут,
В тумане группы — двое, трое,
Как будто витязи бредут
Израненные с поля боя.

Куда идти? Победы нет.
Москва пылает злобной силой.
И этот тусклый чад и свет
Плывёт над милою Россией.

Я брёл в тумане, и опять
Вставало в сердце поневоле:
Дошли... не можем хлеб убрать,
И где — на Бородинском поле!

И в душу холод мне дохнул,
И холодом душа разъята,
Как будто в пропасть заглянул,
Откуда нет уже возврата...

Но — стукнул колокол вдали,
Но встала синь над куполами,
И тени быстро потекли,
Скользя усталыми полями.

Кого судить? Кого винить —
В пространстве тёмном и усталом?
Одно осталось — сохранить
Свет Бородинский за Уралом.

Не все мы сдали рубежи,
Пока ещё есть души живы!
— Вот головы погибшей ржи,
Колосья Бородинской нивы...

НА МАЛЕНЬКОМ МОСТУ

Так свежо на мосту. Ветерки.
Тёмно-синяя рябь серебриста,
На откосе у самой реки
Устоялась толпа остролиста.

Низкий берег осокой зарос,
По воде распластались кувшинки,
На стеблях над рекою рогоз
Меховые качает дубинки.

Тёмный жук унырнул в глубину,
Водомеры скользят на затишке...

Вижу, детскую эту страну
Посещают — и часто — мальчишки:
Утлый плот в камышах, за ветлой
Небольшое кострище дымится...

Голубой и округлый покой
Обмеряет высокая птица...

Невесёлый, унылый, больной —
Сам себя вижу страшным и странным
Над живой, беззащитной страной,
Предвещающим зло
Великаном...

* * *

Дни мои безвыходно поникли,
И считать бы то, что не сбылось,
Если бы не милой земляники
На Алтае собранная горсть.

И родной, согретой и желанной
Дух земли, ожившей до корней,
И дыханье мира над поляной
Отстоялись ласковые в ней.

Знаю, чтобы доброе сбывалось,
Я теперь в любые времена
Только трону сердцем эту малость —
И душа до краешков полна.

Звёзды лета! Ягода лесная!..
Чашу, где грехи мои и злость,
Перевесит тёплая, родная
Земляники маленькая горсть...

Виктория ДЕРГАЧОВА

МОНОЛОГИ

Р а с с к а з ы

ЛЕТОПИСЕЦ

1. Дом

«... дом этот стоял на окраине поселка. Дача эта.

Забор совсем покосился во дворе. Стены у дома давно некрашенные. А в одном окне вместо стекла пленкой заклеено. В зиму-то...

В поселке том несколько домов и осталось. Из деревенских жильцов дачники только. Ожились. Вот так выйдут к обеду и смотрят, смотрят... Земфире-то уже в привычку. Молоко она держит в подвале, чтобы к обеду почти свежее было. Можно потом подышать на него, чтобы парное.

В доме том, люди говорят, жила старуха. Люди говорят, давно это было. Люди говорят, Времени много прошло, теперь дом тоже умер. Можно пробовать жить, дом не тоскует. Дачнику дали. Пусть пробует.

Дачник вроде хороший. Веселый. Прижился, Земфире на радость. Потом взял, да и умер. Люди сказали, дом хоть и умер, да тоже живое. Люди сказали, Земфира красивая, вот дом и ревнует.

Земфира жечь дом тот хотела. Ее поймали у дома, учили. Земфира потом встать не могла, под лавкой лежала, стонала все, плакала долго, к дачнику просилась. Поучили ее с недельку. Потом Земфира взяла, да и утонула случайно.

С тех пор времени много прошло. Люди сказали, давно это было. Люди сказали, можно пробовать жить. Дачник новый пришел. Дом ему дали. Люди сказали, пусть пробует.

С Анютой у них получилось. Анюта тоже красивая. Дачник остался надолго. Ожился.

А время?... А время проносилось. С дождем бежало. Улетало. Время таяло. Сквозь пальцы ускользало. Сыпалось песком.

Ия...»

2. Эмдер

«... в лесу раньше город был. Княжеский. Эмдером звали.

Если в лесу том стоять, сквозь лес видно горизонт почему-то. С проседью он давно. Где проседь, там город-то и был. А так — очень темный. Сосновый. Лес наш себе на уме.



Я нашла осколок горшка с волнами. Я нашла кусочек ножика обломанный.

Я нашла холм, на нем стояла. Я нашла осколок горшка с точками. Я нашла кусочек от стрелы обломанный. Я нашла ямку, все в нее закопала. А кусочек от черепа арийца домой унесла.

Вот в Эмдере том только красивые люди жили. На дачника с Анютой похожие. Богатыри. Они тут богу молились. Каждому. Богатыри тут ели, тут спали, любили тут много. Богатыри тут играли в горелки. Богатыри тут пряли, коней заводили. Богатыри тут хороводы водили и песни пели. Богатырям тут весело было тоже. Наверное.

Люди не работали тут и ничего не делали, только в сосны плевались — мне мамка сказала.

И потому сладкого у меня тоже сейчас не будет. Домой чтоб шла...»

3. Кикимора

«... у Агафьи сын наконец-то родился. В листопаде имя дали, Филипп. Агафья боялась все, как бы Кикимора в лес не забрала. Прягала Филиппа под люльку. Следила много. В кроватку полено уложит, в пеленку завернутое. Да только сын плачет под люлькой. Кулачки сжимает от обиды великой такой. Хочется ему к висюлькам, которые над люлькой Агафья навесила. Тренькают висюльки так вот — трень. Звенят все. Кони там есть, звезды там есть, крендель там разный есть и месяц там есть. Да много чего еще отец ему вырезал с дерева. С радости. Ведь сын у него наконец-то родился. С жены. Не с Прасковьи.

Просила за сыном Агафья присмотреть, когда уходила куда. Что мне... Я смотрю. Маленький Филипп плачет только. Хочется ему к матери да к отцу. Требует. Агафья сказала, потому что неумеха дурная ты, плачет он.

Агафья сказала, глаз зачернен у меня, злая я потому.

А как-то, говорит Агафья, Кикимора моего сына в лес забрала, мне помоги, Геля, найти. Я расстроилась на это, что неумеха дурная. Ушла...»

4. Школа

«... свет в ученье, а за неученье перед государством стыдно. Должно быть. Лариса повторяет нам. Львовна. Лариса Львовна нас учит. День каждый. В избе. У себя в доме-то. И математике. И письму. И полезным человеком. Теперь пишу прописью немного. С десяти до одиннадцати пятнадцати. Потом обедаем. Потом литература. Потом аэробика. И теперь прописью. Мать почерку радуется. Клокочет. Смеется. Ларисе не нравится. Львовне. А я Ларисе в другой тетрадке пишу. “*Bonjour, Paris, Noël*”. Львовне. Рукой правой. Про то, как мама раму мыла. Зимой. А для матери в этой.левой. Про то, как снежинки вырезали да лепили мылом на стекло. У кого почерк овальный и ровный, Лариса улыбается. Львовна. Растекается. Округляется. Как Лель. Розовошекая. Теплая. Озерная. Ляля. Я тетрадку матери подарю эту. И прихватку крестиком на труде вышить Лариса задала. Львовне. На восьмое марта.

Стояла на горохе у картинки с Лы-Ны Толстым. Над рассказом не плакала. Одна. Каменная. Тварь неблагоприятная. Я...»

5. Паленый

«... у Паленого на руках колокола вырисованы. Завидно мне. Так красиво-то. Да не один колокол. Да как на картинке — мне мать показывала однажды. С городом. Цыгане приходили когда, мать с них книгу-то выпросила ту. Показать. Запомни, сказала, мне за эту книгу в ночь идти к ним. Петь. Паленый смеется, называет грехами. Колокола. А почему — не скажет. Придерживает. Подрости, говорит, пока. Один медведя убил, одну женщину любил, один дочь вырастил. Все время он. Жадный. Потом расскажу по секрету, может быть. Говорит мне так.



А еще Палену сто лет минуло.
 А еще Паленого лес уважает.
 Как Змей страшный. Паленый, потому что в груди выгорело. Говорит мне так.
 Паленый один не спал, медведи пришли-то когда. Знал их, что будут. След в лесу
 был. Сидел у поселка с ружьем на случай на всякий. Мы спали пока, Паленый их
 выждал. И с ними пошел...»

6. Медведь

«... Красный. Млечный. Медовый. Шелковый. Вечный. Пряничный. Еще кро-
 шечный совсем. Сильный. Старый. Лохматый. Горячий. Ржавый. Колочий. Теплый.
 Слабый. Мудрый. Страшный. Сладкий. Бестолковый. Малиновый. Приснился еще
 который мне. Он. Шел. Блестел. Искрился. Гнался. Серебрился. Звал. Зевал. Звенел.
 Лаял. Пел. Кудачтал. Помякал. Зарычал. Остановился. Присел. Насиделся на пеньке
 вот тут. Ягод наелся. Притомился. Устал. Отоспался. Узнал. Перевалялся. Встал. Оска-
 лился. Задружил. Улыбнулся. Клычищами вот такими вот. Полюбил. Ласкал. Лизал.
 Целовал. Ел с нее. Убил. Откусил. Пережевал. Проглотил. Переварил мою левую
 руку. И меня. Выплюнул. Извинился. Припорошил. Сказал, что нечаянно. Обозна-
 тушки. И врать не умеет-то...»

7. Баня

«... баню мать в неделю раз топит. И когда отцу надо.
 Баню в холм врыли. Отец за вечер сделал с братьями быстро. Ладно вырыл.
 Только темно. С огарками моются там. Холодно, если быстро.

Мать, чтобы теплее, топит часа три. А стены из глины красной. Обмазаны, что-
 бы мои ладошки остались впечатанными. Матери в радость. Смеется. Показывает
 мне, какая я сверчок была. Матери в радость. Мне тоже. Я пририсовала в глину
 морду оленя. А чтобы не скучно ему, пририсовала стадо еще. Матери в радость.
 Моемся мы пока.

А брат-то один раз оленя-то убил. Убил-то. Палкой растер. Отец сказал — охот-
 ником будет. Хвалил. За это в лес ушла жить. Как арийцы. Драли больно и долго.
 В бане мать меня отмывала. Плакала я пока. Мать тогда моего оленя-то оживила.
 Оживила. И совсем как ведунья. Земфира делала тоже. Мать тихонько в ладошку
 пошептала, слова нашептала, вот олень-то и ожил. Олень-то и ожил. А в этой бане так
 можно. Секрет только наш.

А как-то отец после охоты придержался. Баня четыре часа уже топилась. Мать
 всегда отца пускала, потом братьев пускала, потом мы с ней. А как-то после охоты
 отца-то нет. Чтобы баня дышала, мать пустила братьев, потом мы уже. Баня дышала.
 Смеялись олени. Ручейками текли. Отец так не любит. Вернулся с охоты, мать выле-
 зала с подвала тогда, отец с горя в плечо да и стукнул. Зашиблась мать больно. В бане
 маму я отмывала. Нежно, где плакала она, подула тихонько. Отец приговаривал по-
 том: топи баню вовремя мужу...»

8. Поселок

«... а поселок наш стоит на самом краю. Долго. Люди говорят — тысячу лет
 стоит. Вот сколько на срезе колец в каждом дереве в мире во всем, столько поселок-
 то наш и стоит. Люди говорят — и стоять еще будет.

Приезжие радуются тому, что край нашли.

А мы смеемся. Тихонечко. В ладошку. Чтобы не обидеть только бы. Сыпемся
 песком сквозь пальцы рук чужих. Встречам радуемся этим нечаянным.

Приезжие некоторые остаются. Оживаются. А другие...»



СИНЬ

Родилась у Земфиры Ленка.

Синие косы. Раскосая девочка. Нежная. Шейка белая.

Даже шутили — повяжи-ка платок на Ленку. Не то.

— Что? — скалилась Земфира.

— Так, — отвечали ей.

Знали, Земфира-то по лесу ходит. Ночью. Шепчется с травами.

Знали, Земфира мужней-то не была.

Раскосые глаза у Ленки. А косы-то — синие.

Не было такого тут. Точно. Мужа-то не было. Ну ни у кого. Ленке, говорили, не повезло. Мать-то та еще.

— Кто? — спрашивала Ленка.

— Та еще, — по голове гладили.

Приговаривали:

— Бедная наша, синекосая. Ягодка волчья. Девочка ли.

Приговаривали.

Ленка маленькая еще была когда, бегала. По лесу бежит вот, присядет — и нет ее. Земфира фырчит, злится после, топает на Ленку, обзывается всяко разно. В домике она. Щеки красные-красные. Синь. Алые. Синие косы. Бегаёт Ленка по лесу, фырчит.

— Бедная девочка волчья. В мать, что ли?

Приговаривали.

— А спорим, внизу ты синяя тоже? — Витька сказал ей.

Спорим? Спорим. Три раза показывала.

— Женюсь вот, синяя, — Витька сказала ей.

Женимся? Женимся. Синяя ягодка волчья. Девочка ли.

У Земфиры Марика родилась.

Синие губы. Чувствуют.

Марика любит касаться губами. Нежность показывать.

Говорит ласково, на ухо нашепчет тихонько разное. Да и запомнится. Синь.

Синие губы любила Земфира.

— Смачная синь, — Земфира говорила, счастливая завистью.

Отняли. Дочь при себе больше лет трех кормила ведь.

ДАЛЕКО

Ночью Валентина глаз-то открыла, второй. Приоткрыла третий. Смотрела далеко. До треска. Зевала хорошенько. Приснилось ей вот. Валя горы там видела.

Хорошо далеко.

— Приснится такое, невидаль какая, — Валентина ругалась.

— В руку сон, что ли?

— В руку, каленым железом, невидаль какая, — Валентина ругалась.

— Ну его, что ли? Сон.

Сплю. Смотрю далеко. До треска. Зеваю хорошенько.

— Ну-ка мне, спишь уже?

— Голова болит, сплю уже.

— Вот и снюсь тебе пусть.

Еще Валентина сказала:

— Ну-ка мне, глаз закрой, второй, потом третий.

Хорошо далеко.

Приснился мне дом. А Валя горы там видела.

На то она, Валентина, и мотылек.

СВЯТЫЕ ЛИКИ

(Два монолога)

1. Луч света

Просыпались ли вы ночью с этим чувством, даже если с кем-то, кто-то рядом — все есть, даже шкаф-купе и новый журнальный столик, но вы просыпаетесь с этим чувством, со страхом, в слезах, а сердце стучит так, словно в последний раз, а валерьянки в доме нет, и вы вдруг боитесь, что это конец, потому что вы поняли все. Я хочу сказать — простите, что так не понятно, — у меня бывает, когда я волнуюсь, когда это чувство возникает, и сердце бьется как в последний раз. Простите, я сейчас объясню, я соберусь, сейчас, подождите, я хочу сказать, просыпались ли вы с этим чувством, словно вы космически, ну просто вселенски одиноки? Я хочу сказать, даже если кто-то рядом дышит вам в висок, а рука обхватила вашу грудь или груди, и это теплое человеческое дыхание в висок, всегда раньше успокаивающее, вдруг не помогает. Вы понимаете, о чем я?.. Об этом чувстве, словно вы букашка, песчинка, и второй такой нет, а все эти «вторая половинка» — все лажа, и никто-никто никогда вас не поймет, вы такой один, и так будет до самой вашей смерти, не достучаться ни до кого и, тем более, не докричаться.

У меня так было однажды.

Я проснулся, но рядом не было никого; я проснулся — и сразу понял, что лучше сейчас умереть, чтобы не мучиться, чтобы не было этого космического, ну просто вселенского одиночества, чтобы не запариваться, чтобы не терпеть рядом хоть кого-то, лишь бы не быть одному. Я решил умереть, решил, что больше никогда никого рядом не будет — какой смысл, если вторых таких нас больше нет?.. Я проснулся — и точно знал, что дальше нет ничего.

Так подумал я, Денис, чисто конкретный пацан, археолог, а потому гнусом еден, дождями мочен, залепухой укормлен, и прочая... прочая... прочая... И поэтому, из-за этого, из-за самого важного, собрал я спортивную сумку фирмы «Фирсачи», объяснил все Ленке, которая толстая дура и на девятом месяце, то есть беременна, говорит, что моим сыном Женькой. Объяснил все Ленке, которая вроде как с моим даже сыном Жэкой под сердцем и имела на меня какие-то планы; говорю же — дура. И пошел, значит, я — далеко ли, близко ли, — и пошел, в общем, я в путь-дорогу по полям, по лесам, по деревьям искать смысл. Ленка со мной попрощалась, сказала вслед непонятно, длинно, пространно, у меня аж мозги свихнулись от этого странного, в общем, Ленка пожелала мне идти всюду, куда меня пустят, потому что я блажен и обубожен донельзя.

И потому что я прошел полный курс многотрудной полевой археологии, и ручонки лопатой смозолил, дымами костровыми обкурен, шишками кедровыми бит и окриками начальственными оглушен, и поэтому, из-за этого пошел я в путь-дорогу по полям, по лесам, по деревьям, то есть, на улицу Энгельса, там, где раньше рюмочная стояла, а теперь продуктовый уже. В этом продуктовом купил я коньяку в три Вифлеемских звезды, хорошего, нашего, не всякую заморскую гадость; купил масла сливочного, финского, на развес, по десять гэрэ порция; хлеба черного купил порезанного, стерильного; все это положил в сумку, которую купил месяц назад на рынке, в общем, все это разложил в спортивную сумку фирмы «Фирсачи», купленную мной на вещевом рынке, и пошел на Юлькин десятый этаж.

Юлька мне обрадовалась ужасно, расцеловала в обе небритые щеки, спросила, че приперся, я ответил — блаженная Юлька, негоже тебе, чистой деве, ругаться матом; мне приснилось, что целый мир рухнул, ты пойми, Юлька, мне срочно нужно к тебе под одеяло, и чтобы твое дыхание чувствовалось на моей небритой щеке.

И потому что я работал с древнегреческими текстами и выучил сто пословиц на латинском языке, и потому, из-за этого самого, с тех пор Юлька жила со мною, то есть, я жил у нее месяцев шесть.





Мы с Юлькой мечтали о счастье, лежали в постели, говорили о юдоли плачевной. Я часто спрашивал Юльку — представляешь, как хреново нам жить на Земле? И Юлька меня понимала, все время кивала, в губы целовала, и вообще, чисто конкретно любила лик у меня на лице.

Однажды я у Юльки увидел снимок, ну как, нормальную такую фотографическую копию, на ней Юлька смеялась блаженно и была как Мадонна. Конечно, Мадонна, ответила Юлька, выпускной же тут, я полбутылки коньяка вылакала уже, а фотограф допил. После такого и кошка залает.

Юлька моя, пьяная Мадонна моя.

Невеста божья, голь бедовая моя. Я это сказал даже вслух, Юлька застеснялась, покраснела и призналась, что действительно мечтала о принце, но пока доходили только кони на ее десятый этаж. Я рыдал. И рассказывал Юльке истории, например, про то, что и императрицы бывают разные, пусть не переживает; например, Петя Первый свою Маргу нашел у кого-то, и ничего, как говорят на латыни, история эст магистра вита, то есть, значит, если прищуриться слегка и надеть темные очки сверху, жизнь и история — почти одно и то же.

И вот, из-за того, что я так все логично объяснил и даже расширил Юлькин кругозор, а значит, принес благо, мы жили ладно, душа в душу, по-божески как-то так.

А потом оказалось, что Юлька, блаженная, подседа на что-то, периодами ничего не втыкает, ни где остров Баян, ни где север, ни где юг, сидит, улыбается только, снежинки считает, в носу ковыряет, как басурманка какая, про космос не слышит, советов не слушает. Я, как узнал, так просто расстроился, вот прямо так и подумал, осознал вдруг — да, хрен огородный, хоть опять в паломничество по очагам несемейным иди, странствуй, но путь этот сложен, морально тернист, аки в лесу темном грехи таятся, а в кармане почти нет ничего, потому я решил пожарить говядину из Юлькиного холодильника, чтобы поесть и накормить мою блаженную Юльку, чтоб она делала без меня — то есть, остаться ради нее самой, не бросать же девку на произвол судьбы.

Надо ж было тебе так влипнуть — подсесть на дневную дозу в десять гэрэ, палеолитическая моя Венера, Юлька моя.

И потому что это я уже откопал в Сибири Эмдер, а потом я откопал в Великом Новгороде старинный свиток, а кусок керамики, датированный двумя тысячами лет ниже нашей эры, у меня лежит в бельевом шкафу, и завернут этот кусок для сохранности в мой собственный черный в полоску носок, я решил, что хватит нам валяться без дела, пора сводить мою милую Юльку куда-нибудь, например, на каток. И посему, потому, то есть, что на дворе была зима, февраль месяц, мы с Юлькой, чтобы не замерзнуть, всенепременно потеплее оделись и двинулись на уличный огромный загородный каток. На катке возникли проблемы, на катке, оказалось, коньки выдавали только по паспорту, а Юлька сказала, что она никому в жизни свой паспорт не отдаст в чужие руки и мне не позволит — кто их знает, что им в голову взбредет делать с нашими документами. И из-за этой своей бабской принципиальности, и из-за того, что денег у меня не было, Юлька заплатила за коньки своими наличными, отдала не два личных документа, а внесла временный почасовой аванс. И покатали мы не по лесам, не по полям, не по деревням и не по городам, а покатали по обычному загородному катку вокруг зеленой елки, не быстро, не медленно, не в гору, не с горы покатали, а по неровному льду кое-как. Юлька вначале кататься не умела, часто на лавке сидела, по сторонам смотрела, я ее возил за собой прицепом, а потом вдруг что-то случилось, а потом вдруг, через сорок минут ровно, она выпустила мою руку и куда-то зачем-то покатила вокруг елки, и куда-то для чего-то укатила одна. А пока я ждал ее, как то резко похолодало, и я вдруг заметил, что каток некрытый, я вдруг заметил, что на улице минус тридцать, можно случайно простыть. И вот, когда появилась заплаканная Юлька, и вот, когда она с температурой назад прикатила, я взял ее за холодную руку и, чтоб мне не простыть случайно, повел срочно Юльку домой.

Странная она слегка, а вообще, конечно, больная. Юлька моя, пьяная моя Ассоль.



Еле душа в теле, пополз себе за лекарством, туда, где когда-то рюмочная стояла, а теперь продуктовый стоит.

А потому что чумы нет и крестовые походы давно закончились, Юлька без моего согласия, без всякого моего конкретного разрешения перелезла в полупрозрачной ночнушке, в бесстыдной шелковой комбинации к соседу через балкон. И там, у соседа, она из иностранного холодильника вытащила, то есть, Андрей Семеныч уточнил все-таки, что Юлька не вытащила, а стащила из импортного холодильника, короче, взяла и без спросу попользовалась техникой, съев бутерброд Андрей Семеныча с дорожкой ветчины. Андрей Семенычу это не понравилось, он пришел ко мне нажаловаться, велел забрать свою Юльку в китайской ночнушке, велел привести мою блаженную обратно к себе на балкон. Вот так оно и было. Но в комнате у Андрей Семеныча я увидел шахматы; я давно не играл в шахматы, а у Андрей Семеныча оказался по шахматам первый разряд. И поэтому вполне понятно, и посему вполне естественно, что я позабыл про Юльку в рваной ночнушке, чтобы в шахматы с Андрей Семенычем сыграть.

А был уже месяц февраль. В квартире — что давка в церкви, но посветлее как-то было от электрических свечей. Мы шагали с Андрей Семенычем вровень ладьями, когда Юлька призналась, что пыталась в ванной топиться, но скоро события евангельские, вроде как Пасха должна быть скоро, а посему топиться желательнее как-нибудь попоздней.

И Юлька прибавила, скороспешно сказала такое, отчего Андрей Семеныч удивился даже, он на пять секунд поднял глаза от шахмат, от доски, у него правая бровь поднялась от удивления, когда Юлька нарушила полифонию тишины. А все оттого что Юлька призналась, как-то пространно высказалась, она рассказала, что, наверно, любви не бывает, а значит, и конкретных смыслов больше нет без любви.

Юлька все это сказала мне. Мне. Только мне. Для меня. И вообще, по-моему, она на меня запала. Я понял так, бог высветился в ее в глазах. В ее глазах. Лазурью. Для меня. И мне, реально, даже пофиг стало, кто она там на самом деле — Мадонна или драная коза. Я вытерпел целую тираду Юлькину про счастье, и моя Юля даже плакала от любви. Навзрыд. В моих руках. Ведь вполне понятно, ведь вполне естественно, что так можно плакать только в переполнение чувств от чего-то подлинного, то есть, от любви.

Вот так оно и было. А потом...

Потом Юлька все это про счастье проговорила. Ну и прибавила тихо: «Ах, как я любила!». То есть, она сказала: «Ах, я тебя так любила!» А потом добавила к этому *прибавила*: «Кирилл».

Да, вот так оно и было. Было так. Сей мир давно во зле лежит.

Ну и так как я не знал, что ответить на такое, когда глаза в глаза о высшем смысле и о бытие, мне в голову не пришел верный вариант, я решил на месте сымпровизировать, ответить Юльке не боком и не косо, а посоветовать ей по-дружески не имитировать оргазм просто так.

И, вдруг, Юлька разревелась:

— Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —

Значит, это кому-нибудь нужно?..

И Юлька выплакивалась:

Значит, это необходимо,

чтобы каждый вечер

над крышами

загоралась хоть одна звезда?!

Юлька проплакалась, вытерла сопли и сказала: потому что Земля круглая, нога ее белая тридцать девятого размера порог сей зловонный не переступит, и вообще, потому что моя Юлька хочет жить по-человечески, она срочно пошла, то есть, абсолютно самостоятельно полезла домой на свой балкон.



Нет Венер, нету Див, нет Мадонн.

В общем, мы с Андрей Семенычем в шахматы почти доиграли, ну и следом к ней перебрались.

А потом раздался звонок в дверь, я открыл, на пороге мент. Нет, нормальный такой очкарик с автоматом. Извинился за доставленное беспокойство и поинтересовался, не торгуем ли мы наркотой. Им в отделение позвонили анонимные благожелатели, вроде как мы причастны к сбыту не в особенно крупных размерах. Мы ответили, что не причастны, и вообще, даже слово такое «наркотики» не выговорим, мол, это что такое, и вообще, если не верит нам, чисто конкретным пацанам, Денису и Андрею, пусть заходит и ищет тогда свою в прозрачных пакетиках белую десятиграммовую наркоту. Ну че, мент извинился, что-то там нажал на автомате, зашел и начал искать, и не нашел, конечно. Юлька-то не дура совсем, спрятала, хрен найдешь, и этот татар окаянный поискал, опять извинился, попросил распечатать в документе. Я не понял, но распечатал, че мне, жалко, что ли; мент поблагодарил, поправил очки, подтянул штаны, а потом на пороге прибавил, он вроде как чуть не забыл сообщить: наша Юлька случайно упала — полезла с балкона на свой балкон, полезла и как-то упала прямо на ипотечные Петькины «Жигули». В общем, мент спросил — проблемы будут? Мы вспомнили, что Петька так любил свою развалюху, что не только мыл ее каждую субботу и среду, но и умудрился застраховать в «каска», а значит, у Петьки не будет особых проблем.

И потому что историк во мне умер, но пока еще не совсем, а из латинских пословиц я почти все забыл, я даже пошел на Юлькины похороны, чтобы посмотреть, как это бывает в жизни, а не на археологических раскопках.

Народ набежал разный, я своими глазами видел, как Юлькин знакомый по имени Димка пролил скупые чисто конкретно три мужские слезы. А вообще, нормальный пацан этот Дмитрий. Этот засранец, прости меня господи, посадил мою Юльку на дневную дозу в десять гэрэ.

В принципе, все было нормально, только бы у священника не звенел еще мобильный, а то во время службы трезвонил Чайковский, вроде не в тему, да, в принципе, точно все было нормально, но я отчего-то подумал — а Юльки блаженной ведь нет.

Вот так и было. Было так. А потом откуда-то сверху, из серого неба появился луч света, это было круто, прожектор свыше; все зашептались от неожиданности, такой спецэффект, а после решили, типа, теперь все хорошо, без проблем, она прибыла по адресу. Теперь все хорошо, без проблем. Без проблем теперь все. Как-то так.

А я вдруг вспомнил Юлькино:

*Послушайте!
 Ведь если звезды зажигают —
 Значит, это кому-нибудь нужно?*

*Я услышал детское:
 Значит, это необходимо,
 чтобы каждый вечер
 над крышами
 загоралась хоть одна звезда?!*

Было так. Как-то так и было.

Потом я попрощался с Юлькиным телом, выпил водки, полчаса посидел для приличья, ну и, в общем, плавно двинул домой.

— Граждане пассажиры, помочь надо, наледь у нас.

— Че не едем-то?

— Граждане пассажиры, наледь у нас, не можем ехать дальше.

— Не поняла, че не едем-то?

— Граждане пассажиры, не сидите, наледь у нас, пойдите, толкните чуть-чуть троллейбус уже.



- Твоя обязанность.
- За что билеты платим только?!
- Мужчины, пойдите подтолкните немного. Мужчины, я дверь открою заднюю, пойдите толкните троллейбус, иначе будем стоять тут.
- Мне в поликлинику надо, у меня спина больная, езжай давай.
- Наледь там, граждане пассажиры, мужчины, толкните троллейбус. Мужчины?
- Вижу одного.
- Мужчина, мужчина, пойдй пособи.
- Задремал у печки вроде.
- Не работает она, печка, примерз, толкни его.
- Мужчина!
- А?.. Че?..
- Сынок, иди пособи, мне в поликлинику надо, спина больная,
- Че толкаешься?!
- Сынок, иди толкни троллейбус пару разков.
- Че я-то сразу?..
- Нам рожать еще!
- И че? Я тоже.
- Ты не хами старшим. Сидишь на месте для пенсионеров, ты не хами, лучше помоги женщинам.
- У меня тоже пенсионное. Сама толкай.
- Такой малец, а уже хамло.
- А по шее?
- Говно гавном.
- Да отстань ты от него, вон еще один... Интеллигентный вроде.
- Где?
- Вон, в уголке стоит.
- Мужчина, пойдите толкните троллейбус, а то так и стоим ведь.
- У него плеер в ушах.
- Мужчина!
- А? Че толкаешься?
- Мужчина, идите толкните троллейбус, наледь у нас, водитель сказала.
- Толкните, пожалуйста.
- Сама толкай. Че пристала?
- Тоже хамло.
- А по роже?!
- Давайте, я толкну уже!
- Спасибо, молодой человек, пару разков всего, настоящий защитник, не то что эти два мудака.
- Мы вам поможем.
- Бабы, взялись!
- Раз!
- Еще раз толкните. Граждане пассажиры, выйдите пока из транспорта.
- Сама сидит, из термоса чай пьет.
- Два!
- Выйти бы надо...
- Три!
- Выйдите, вашу мать!
- И не надо так орать в микрофон свой, разоралася... Вышли уже.
- Четыре!
- Еще!
- Пять!
- Еще!
- Шесть!
- Запрыгивайте!



— Скользко, тормози!

— Не могу, опять встанем!

— Моя спина!..

— Подождите, мне надо, у меня очередь!

— Прыгай!

— Граждане пассажиры, едемте, от лица трамвайно-троллейбусного депо выражаю благодарность за оказанную помощь общественному городскому транспорту Ленинского жилого района...

Просыпались ли вы ночью от того, что кто-то для вас важный вдруг проснулся и понял однажды, что он один во всей вселенной и больше нет никого, даже если вы рядом и дышите ему, этому важному кому-то, в висок, а ваша рука у него на груди или на ее груди, а вы знаете, что только вы, вы один можете этому кому-то важному помочь?..

И знаете, я вдруг подумал, мы произошли из взрыва, из частиц, стали целым, и когда-нибудь мы взорвемся, вся наша галактика взорвется, наш мир разлетится на миллионы частиц, вселенная рухнет, но скажите, скажите, кто-нибудь знает, что там за вселенной?.. Что?.. Что?.. Что?! Никто не знает, я тоже не знаю и ни один ученый не знает, потому что не существует телескопов, способных туда заглянуть, но после взрыва частицы нашего мудрого мира, частицы нас всех станут частями чего-то нового, войдут в какой-то новый мир.

И потому что я не хочу, чтобы моя вселенная рухнула от чьих-то войн, и поэтому, из-за этого, пошел я не по дорогам, не по тропам, не по лесам, не по деревьям, а поехал на городском транспорте, то есть, конкретной, поехал на красном троллейбусе № 12 домой, и готов я был от Ленки получить десять раз по шее, воспитывать Жэку, моего, точно, сына, и попробуйте только не верить; потом ходить на работу готов был, ужинать дома, мыть посуду неделю, когда надо выносить мусор, есть горелую запеканку, в общем, любить мою толстую дуру, Ленку мою.

А Ленка ушла.

2. Матрешка

Он сделал глупость. Все делают глупости. Все ошибаются. Точно-точно. А потом он поймет все. А я дождусь. Да-да-да. Она его приворожила. Она такая. Коллега хренова. Я сразу поняла. Я его предупреждала, что она его приворожила и он уйдет к ней. Каждый день ему об этом говорила. Каждый божий день. И как в воду глядела, он ушел к ней. Почему? Не пойму.

И вот из-за дел минувших, а может быть, и из-за чего еще, я двинула куда подальше, а точнее, я двинула в монастырь. И через шесть часов пути в гребаной маршрутке, после которой до сих пор не чувствую спину, я подумала: а нахрена я туда еду. А просто так еду, на природе пожить. Ну вот... Стою я на окраине Мухосранска, похоже, что на остановке. Стою, вижу бабу с пустым ведром. Подваливаю к ней. Спрашиваю, чего стоите? Она говорит — а просто так стою, щелкаю семечки, че приперлась, понаехали, не лезь ко мне, жду городской транспорт. И я, говорю, просто так постою. Стоим; потом спрашиваю, сколько будем ждать еще деревенский автобус. Она отвечает — ну-у, где-то около часа; у нас, вообще-то, имей в виду, малометражный город, сама ты деревня, а если очень надо, иди пешком — сперва прямо-прямо, а потом направо, там далеко идти по дороге, минут десять по грязи, в твоих, вот умора, тряпичных унтах. Буду, говорю, иметь в виду, что малометражный город. Стоим. Вскрунули. Стоим. Дышим одним и тем же навозом. Час стоим. А автобуса нет и нет. Темнеет. Я стимоту не люблю, особенно в засранных мухосрансках, поэтому двинула с горки, по-моему, в центр, мимо коричневого, по-моему, ручья.

В однатыха-двухтыщном году нашей эры, а может быть, до, я не помню, не знаю, он ушел к ней, к этой стерве, мрази; не важно, я простила, простила, простила, к тому же они уже разошлись, это рок. Это месть. По заслугам все им.



Ну и, в общем, где-то к вечеру приехала я в этот самый засранный город, прошлась, а там, знаешь, в центре одна-единственная гостиница есть, «Магнат». Пришла, такая, к си-кью-ри-тэ, говорю, такая, здрасти, дайте мне номер с видом на монастырь; какой-то у вас, я бы сказала, дерьмовый город. Си-кью-ри-тэ говорит, и вам, мол, не хворать, говорит, вот ваш ключ, говорит, ключ в ваш личный неубранный номер; вы, говорит, извините за это, мы вашу особу не ждали, зато у вас замечательный номер с чудным видом на монастырь.

Вид был нереально реальный. Представьте: монастырский комплекс начала двадцатого века. Ну и, сами понимаете, очумелый вид с монастырского холма. Я бы сказала — чудненько. Благолепенько. Вот только река с этой точки обзора, к сожалению, была не видна.

А речка, между прочим, была что надо. Я на следующий день по берегам прошлась. Осматривала виды. Детишки на берегу готовили к путешествию перевязанного ежика. А чтобы еж не скучал, положили на плотик ломтик бородинского хлеба — бушка ему. И я смотрела на это, я вспоминала, что у меня в детстве был тоже ежик. Я этого ежика очень любила. Мне его в крапиве нашли и домой принесли. Ну так вот. Я думала об этом, я вспоминала, когда смотрела на плотик с перевязанным в лапках ежиком, который на плоту в путешествие по речке уплыл.

Тот день был чудесен, малометражно просторен. Мягкая весна подсушила кору. Закат догорал. Вечерело. Пахло набухшими почками и почему-то пахло липой на том берегу.

Следующим утром я пошла в монастырь, постучалась в дубовые монастырские двери, попросила попить, а потом еще поесть, а потом еще в келье пожить денек. Но меня почему-то не пустили даже за стопроцентно наличные евро в отдаленную келью. Уточнили, правда, мол, мне можно приходиться и молиться каждый день по часу.

В церковной лавчонке, в которую меня отправили по-малометражному приодеться, читал книжку священник Илларион.

— Здравсте.

— Храни тебя Господь.

— Меня... это... в монастырь не пускают без юбки. Где тут у вас облачение будет-то, а?

— Вон там, в уголке присмотри.

— А че они какие-то грязные... как тряпка пылевая, а? Вот засада, а джинса новая. Мне еще хотелось, это, типа того, заказать...

— Себе литургию? Она стоит тыщу рублей.

— Не себе.

— Тогда десять.

— А вы за исполнение желания молитесь?

— За заветное — тыща рублей.

— Ага, щас. Свечки можно?

— Какие?

— Монастырские.

— За сто?

— А попроще нет, что ли?

— За десять?

— И че, за десять топится быстро? Наверх-то дойти успеет, а?

— Вот за сто.

— Обдиралово... Все равно погасите через пять минут и переплавите. Мне подружка рассказывала, что плавите, не прокатит — мне за десять, двадцать штук.

— Вот за десять.

— Ну и че с меня будет-то?

— Тыщу рублей.

И на этом событии мы со священником Илларионом разошлись.

Ты не кручинься, живи в миру, живи с миром, а если будешь прилежно молиться, до тебя снизойдет святой Гавриил, так сказала мне странница Прасковья, на сон



грядущий благословила, чтобы мне можно было, как будто в келье, в гостинице жить.

Я действительно жила как в келье. Спала на полу, питалась скудно, хлебом, мазала кусок отбивной кетчупом из трав. Я хочу просветиться. И поверить в чудо. Я хочу помолиться. Только меня в детстве не научили — как.

И он снизошел, залез, через одно из фирменных окон, благо я поселилась на первом этаже. И он рассказал, что не стоит плакать, по закону переменчивости впереди что-то светлое уже.

Святой Гавриил сказал: давай забудем об этой отвратительной погоде. И поговорим о... море. Море. Знаешь ли ты, что такое море? Конечно же, знаешь, но я все равно расскажу тебе о море. Знаешь ли ты, что с весны утром мы, живущие на этой широте, спокойны от одной и той же песни. Я, например, всегда непроизвольно улыбаюсь, предвкушая ее, уже впитывая новый, такой похожий на все остальные и, может быть, этим прекрасный день... Я говорю о соловьиной песне. Птицы вырывают из объятий сна и служат поводьями сновидений, и мы от мрака на ощупь, только на звуки из пения, идем к свету нового дня. У моря же нас будят чайки. Только своими перекрикиваниями они умудряются бросить в нас соленый запах моря. Вначале кусочек, подманивая, но потом — щедро дарят нам этот морской воздух. Океан воздуха. В нем все — но первенство, конечно, у солнца. И у соленого моря. Как парное молоко, целебный воздух наполняет легкие, и с первого вздоха этим воздухом включается программа на восстановление наших замученных зимами тел. Изнутри воздух напирает, а каждая клеточка жадно впитывает в себя целебный кислородно-солонатовый коктейль. На лицах появляются блаженные улыбки, потому что морской коктейль бьет в мозг и, не смотря на степень сытости, опьяняет.

А если полежать на песке с закрытыми глазами, а потом их открыть, то мир станет цвета моря. Ведь есть такой цвет — цвет моря.

Лежать на песке, раскинув руки, пить морской солнечно-соленый коктейль и просто быть в неожиданно создавшемся уютном коконе. Желательно вечно. Питаясь, впитывая в себя окружающее тепло. Запоминая каждой клеточкой своего тела это ощущение, чтобы потом в нашу исконно-русскую зиму попытаться воскресить. Разжечь. Согреть себя. Можно закрыть глаза и представить, как клетки организмов неохотно отдают эти кусочки моря. Тогда загары потускнеют, лица станут растерянее, волосы потеряют запах веснушчатого солнца, а носы покраснеют от насморков. Останется только память об уютном коконе и море.

Поэтому те, кто добираются до моря, первые дни просто лежат на песке. И улыбаются всему миру. Наступает нирвана — кажется, это и есть буддийское состояние покоя. Тело отказывается покидать берег. Ну разве только для того, чтобы окунуться в горячую воду. Несколько дней спустя «батарейка» заряжена, усталость уходит глубоко в землю, можно начинать двигаться, осматриваться. Неизменной остается улыбка — морская Нирвана.

Оно есть где-то — море. Без разницы — где. Главное, чтобы с чайками и отражающимся в воде небом. С солено-солнечным воздухом. Главное, чтобы мы знали. Главное, чтобы оно было — с экзотическими пальмами, слишком бьющими по глазам яркими цветами и непонятными блюдами, вкусными, но противопоказанными нашим непривыкшим желудкам.

И тогда мы переживем любую зиму. Тем более, зима у нас стала мягче. Еще мы переживем все негативные черты чужих характеров, пустые взгляды, перекошенные в крике рты и разлетающиеся в запале слюни, пошлость и уозсть в отношениях, кажущуюся рутину дней. Много всего переживем. Обещаем. Главное, чтобы мы знали, что *мо-ре* есть.

Мо-ре. М. О. Р. Е. Первая и последняя буквы связаны с сушей, а между ними буквы принадлежат воде. Такие же синие, легкие, прозрачные, соленые. Мокрые.

Давай, я расскажу тебе о *мо-ре*. Ведь я его помню до сих пор, хотя в последний раз мы виделись сто пятьдесят лет назад.



Святой Гавриил попросил не портить ему статистику и репутацию в освобождении. Я и не порчу, говорю, спасибо, говорю, здорово мы с вами поговорили, спасибо, что все мне так подробно объяснили, вы меня и от него и от нее освободили. Просто чудненько. Благолепненько. Ну что вы, это вам спасибо, сказал, надевая рубашку, святой Гавриил.

А потом, на следующий день, ко мне подошла девочка в валенках, сказала, что из-за наступающего наводнения нужно срочно залезть на дерево или на ближайшую крышу; вообще, к моему сведенью, на ее крышу поместятся человек пять, есть одно дополнительное место, есть предложение за тыщу в сутки. Я, конечно, слышала об осадках, об их избытках в данной местности, всякое бывает, снег бывает в июне, но конкретно сейчас нет никаких осадков, пусть сама лезет на свою крышу, на улице уже двадцать пять, безветренно, солнечно, распогодилось по полной, сейчас бы на море, но я приехала в монастырь.

Вообще, прикольно было бы в этом замечательном городе открыть какой-нибудь спа-салон, например, с элитными услугами, для избранных и не только, конечно, еще и для местного населения, может быть.

От этого замечательного размышления меня слегка отвлекла опять в валенках девочка, которая попросила хотя бы денежку, чтобы за вчера поесть. Я вспомнила, что тоже с утра не ела, попросила девочку не отвлекать меня от размышления, потому что я тоже теперь думаю, где бы самой поесть. Тогда девочка ногами затопала, разоралась опять про понаехали пользоваться благами их родины, о том, что подожжет гостиницу, и только из-за меня. Как было бы удобно, подумала я, мы подружимся, а в отсутствие основного конкурента можно открыть мини-отель втроедорога при моем будущем шикарном спа-салоне.

Святой Гавриил, который пришел вечером, говорил: ты помнишь раннюю зиму, Маша? Помнишь, когда впервые за долгое время — на улице изморозь, и благодаря ей чувствуется — близко, совсем близко зима... И опять все залягут в спячки вместе со своими проблемами, душевными сбоями... Подумать только, впереди то время, когда люди будут носиться в пестрой сумятице по магазинам, вдыхать запах мандаринов, хвои и улыбаться, потому что праздник рядом, потому что в этой суматохе, в этой массе лиц, мы уже не одни, мы — вместе. Как же, наверное, весело толкаться у прилавков, прицениваясь, подбирая каждому из своих друзей обязательно необыкновенный и специальный подарок.

А помнишь тот особый период полусумрака, когда включаются гирлянды, витрины, и мы окунаемся в сказку?.. Блестящую сказку. В которой можно закрыть глаза на десяток дедушек Морозов на одной улице, на свернувшегося бомжа под наряженной пустыми бутылками елкой. Вообще на многое, потому что сердца наши требуют чудес.

В этот период не надо ничего себе доказывать, Маша. Можно просто отправиться на каток и опять оказаться вместе, смеяться с абсолютно незнакомыми людьми, знакомиться, а через десять минут забывать друг друга.

Как же это прекрасно.

Можно отправиться на лыжах в парк или к друзьям, петь под гитару на маленькой кухне, а можно, завернувшись в плед, пить классический чай с молоком, смотреть сквозь узоры окон на падающие хлопья снега...

О чем думает снег, заглядывая в наши окна и встречаясь с нашими задумчивыми взглядами?

А этот ваш человеческий ритуал, именуемый украшением елки? Сначала ставятся свечи-гирлянды, потом выбираются самые красивые шары — красные и синие, лучшие старые и новые игрушки, а под конец все припудривается «дождем», предусмотрительно закутаным с прошлого Нового года в газету. И вот, дело доходит до звезды. Или сосульки. Это ваша, Маша, главная ценность. И кто сказал, что зима — это только холод. Зима делает невероятное — разогревает наши сердца, которые тянутся друг к другу. Потому что зябко и тускло. Может быть, если бы не



существовало этого времени года, не ценились бы освященные чьим-то светом окна. Пусть искусственные. Но значимые...

Перелезая через окно, святой Гавриил предупредил, что у него дела, дела, ему давно уже из города сваливать пора, но он будет помнить меня стопудово.

Я пришла в монастырь, в моем спа-отеле будет тайский массаж для релаксации; матушка смотрела-смотрела, да вдруг и говорит — тебе бы сейчас помолиться. А я не умею, говорю, как вы думаете, спа-отель в соседнем ареале будет защищен от инфляции?..

Матушка шепчет: ты успокойся, объясни и попроси. И проси за сегодня.

И я стала объяснять и просить.

Дело в том, что я слишком привыкла к боли. Я переболела всеми болезнями в детстве. Я привыкла к боли. Режь меня. Бей меня. Все терплю. Как собака я. Хоть топи. Только своими руками чтобы топил. Нежно. Я люблю тебя. Да-да-да. И рыдая. В слезах. Здесь. Сейчас. Повторяю одно. Я люблю тебя. Милый. Родной. Самый лучший на свете. Повторяю тебе. Повторяю одно. Я люблю тебя. Я. Люблю. Тебя. Тебя одного. И рыдая. И заламывая руки. Здесь. Сейчас. В запястьях заламывая руки. Как крылья. Крылья. С надрывом. Красиво. Я красивая? Посмотри на меня. Не смотришь? Некрасивая я? Не красивая я для тебя? Я люблю тебя. Не слышишь? Нет, все равно слушай. Сквозь невзгоды. Сквозь вихри. Сквозь плазму. Я люблю тебя. Тебя одного. Я найду тебя. Я до тебя дойду. Ты ушел. А почему ты ушел? Ты опять с этой девкой? Я люблю тебя. Хоть топи. Только сам. Только нежно. Я люблю тебя. Я ж люблю тебя. Я люблю тебя. Почему ты ушел? Почему? Как ты мог? И за то что ушел, за то что не любишь... возьму — и не буду никого любить. Все стерплю. Не люблю тебя. Так и знай. Все стерплю. Не люблю тебя. Вот с сегодняшнего дня, клянусь, не люблю.

Матушка шепчет: молишься?

Да молюсь я, молюсь, отвечаю.

Матушка шепчет: ты попроси, объясни и проси за сегодня.

А сегодня я злая как собака. Так и тянет вцепиться кому-нибудь в глотку и рвать. Бесит все. Бесят люди, бесят машины. Бесят шины машин, за которыми, как ни старайся, я не могу угнаться. Бесит запах не той резины на шинах. Бесят сучки в магазинах, рядом с похотливыми кобелями. У этих сук воротники из наших собачьих шкурок. А запах мертвый. Мертвый. Бесит все. И болит голова. Так и тянет погрызть мозговую кость. Я сегодня собака. Собака. Ты идешь. Не пиная. Это я. Посмотри мне в глаза. Я пока еще собака. Мне без разницы, кого в клочья порвать. Я хочу стать живой. Человеком. Я хочу стать опять человеком. Только вот... В общем, мне уже двадцать минут не отвечают — как.

За окошком кельи притаилось лето, трелью дивной заливался соловей. Я молилась, а потом размечталась, что если б ее встретила, все волосы бы крашенные поывдергивала ей.

Услышь меня, пожалуйста! Эй, ты! Где-то там. Высший свет. Я прошу, посмотри на меня! Я прошу, на часок, на полчаса вниз спустись. Приспустись. Для меня. Для меня улыбнись. Для меня одной. Для меня. К черту всех! Мы одни. Я прошу, на минутку, я прошу, на секундочку для меня одной приспустись. Яркий свет. Яркий свет залетает в окно. Так темно.

Матушка шепчет: молишься?

Я прошу!.. Я прошу!.. Я прошу!..

Эй ты, там, наверху! Я пришла. Я дошла. Здесь стою. Пред тобой. Высший свет. Высший свет. Я боюсь. Я прошу, на секундочку, на мгновенье в окошке мелькни. Тебя нет. Почему?..

Матушка шепчет: объясни и попроси за сегодня.

Я потом объясню. Я молюсь.

Высший свет, прости меня. Прости меня за то, что если бы могла, от той любви, которая переполняет тело, твое бы сердце съела, сожрала. За то, что не отдам, не

отпущу тебя. Я уничтожу, раздавлю тебя. И никому не дам тебя в обиду. Я уничтожу, раздавлю себя. Прости меня за то, что я так сильно ненавижу. За то, что так люблю, что ненавижу. Прости меня... Простишь меня?

А я простила. Простила. И даже ее, эту мразь, простила. Я решила приехать и сказать им об этом. И вот, знаешь, приехала в этот малометражный город, сходила, положила им цветы на могилки. Сказала — здрасте, живите в миру, живите с миром, потому что я простила. Я простила. И пришла сказать вам об этом. В общем, живите в миру, пусть будет прахом мир, живите с миром. Теперь можно вздохнуть.

В церковной лавчонке читал книжку священник. В уголке валялось тряпье. Я топталась в дверях; вдруг мне стало стыдно перед священником Илларионом снять с новой джинсы баракло.

— Копейка с пятеркой налеталися и втюрились друг в друга.

— А?

— Авария, говорю. Налетались, говорю. Стоим.

— Ой, налетались-налетались.

— Мне заезд большой надо будет делать. Фонарики у копейки всмятку.

— Да... И че?

— Капче.

— Пригодится.

— Дай воды напиться.

— Надо — делай... стоять, что ли. Сгодится.

— Дай воды напиться.

— Да пошла ты...

— Сама дура.

Ну, в общем, в выходные на той неделе я ездила туда, в тот самый город. Просто так, где-то там побыть. Так получилось. Я ездила. Ну и съездила. Ну и в общем, нормально. И ни о чем не жалею. Вообще не жалею. Отдохнула что надо. Отоспалась даже. Там в центре — ну, типа, в центре — гостиница есть, «Магнат». Такая, знаешь, местечковая роскошь. Между прочим, ставлю все четыре европейские звездочки. Прилично очень. И, в общем, показывать не стыдно никому. И даже на фоне хрущевок почти круто. И все там, в этом городе, почему-то как-то счастливы. И сейчас, даже у себя дома. Я думаю об этом неделю. Почему они счастливы? Отчего?

Почему?!



Ирина СУРНИНА

ЗЛАТОЦВЕТ И ЧЕРНОБРОВ

* * *

Откроет золотые веки —
Из чёрных глаз прольётся тьма
И Древняя в каком-то веке
Сгорает заживо сама.
Горит от ненависти, страха,
От сотворённых всеми злоб —
И тлеет нижняя рубаха,
И боль, и ярость, и озноб!
В костре у ног живые сучья,
Неопалимая огнём,
Колдует — и порода сучья
Тоскует на земле о Нём-м-м...
А лоно истекает соком,
Любовью красной дух проплыл —
И в небе тёмном и высоком
Зачат младенец лунный был.
Прозрачны косточки и тельце,
И выгиб хрупкого хребта,
И кровь прозрачна во младенце —
Совсем холодная, не та.
И жалкий, к небу пригвождённый,
Не ставший ни тобой, ни мной,
Плывёт веками нерождённый,
Кочует белою луной.

* * *

Дети её родились из волос.
Вот они, под рукой.
Чёрную воду один принёс
И молоко — другой.

Ветер уносит ли жалкий кров,
Ливень — печали нет:
Слева растёт молодой Чернобров,
Справа же — Златоцвет.

Слышится дальний ли птичий крик,
Чья-то душа кровит —
В каждую боль Чернобров проник,
Всею тоской повит.

Солнце ли выбьется на просвет,
Вспыхнет цветок простой —
Носится радостный Златоцвет,
Прячется в травостой.

— Дети, когда-нибудь я уйду,
Спрячусь в густую сныть.
Может быть, речкою к вам приду.
Чур, без меня не ныть!

Вы приходите тогда ко мне
Беды свои топить,
Рыбок ловить в моей глубине,
Воду с лица попить...

Эхом остались слова от слов,
Цвикали птицы вслед.
И просветлел, наконец, Чернобров,
И заревел Златоцвет.

* * *

Брожу, ношу свою остуду.
И попадается старик.
Он мне встречается повсюду.
В какие тайны он проник?

В крапиве дикие берёзы,
Сочит набухшая земля,
И облаков сошлись разбросы,
И корень выполз, как змея.

А весь лесок кривой и страшный —
Его куда-то повело.
В него войдёшь вот так однажды —
И угодишь на помело.

Скажи, старик, я мало знаю, —
В трескучих птицах тишина, —
Зачем себя и всех терзаю?
За что мне эта боль дана?

Как тихо стало у лещины.
Как странно всё-таки жила...
Старик взглянул — и сквозь морщины,
И сквозь лицо его прошла.

* * *

Какое странное затишье —
Сама себя не узнаю.
Как будто стала меньше, тише
И, обомлевшая, стою.



Как сладко милому готовить
И тело новое таить,
И никому не прекословить,
И ничего не говорить.

Февронье и Петру молиться,
О дальней жизни не гадать,
И жарко женского стыдиться,
И тихо, затаённо ждать.

* * *

Настирала много, насушила —
Будет в чём по лету щеголять.
Облаков-напевок понашила
И пустила по небу гулять.

А на кофте солнце-сердце бьётся,
А у кофты бархат голубой.
Хорошо по улице идётся
С облаками, лесом и тобой!

ПРЕДЧУВСТВИЕ СОЛНЦА

Я солнце искала.
За ним уезжала на север.
Оно, как желток,
В гуще влажного неба болталось.
И сами собой
Вызрели ромашка и клевер.
И волнам озёрным
Почти ничего не досталось.
А им бы искриться,
Но не было, не было света.
Глодал ледниковые камни
Холодный Онега.
А белые ночи
Спокойного серого цвета
Вставали до самого Сампо,
До мельницы неба.
И ты не светил мне,
Но это предчувствие солнца
Сильнее, чем свет
В разноликих своих проявлениях.
А я уезжала
И верила — всё утрясётся.
И кланялась елям,
У чаек просила прощенья.

Москва повстречала спокойно:
Ни хлябь и ни ведро.
Я солнце искала по следу,
За всякой приметой.
Оно пробежало дворнягой
Лохмато и бодро,
Листом осыпалось,
В снегу зарывалось монетой.



Мы ехали как-то с утра
Подмосковьем рассветным:
Картины из серии
«Наша родная природа».
Соседка скажи:
— А теперь, представляешь, без света!
И я приумолкла —
Ведь солнце всего-то с полгода.
И не было света в крестах,
Куполах золочёных
И в окнах зеркальных
Холодных чужих небоскрёбов.
И столько встречалось
Наезжих, кручёных, верчёных,
Что можно за солнцем
Сносить и железную обувь.

А юг утопал
В изобилии, влаге и лени.
И солнце светило в тебя
До мурашек по коже.
И можно забиться под зонтик
И спрятать колени,
Чтоб сразу не стать
На варёного рака похожей.
А может быть, плюнуть на риск,
И как все развалиться?
А после наплаваться
В тёплом, солёном растворе,
До самых костей,
С отупением, власть провариться!
Не зря же приехал
На это хвалёное море.
И в полную силу цвели
Олеандры и розы.
Магнолия знойно
В своей красоте задыхалась.
Возможно, вы спросите:
— Что, не хватало берёзы?
Да нет.
Просто очень уж зелень толкалась.

И можно ещё написать
Про тяжёлый экватор.
Чем ближе я к солнцу —
Тем жёстче оно становилось.
И вот я в метро,
И несёт из земли эскалатор.
И солнце я жду,
Как великую Божию милость.

* * *

Как они любили и певали! —
Я смотрю советское кино, —
Выполняли планы, успевали,
Тосковали вечером в окно.

А Она проходит мамой мимо,
Светлая, у самого лица.
Да и в Нём мелькнёт неуловимо
Молодое что-то от отца.

И они, счастливые, уходят.
И стоит закат над всей рекой. . .

Больше ничего не происходит.
Я запомню родину такой.

* * *

Я не люблю панельный дом
За то, что днём и ночью в нём,
За русский рэп и тяжкий рок,
За вбитый в стену матерок,
За водку, питую с утра
И день, пробитый, что дыра
В открытый космос нулевой,
Где все с больною головой.
И за любовную возню,
И за визгливую грызню,
За чайной ложки слышный звяк,
Плывущий в комнату табак,
За ночью падающий шкаф. . .
Сосед, ты всё-таки не прав.

А мент запишет и уйдёт,
И всё по-старому пойдёт.

* * *

Всё-то, кажется, еду и еду,
По проходу ношу кипяток.
То мешаю какому соседу,
То он сам помешает чуток.

В духоте, тесноте, не в обиде
Хорошо уезжать из Москвы
И смотреть, если кто-нибудь выйдет,
И нестись мимо дикой травы.

А колёса несут, ошалели,
Словно кто-то стального украл.
А по правую сторону — ели,
А по левую — встанет Урал.

Только вдруг остановятся лихо,
Постою, где и жизни-то нет. . .
И проймёт вечеряющий тихо,
Над Россией негаснувший свет.

Татьяна МАСС

ДНЕВНИК ЭМИГРАНТКИ

Главы из повести

«Прошлого года я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури. Там я уже купил маленький дом. У меня еще есть двенадцать тысяч рублей; мы поедем и будем там жить вечно. Место очень скучное, ущелье; горы теснят зрение и мысль. Очень мрачное».

Ф. М. Достоевский, «Бесы»

Письмо Анны:

«Мария, бонжур!

Еще нет и десяти дней после нашего расставания на вокзале в Безансоне, а мне кажется, что прошло уже полгода. За это время я изменила свое *социальное лицо*, пройдя от обычной русской до просителя статуса политического беженца во Франции. Эти изменения, конечно же, отзвучатся и внутренними переменами, но пока я все та же. Мне хочется так думать, во всяком случае. Я обещала написать сразу же, как только мы устроимся, но теперь понимаю, что этого условия мне пришлось бы ждать слишком долго: мы до сих пор еще не устроены.

В том поезде, который увез нас из Безансона в Лион, оказался один соотечественник — то ли новый русский, то ли браток. Эти типажи ведь мало отличаются своим обличем: крепкие руки с обязательной печаткой, бычья шея... Но мне он стал почти симпатичен своим назойливым сочувствием к нашей бесприютности, проявлявшейся в том, что этот криминальный нувориш горячо советовал нам переменить маршрут и сдаваться в Лионе, так как на юге, в Монпелье, куда вы нас отправляли, сейчас, по его словам, слишком много беженцев арабов.

Мы доверились совету опытного и вышли в Лионе, который мне показался городом энергичным и шумным, но и только. На другие впечатления у меня уже не было сил: все мои внутренности обмирали при мысли, что сейчас придется сказать ту фразу, которой вы нас научили: “Же ве деманде азиль политик” — “Я хочу попросить политического убежища”. Выйдя из поезда, я сознательно оттягивала время этой фразы. Мы прошли по вокзалу, купили булочки, выпили сока... Приближающийся вечер неминуемо грозил поисками ночлега. Я подошла к полицейскому и, будто прыгнув в ледяную воду, произнесла эту слова на моем ужасном французском. Это было трудно. Я и не представляла себе, что это может быть *так* трудно...

Впрочем, мне пришлось повторить эту фразу раз пять, прежде чем до француза в непривычно элегантной для стража порядка форме дошло, что прилично одетая дама с домашним ухоженным ребенком (я пытаюсь увидеть нас его глазами) хотела бы стать беженкой в его стране. Я увидела, как в его глазах мелькнуло нечто, что совершенно точно отразило перемену в моих отношениях с внешним миром. Впрочем, корректный полицейский не стал слишком долго заморачиваться и направил нас в ночлежку, где проводят первые ночи на французской земле беженцы всех рас и национальностей — маленькие жертвы великого переселения. Захлестнутые этой



огромной волной, они растеряны и потеряны, но при этом довольно цепки и практичны, как беспризорники у случайного огня.

Привокзальная ночлежка оказалась довольно уютным пристанищем. Расположенная в стене старого железнодорожного виадука, она, как ласточкино гнездо над пропастью, ходит ходуном и скрипит, когда под мостом проносятся электрички.

Койко-мест на всех бесприютных не хватало, нужно было пройти тест, собеседование в кабинете у пожилой дамы, директрисы попечительского совета этого богоугодного заведения. Она была скорее строгой, чем милостивой, хотя и то и другое было так сложно в ней намешано, что без чтения “Человеческой комедии” Бальзака тут не разберешься. Сухая, хорошо причесанная мадам в элегантном брючном костюме разговаривала со мной с профессиональным оттенком легкого аристократического пренебрежения, к которому примешивалась доля некоторого любопытства. По ее придирчивым взглядам на мою одежду я поняла, что хорошо одеваться — для беженцев неприлично. Когда после долгих расспросов на французском, английском, а также языке жестов нас запустили, наконец, в ночлежку, на тамошней крошечной кухне готовили себе ароматную пищу к ужину цыгане, албанцы и сербы. Услышав в этом вавилонском смешении языков армянскую речь, я обрадовалась, будто встретила сестру родную.

Армянка Зина была с четырехлетним сыном, толстым румяным мальчиком. Зина — полная, по-восточному солидная женщина, с ярко окрашенными губами, с прической из химической завивки, с облупленным лаком на ногтях. Зина, как я поняла из ее уклончивых рассказов, профессиональная беженка, она ездит по всей Европе, проживая то в одной стране, то в другой, пока не выгонят. Выгонят из Германии, едет в Испанию. Какую радость она находит в жизни такой, мне оставалось только догадываться.

После ужина (замороженные пакетики, разогретые в микроволновке) нас отвели в спальню, где рядами стояли металлические койки. В душной комнате уже спали женщины и дети. Мужчины располагались в другом помещении. Я, хоть и устала, заснуть не могла, наверное, из-за цыганок, которые всю ночь мирно просидели в дальнем углу спальни, тихонько разговаривая между собой.

На другой день рано утром нас разбудили и отправили в префектуру, где мы с Митей отстояли огромную очередь, чтобы получить *рандеву* в этой же самой префектуре. Нам назначили это рандеву, так во Франции называются, оказывается, и деловые встречи, а не только любовные свидания, на январь. Сказали, что нам еще повезло, так как обычное ожидание этого первого рандеву для подготовки заявления и досье на отправку в официальный орган, который занимается решением беженской участи — от четырех до шести месяцев.

В префектуре, в этом столпотворении народов и смешении языков, до меня дошло, в какое же дело я ввязалась, или, точнее, меня ввязала судьба. Столько страсти на лицах людей, добравшихся сюда на всех известных видах транспортных средств, включая самодельные плоты: из Африки, например, через море! Для всех этих людей в сером кусочке картона, временном удостоверении личности, которое они получают в префектуре, заключены все надежды и мечты о нормальной жизни для себя и своих детей. И мы с Митей в этой толпе...

Митя меня насмешил в префектуре: в огромной очереди подрались две чернокожие женщины: одна обозвала другую проституткой. Драка была жестокой — куда прибежали полицейские, пролилась кровь из разбитых носов и расцарапанных лиц. Ключки кудрявых жестких волос потом пришел подмести с пола уборщик. Мой притихший сын мне сказал:

— Я так пожалел эту тетю, которую побили...

Я машинально задала ему глупый вопрос:

— Ну и как же ты пожалел ее?

На что Митя ответил:

— Я закрыл глаза и сказал: “Боже мой!”

Уже десять дней как мы живем во Франции, и нас пока еще не определили ни в одно общежитие для беженцев. Мест нет. Как бы то ни было, все-таки здесь мы в большей безопасности, чем в Москве. Это успокаивает меня».

Анна написала это письмо вечером. К тому времени они жили с Митей в ночлежной гостинице, в которую запускали только на ночь. Это была уже вторая их ночлежка во Франции. Она была получше первой уже хотя бы потому, что им выделили здесь отдельную комнату. Другие спали и в коридорах, на двухэтажных кроватях. Мест на всех не хватало: в Лион пришли морозы. Иногда ночью полицейские патрули доставляли сюда бомжей, подобранных на улицах. И тогда, еще не умерив своих хриплых голосов с мороза, бомжи будили спящих, споря то с полицейскими, то с дежурным.

Однажды ночью Анна проснулась от ледящего душу крика. Так мог кричать только смертельно раненый человек. Выглянув коридор, она увидела сцену: новопривезенный бомж орал и бился, не желая залезать на второй ярус кровати. Митя от этих воплей не проснулся.

Для пропитания им выдали талоны в столовую для бомжей. Их места за столом оказались рядом с огромного роста албанцем, у которого все зубы были железными. Митя как замороженный смотрел на эти клацающие железные челюсти, перемалывающие пищу, и отказывался есть.

Они должны были целыми днями находиться вне ночлежки, хоть на улице, и лишь под вечер их вместе с другими замерзшими людьми, толпящимися у входа, запускали назад. Чтоб не мерзнуть, Анна вела сына в огромный торговый центр, расположенный неподалеку от гостиницы. В этом центре можно было гулять целыми днями. Многоэтажное здание с фонтанами, бутиками, зимним садом под стеклянной крышей сверкало разноцветной рекламой и гремело музыкой, привлекая посетителей.

Открывался центр в девять утра. Анна покупала себе и Мите горячий шоколад в автомате, потом они шли смотреть игрушки в огромный бутик, заставленный автомобилями, куклами, плюшевыми собаками и обезьянами в человеческий рост, но после истерики, которую Митя устроил у огромной оранжевой медведицы с медвежатами, отказываясь уходить без этого роскошного зверя, Анна огибала опасное пространство, не желая травмировать сына вынужденной аскезой.

После прогулки они шли в Макдоналдс, где Митя быстро съедал гамбургер и бежал к детям в огороженное сеткой пространство для игр, до пота лаза по веревочным лестницам или бросаясь с верхних ярусов вниз, на мягкие поролоновые матрасы. Анна пила кофе и пыталась размышлять о том, что же с ними будет дальше. Эти попытки заглянуть в будущее были напрасны: даже завтрашний день был глух и нем. У нее, умевшей слушать будущее, отказала способность принимать и понимать знаки. Понятие «чужбина», оказывается, имело не только географический смысл... Анне начинала думать, что здесь действуют иные законы тонкого мира. Во всяком случае, чужбина говорила с ней чужим языке.

Засматриваясь на играющих детей, она забывала обо всем, с любопытством иностранки наблюдая за французами, их жестами, отношениями. Вот многодетная мама притащила сюда целую семейку, троих детей: живых, подвижных, не капризных. Оставив младших под присмотром старшего брата, мальчика лет десяти, женщина — сухая с усталым, морщинистым лицом, ушла за покупками. Мальчики, увлеченные игрой, не обращали внимания на ее исчезновение.

Вот бабушка привела внучку — грациозную пятилетнюю девочку с задумчивым серьезным взглядом. Пока ухоженная пожилая дама читала книжку, девочка направилась туда, где играли дети. По дороге она неожиданно получила крепкого тумака от толстого мальчишки-араба, но не расплакалась и не побежала к бабушке, а удивленно посмотрела на мальчишку, который показывал ей язык и снова начал толкаться. Девочка упала, зачитавшаяся бабушка оторвалась от книги, но не ринулась к внучке на помощь, а стала смотреть на нее и на ее обидчика, стараясь понять, что же внучка будет делать дальше. Девочка, явно желая расплакаться, все же встала и упрямо продолжила свой путь к играм. Когда преследователь захотел ударить ее в третий раз, она остановилась и крикнула на него изо всех сил. Мальчишка отступил, а бабушка, пряча улыбку, вернулась к прерванному чтению.





Так французская бабушка дала урок борьбы за выживание своей внучке. Русская бабушка, пожалуй, давно бы прибежала и вмешалась — жалость победила бы рассуждения о том, что детям нужно давать возможность самим бороться за свое счастье. То ли у французов более холодная голова, то ли у наших более горячее и нетерпеливое сердце...

* * *

На пятое утро Митя заболел. На рассвете, почувствовав беспокойный сон сына, Анна коснулась его жаркого лба. Еле дождавшись семи часов утра — времени появления администрации, она бросилась в кабинет заведующего, вымолила разрешение остаться с ребенком на день в ночлежке и, хорошенько укрыв забывшегося беспокойным сном Митю, побежала за лекарствами. В аптеке продавщица никак не могла или просто не желала понять ее английского — высокомерно отодвинувшись, она рассеянно выслушала сбивчивые объяснения Анны: эмоциональные клиенты, да еще не говорящие по-французски, вызывали у местных лишь желание отодвинуться подальше. Зазвонил телефон, и мадам вступила в долгую любезную беседу. Анна, не выдержав, вышла на улицу. Только через час поисков на витрине невзрачной аптеки она заметила знакомое жаропонижающее.

Митю рвало, он побледнел и отказывался от еды. Анна пошла к директору и со слезами, которые неожиданно полились из ее глаз градом, попросила вызвать врача. Когда пришел врач, Митя спал. Доктор, бросив быстрый взгляд вокруг, отметив старые одеяла и обшарпанную мебель ночлежки, с сочувствием посмотрел на Анну. Он попросил разбудить ребенка и, осмотрев бледного осунувшегося мальчика, поставил диагноз — острая ангина.

— Вы давно здесь живете? — спросил он по-английски у Анны.

— Почти неделю. Нас обещают перевести в общежитие для беженцев.

— Не думаю, что там будет намного лучше, — смягчил улыбкой свое пророчество врач.

Анна, видя всю грязь и убожество окружающей их обстановки, давно запретила себе быть брезгливой. Однажды утром, проснувшись рядом с Митей, она увидела, что сын спит с открытым ртом, своими губами касаясь при этом края грязного одеяла — простыня, защищающая от прикосновения к этому липкому от грязи шерстяному одеялу, под которым спали бомжи, проститутки и алкоголики, сползла. Анна тогда поправила простыню, запретив себе содрогаться от омерзения: брезгливость в ее положении была роскошью, она могла, как мощный динамик из старой батареек, высосать остатки энергии и лишит ее так нужного сейчас чувства внутренней правоты.

Она вспомнила, как муж учил ее чувствовать прикосновение к разным поверхностям: ткани, металла, камня. Олег говорил, что нужно учиться видеть руками. Они гуляли в тот день по лесу, недалеко от дачи его отца на берегу Рижского залива. Высокие сосны, синее небо, безмятежность лета и, как-тогда казалось, всей жизни — все было напоено солнцем, смехом, счастьем, рождением Мити.

Олег заставлял ее прикладывать руки к шершавым стволам сосен, напоминавшим кожу рептилий, давал ей потрогать большой и прохладный зеленый лист, а потом достал свой янтарный мундштук.

— Вот янтарь. Это просто кусок солнца, энергетика сумасшедшая. Прикоснись к нему с закрытыми глазами... Чувствуешь?

— Нет, просто гладкая поверхность...

— А я чувствую — медовуха в камне... Сладость на кончиках пальцев!

Тогда ей не удалось увидеть руками, а теперь она и не хотела ничего замечать вокруг себя. Иначе ей пришлось бы невыносимо среди запахов и прикосновений к пропитанным чужим потом шерстяным одеялам в ночлежке.

* * *

Дневник Анны:

«Сегодня утром я была в “Форуме беженцев” — организации, которая занимается устройством мигрантов. Пошла туда с ослабевшим после болезни Митей, не могла оставить его одного в ночлежке. Шли мы очень долго: уже две недели в Лионе



забастовка общественного транспорта, не работают ни автобусы, ни метро. В конце концов Митя устал и запросился на руки. Я взяла такси, сунула под нос таксисту бумажку с адресом, и минут через пятнадцать мы доехали до окраины, где в старом кирпичном здании располагается “Форум”. Таксист взял с меня сто франков. Когда возвращались обратно, я поняла, что мы проехали не более километра. Оказывается, лионские таксисты ничем не отличаются от своих московских коллег.

“Форум” был осажден толпами людей, добывающихся общежития. Большинство из них — с маленькими детьми. Послушав разговоров в толпе, я поняла, что наши шансы переселиться из ночлежки в общежитие равны нулю — почти все беженцы ждут жилья несколько месяцев, приходя отмечаться сюда раз в неделю.

Но самое главное в сегодняшнем дне: мне дают общежитие. Послезавтра мы переселяемся! Девушка, которая приняла нас, сказала, чтобы мы никому из беженцев об этом не рассказывали. Нам, как сказала девушка, в порядке исключения дают быстро, потому что у меня есть все документы. И потому что я мать-одиночка с маленьким ребенком.

Я встретила там Зину с сыном, наших знакомых по вокзальной ночлежке — им общежития не дали. Она плакала, хотя поначалу была очень энергичной, тискала сына, приговаривая: “Ты мамина радость, мамино счастье!” Мальчик улыбался ямочками на толстых щеках, и картина их счастья заставляла улыбаться пробегавших мимо сотрудников “Форума”. Зине посоветовали уехать в Париж и поискать жилье в столице. А я знаю, что в Париже ситуация с беженцами еще сложнее.

Нам тоже ведь вначале отказали — сказали, что нет мест. Но когда я выходила из кабинета, попросили подождать в коридоре. Я почему то была уверена, что нам общежитие дадут. А Митя, услышав, что мест нет, упал на пол и закричал: “А-а-а!” Наверное, это атмосфера с плачущими людьми так на него подействовала. Бедный мой ребенок!..

Скоро Новый год! 2000! Каким он будет для нас?...»

Лион, декабрь 1999 года. Общежитие беженцев

Серый панельный дом в семь этажей, два корпуса. На окнах — железные жалюзи. Дом тонкостенный и ужасно скучный: ни балконов, ни украшений. Но для тех бездомных, кому сюда выдали направление, он кажется теплым пристанищем в чужой стране. Анна, приближаясь к этому дому с Митей, почувствовала на мгновение всю горькую неприютность, густым облаком окружившую этот дом, но, вдохнув ее, сразу же внутренне примирилась с ней, чтобы не расплакаться.

Анна с Митей робко вошли в кухню. Все, кто там находились, посмотрели на них. Седой пожилой армянин, сидевший за накрытым столом, приветливо и громко поздоровался с ними:

— А вот и дорогие соседи! Нам вчера в бюро сказали, что придет русская женщина с ребенком... Здравствуй, уважаемый! — старик протянул руку Мите. Митя робко подал свою. — Садись со мной рядом, как мужчина с мужчиной. Будешь кушать?... Асмик, подай тарелку нашему гостю. И вы тоже присаживайтесь к нашему столу, — обратился старый армянин к Анне.

Анна видела, что Митя весь сжимается от громкого голоса мужчины и сердитых, как ему казалось, интонаций. Мальчик уставился на седые пучки волос, видневшиеся на груди из-под майки у старика, ему был страшен их вид.

Анна через силу улыбнулась и сказала:

— Нет, спасибо, мы не будем вам мешать, мы только что пришли. У нас вещи еще не разобраны... И надо успеть купить разного...

— Что вы хотите купить? — приветливо вмешалась пожилая армянка, Асмик, жена старика. Кажется, она понимала состояние Анны.

— Посуду.

— Какую?

— Тарелки, ложки, вилки, кастрюлю...

— Слушай, кастрюлю не покупай в магазине, там дорого, — женщина коснулась руки Анны. — Там сорок франков маленькая кастрюля стоит. Я тебе покажу *марше* —



рынок арабский, там дешево все купишь. А пока я тебе дам ложки-вилки и тарелки бумажные. Лишней кастрюли у меня нет, подожди до субботы, когда рынок будет...

— Спасибо, — Анна благодарно улыбнулась ей в ответ.

В маленьких комнатах стояли кровати, маленький шкаф, у входа была мойка и квадратное зеркало над ней. На окнах нет занавесок, стены покрашены желтой масляной краской. Пахнет хлоркой. Туалет и душ в конце коридора.

— Mam, это наш домик?

— Да, Митя...

Ребенок, почувствовав ее состояние, подошел и обнял мать теплыми ручками.

Лион, общежитие беженцев. 1 января 2000 года

В дверь постучали — стук был требовательным, поэтому Анна, накинув что-то на себя, шаркнула два шага от кровати до двери.

За дверью было безлико улыбающееся лицо Вирджини, работающей в администрации.

— Бонжур, мадам!

— Бонжур... — Анна чувствовала неловкость от своего неумытого лица и неприбранной постели, но пришлось посторониться и пригласить Вирджини войти.

— Мадам Журавлева, что вы делали вчера ночью? — спросила Вирджини на плохом английском.

Анна ответила ей на таком же плохом французском:

— Встречали Новый год...

— Значит, вы вчера были на втором этаже?

— Была...

— Просим вас пройти в бюро.

— Зачем?

— Соседи со второго этажа пожаловались на то, что ваша компания устроила там шумную пьянку.

— Но это неправда! — Анне не хватало французских слов, пришлось перейти на английский. — На втором этаже две русские семьи организовали встречу Нового года. Когда я была там, никаких проблем с соседями при этом не возникало.

— Во сколько вы ушли?

— В одиннадцать вечера. Мы с сыном спешили на концерт на центральной площади.

— Во сколько вы вернулись?

— В два часа ночи.

— Как же вы добрались?

— Метро работало всю ночь...

— Хорошо, сейчас я спрошу у соседей, которые собрали подписи против вашего «русского вечера».

Приведя себя в порядок, Анна постучала к соседям: Алексею и Оксане, которые все утро ссорились за стеной.

— Что вы вчера такого натворили?

Леха, русский алмаатинец с резкими скулами и смугловатым цветом лица, нервно хихикнул:

— Хохлов залез на албанский холодильник и помочился оттуда. Выгонят теперь, что ли?..

Его беременная жена молча вышла из комнаты.

* * *

Дневник Анны:

«Длинные коридоры, маленькие комнатки с железными дверями, туалет и душ в конце коридора. Пахнет средством для чистки мусоропровода. На кухне толстая негритянка Магорит делает прическу молодой соседке. Они переговариваются на своем негладком наречии, и слышится в их булькающих гортанных звуках мягкие шаги носорогов по песку или полет орла над саванной. Африка: Айболит, больные



слонята, тигрята... Во Франции на каждом шагу — фотоплакаты чернокожих детей, высохших от голода, с адресами и счетами благотворительных ассоциаций. Это гуманно, это сентиментально, но как-то поверхностно и напоказ. Расизм наоборот — к неграм на Западе относятся... как к братьям меньшим.

В этот обшарпанный самодельный салон причесок на кухне заглянула и Вирджини. Она что-то сказала парикмахерше и ее клиентке, затем постучала в комнату к Алексею и Оксане. Негритянки начали смеяться. Смеялись долго, громко. Все женщины на кухне были недовольны этими громкими всхлипами и выкриками, но никто ничего не сказал — все будут терпеть, чтоб не получилось какого-нибудь скандала.

Я вспомнила, что Блонди, социальный психолог, мне рассказала, что африканцы никогда не плачут — они смеются. Нервная система у них так устроена, что именно через смех им легче выплеснуть свои отрицательные эмоции...

— Сейчас им попадет, что на общей кухне волосы красят, — мотнула головой в сторону негритянок Линда, моя ближайшая соседка по коридору справа — и я поняла, что Линда их не любит».

* * *

Вирджини вышла из комнаты Алексея и Оксаны и направилась к Анне.

— Мадам Журавлева, соседи со второго этажа подтвердили ваши слова, к вам они не имеют никаких претензий.

Вечером Анна зашла к Оксане. Та кормила двухлетнего Артура хлопьями в молоке. Артур старательно открывал рот и быстро глотал, почти не пережевывая. У мальчика такие грустные пронзительные глаза, что Анне всегда хотелось его приласкать и погладить. Она заметила, что подобные чувства этот ребенок вызывает у многих — Линда и ее муж часто зовут Артура к себе, угощают его сладостями, а их четырехлетний сын Рами ревниво прячет от Артура свои игрушки, надувшись.

Однажды Оксана сказала Артуру:

— Не ходи туда больше, не нужно.

Послушный Артур отказался на следующий день брать печенья у Линды, и та сначала обиделась на не шутку, но потом все же пришла к Анне и попросила передать Оксане, что Артур — запущенный мальчик, ему нужно пройти медицинский осмотр.

* * *

Дневник Анны:

«В общежитии у беженцев из разных стран появляется вдруг очень сильное чувство ранимости и обидчивости. Дискомфортные ли условия тому причиной, оторванность от всей своей прежней жизни или чувства попрошайки, которому из милости дали угол и пропитание — беженцы очень болезненно реагируют на любую мелочь, которая никого не задела бы в обычной жизни.

Гиперчувствительность развивается даже у самых простых людей, радующихся первое время дармовому пайку, цивилизованному жилью, и небольшому денежному пособию. Я видела албанские семьи, похожие обличьем на персонажей Босха — изуродованные войной или ненавистью лица, выхолощенные глаза. И даже эти люди постепенно начинали тосковать и томиться своим положением попрошайек без родины».

* * *

— И что сказала вам Вирджини? — спросила Анна у Оксаны.

Оксана на этот раз повернула голову в ее сторону и ответила внятно:

— Если пошлют, уйдем отсюда.

— Куда?! Куда ты пойдешь беременная, да еще с маленьким ребенком?!

Оксана презрительно фыркнула — ей эти разумные доводы казались брюзжанием.

Ее муж, все еще дремавший после вчерашней попойки на кровати в майке и спортивных штанах, успокоил Анну и себя заодно:



— Никуда нас не выселят. Эта ассистентка сказала, что нас просто поругают сегодня в бюро.

* * *

Дневник Анны:

«Брезгливость к неудачникам. Я встречала это в России, теперь вижу здесь. С такой же брезгливостью я сама отношусь к бомжам и наркоманам. Мне кажется, что человек все-таки отвечает за свою судьбу. Я — тоже отвечаю. А если этот водитель своей судьбы не может справиться с управлением, то другим приходится останавливаться и тащить бедолагу на обочину, чтоб не мешал движению... Всем ясно, что его песенка спета, и никто не станет разбираться в причинах аварии — тормоза у него отказали или пострадал по своей дурасти, сев пьяным за руль...»

* * *

— Ты опять куришь? — спросила Линда, невысокая, смуглая, с короткой стрижкой и маленькими усиками над верхней губой, входя в свою комнату с полными сумками.

Омар смотрел телевизор. Рами сидел рядом с ним, с презрением посмотрев на вошедшую мать, копируя отца.

— Я никогда и не собирался бросать курить, — Омар был не в духе.

— Омар, ты забыл, что в Ираке у нас долгов на десять тысяч долларов?

— Когда получим паспорт, пойдем работать... за год расплатимся.

— А если нам не дадут паспорт? Если нам скажут: убирайтесь в свой Ирак?

— Тогда, — начал заводиться Омар, — мы решим, что будем делать. А сейчас не нужно плакать заранее, как та глупая молодка у неразбитого еще кувшина.

Рами молча наблюдал за этой сценой. Он не привык к громким голосам — его родители никогда раньше не ссорились при нем.

Омар достал сигарету, щелкнул зажигалкой — его руки тряслись, жилы на худой шее посинели и вздулись.

— Отстань от меня, ты меня замучила, я не могу уже так жить, мне нечем дышать рядом с тобой! — закричал вдруг он.

Линда выбежала из комнаты. Прячась от любопытных взглядов на кухне, она постучала к русской соседке.

Анна слышала через стену эту ссору на непонятном языке, поэтому с сочувствием смотрела на заплаканную Линду.

— Он не понимает меня, не хочет понять! Живет так, будто мы дома, — по-английски заговорила Линда. — Мы уехали из Ирака, заняв большие деньги на визу и билеты... Если мы не вернем, то долг ляжет на мою мать и сестер. Я ему об этом говорю, а он все равно каждый день покупает пачку за тридцать франков! — Линда плакала, ее рябое лицо было непривычно жалким. — Мы должны сейчас экономить: если нам не дадут статус беженцев, нам придется уехать в Германию! Нам там нужны будут деньги...

* * *

Дневник Анны:

«Здесь все друг друга спрашивают, кто и по какой причине попал сюда. Но я обычно никогда и никого не спрашиваю — неудобно слушать, как человек заученным тоном начинает рассказывать легенду. Особенно неловко расспрашивать соотечественников из бывших советских республик. Продав квартиры в Узбекистане, Казахстане, Прибалтике, русские люди ехали в Москву, отстаивали многочасовые очереди, чтобы услышать резюме, что в их случае статус беженца не предоставляется. Помыкавшись по друзьям и родственникам, русские всеми правдами и неправдами стремились уехать за границу. Сочиняли немыслимые легенды — преследование со стороны чеченцев, российских властей, новых русских, наркомафии... Как потом выяснилось, удачнее всего выходило с преследованием по религиозным или сексуальным причинам. Я знаю соотечественника-гомосексуалиста, который, по-



лучив статус, вызвал свою *нормальную*, как оказалось, семью, встречала и убежденных советских атеистов, ставшими во Франции активными посетителями церкви пятидесятников и иеговистов».

* * *

Линда внимательно посмотрела на нее:

— Мы приехали, потому что мы христиане, в Багдаде за это могут посадить в тюрьму или даже убить.

— Если у вас такая серьезная причина, вам обязательно дадут статус, — убежденно сказала Анна. — Не нужно паниковать раньше времени, а то можно себя довести до ручки.

— А почему приехали вы? — спросила Линда.

Анна коротко рассказала, что она журналистка, работала в Прибалтике, что после раскола СССР ей не дали российского гражданства...

Линда понимающе кивнула. Ей уже хотелось вернуться к мужу и сыну, приготовить обед.

Анне тоже нужно было приготовить поесть — Митя уже несколько раз забегал в комнату, просил печенье или яблочко.

* * *

Дневник Анны:

«Приготовить обед на общей кухне, где представлены почти все национальные кухни мира, где негритянки стоят подолгу у двух моек, наслаждаясь водой, просто так бегущей из крана, где невозможно перекинуться словом с соседками — это маленькое ежедневное испытание. Тут еще и дети, которые постоянно ссорятся и которых надо разнимать с улыбкой, контролируя свои жесты, мимику, тональность голоса.

Чтоб немного разнообразить безрадостные будни жителей общежития, администрация придумывает различные мероприятия. Люди идут на них неохотно, с усталостью, понимая при этом, что нужно идти и улыбаться.

Одно из мероприятий называется “Сестры по кухне”: женщины из разных стран вместе готовят свои национальные блюда, а потом угощают друг друга. Чувствуешь себя жертвой каких-то насильственных манипуляций — эта акция так и не смогла сдружить сербок с косоварками или облегчить внутренний страх перед будущим, который держал всех этих людей. Но нужно было идти на кухню, готовить и пробовать чужие блюда и приветливо улыбаться при этом.

Догадывается ли бюро, что нам это неприятно, неинтересно и даже отвратительно?»

* * *

Всем обитателям общежития запрещалось завтракать, обедать и ужинать в комнатах. Говорили, что это из страха перед тараканами. При всем страхе нарушить дисциплину и быть вызванным на беседу, никто все-таки не ел на общей кухне. Только новоприбывшие, получив строгую инструкцию о правилах поведения в общежитии, поглощали свою трапезу в первый день в одиночестве на неудобной кухне, но уже на второй день, подсмотрев негласный порядок, уносили кастрюли и сковородки по комнатам, закрывшись из предосторожности на ключ.

Русский гармонист

Он играл на центральной улице старого Лиона, напоминающей московский старый Арбат. Было холодно, гармонисту пришлось надеть вязаные перчатки с отрезанными пальцами — самодельные митенки, которые любят надевать во время работы рыночные торговки. Тепло и деньги считать удобно.

Крепкий осанистый мужчина играл на аккордеоне «Лебединое озеро», «Полет шмеля», «Очи черные» — жарил без остановки. Рядом стояла коробка для денег. Анна дала монетку Мите и попросила:



— Положи в коробку.
 Мужчина, продолжая играть, спросил у нее:
 — Из России, что ль?
 — Да.
 — Недавно приехали?
 — Месяц назад.
 — Лица еще не поменялись... — Мужчина мотнул головой. — А я уже три недели тут играю. Скоро домой, слава богу!
 — А вы где живете?
 — В Ярославле.
 — Приехали сюда играть?
 — Да, я уже пять лет езжу. Зимой — на Рождество... Ну и летом... У меня летом отпуск всегда...
 — Вы очень хорошо играете, — искренне сказала Анна.
 — Я же профессиональный музыкант. Преподаватель в музучилище, лауреат конкурсов. У дочки свадьба скоро, деньги нужны. Я всегда по две недели работал тут, а в этот раз решил на три остаться. Ох, как же надоело уже. Да и холодно в этом году... — и он заиграл что-то меланхолическое и грустное.
 Дама, согнутая от старости, с тростью, но с ярким макияжем, бросила в коробку монетку.
 — Мерси, мадам! — поклонился ей музыкант и крикнул в спину: — Специаль пур ву! — растянув меха и куражисто объявив на всю улицу: — «Очи черные»!
 Молодой полицейский обернулся на крик и внимательно посмотрел на музыканта.
 — Че смотришь! На цыган лучше посмотри! — огрызнулся тот, продолжая томить душу слушателей медленным вступлением знаменитого романса. «Очи черные», исполняемые со всей страстью истосковавшегося по семье, замерзшего на французской улице русского человека, сорвали аплодисменты. Несколько слушателей выразили свое восхищение негромкими хлопками.
 — Вы их разбередили, — сказала Анна.
 — Да их разбередишь! Хлопают ушами, а денег не дают. Все, перекур! — эффектно закурлив, он снял с себя ремни аккордеона, сложил его в чехол и полез в карман китайского пуховика за сигаретами.
 Когда он освободился, оказалось, что им и говорить-то не о чем. Чем могут помочь друг другу два русских человека на французской улице?..
 — Мы пойдем, сын замерз, — сказала Анна.
 — Ага, идите, — кивнул музыкант. — Всего хорошего вам тут!
 — Вам тоже...

* * *

Из бесед Анны с социальным психологом Бландин Берже:

— Какая ассоциация возникает у вас при слове «Россия»?
 — Женщина, мать, любовь, равнодушие, брошенные дети, слезы.
 — Какой образ вы могли бы из этих ассоциаций собрать?
 — Россия — многодетная мать, деревенская женщина, у которой столько забот, что ей не до своих детей. Она красивая и сильная, а мы ее дети — нездоровые, слабые. Она не докармливает нас.
 — Какие чувства у вас возникают при этой картинке?
 — Любовь и обида.
 — Какая ассоциация возникает у вас при слове «мужчина»?
 — Предательство, слабость, предательство.
 — Какой образ вы могли бы из этих слов собрать?
 — Предатель, который выдал Зою Космодемьянскую.
 — А кто это — Зая Казмаденска?..
 — Это... Это я.
 — Какие чувства у вас вызывает эта картинка?
 — Я хочу отомстить предателю.



- Что вы хотели с ним сделать, была бы ваша воля?
- Поместить в полное одиночество, забвение.
- Ваш муж вам изменял?
- Он рисовал обнаженных натурщиц.
- Какие ассоциации вызывает у вас слово Франция?
- Эдит Пиаф, сигарета, быстро, франки, свободная любовь.
- Какой образ вы могли бы их этого сложить?
- Увядающая дама с бойкими манерами угощает в бистро мачо.
- Какие чувства вызывает у вас эта картинка?
- Брезгливость и тоску.
- Почему? Вам кажется, что эта ситуация — против ваших убеждений?
- А какой смысл французы вкладывают в слово «убеждения»?
- Вам кажется, что в России в это слово вкладывается другой смысл?
- В России люди ради убеждений могут, например, бросить любимую работу.

А во Франции могут?..

* * *

Дневник Анны:

«Страдание на лицах людей здесь, на Западе. Они хорошо одеты, у многих есть что-то интересное в лицах: индивидуальность, индивидуализм. Они вежливы, не толкаются, не ругаются, улыбаются, когда говорят *пардон*, но при этом на их лицах усталая обреченность.

Витрины бутиков, салонов красоты, рекламные афиши — все сверкает, манит, дразнит за пределами уровнем цен и качества. В одежде, выставленной на манекенах, чувствуется бестрепетная рука дизайнера. На эти одежды можно смотреть... как на шедевры в музеях. Весь творческий потенциал человечества сегодня идет на то, чтобы ублажить тело: косметика, одежда, обувь, реклама салонов красоты. На целую улицу бутиков ни одного книжного магазина. Каков спрос, таково и предложение. Хотя представлены в достаточных количествах газетные киоски с порнографическими журналами, обложки которых в увеличенном виде рекламируются у входа на огромных щитах, мимо которых спокойно идут прохожие с детьми...

Благодаря мифу о француженках, подпитанному пикантностью анекдотов и окруженному непробиваемой стеной стереотипов, они всегда казались остроумными, элегантными, не теряющими чувства собственного достоинства ни при каких обстоятельствах. В реальности многое оказалось не так. Француженки, надо сказать, большей частью некрасивы, но никто из них не комплексует по этому поводу. Как будто у каждой дурнушки есть свой секрет, который выделяет ее из общего круга. Русские женщины должны поучиться ценить себя, как ценит, например, наша уборщица Жаннет.

— Жаннет, бонжур! — кричат дети худой, чуть нервной в движениях уборщице, которая вначале улыбается, но потом строго просит детей разойтись и не мешать ей.

Когда она, напевая, моет пол или протирает стены, даже взрослые обитатели общежитских этажей стараются не показываться Жаннет на глаза. Она никогда не повысит голоса, но во взгляде ее зеленых глаз есть некая магнетическая сила, заставляющая выполнять ее просьбы без слов.

Рассказывали, что в прошлом Жаннет была наездницей на ипподроме, но, получив травму, вынуждена была покинуть любимую работу, и теперь работает уборщицей, чтобы вырастить сына-подростка.

У Жаннет есть машина, на которой она приезжает с утра на работу. Не могу себе представить русскую уборщицу, разъезжающую на авто последней модели.

Пообщавшись с Жаннет, которая с уважением относится к своему делу, я вспомнила русских уборщиц и нянечек — озверелых от постоянного презрения, выказываемого им окружающими.

— Ходюте и ходюте!.. — ворчит тетка, намывая пол в русском туалете.

В чем их различие? Мне кажется, разница в том, что для французов работа — лишь способ получить достаточно средств на жизнь. А в России работа — это сама жизнь и есть. Вот в чем большая свобода французов — в творческом отношении к своей жизни».



* * *

Из письма Анны к маме:

«Мамочка, знаю, что ты беспокоишься, но не всегда получается звонить так же часто, как я думаю о вас. Буду чаще писать.

Мы живем хорошо. Здоровье, питание, одежда — все нормально. Ответа на нашу просьбу о статусе пока нет.

Мне часто снится наш дом — сегодня опять приснился. Пустой, вещи вынесены, и я все время пытаюсь кому то доказать, что этот дом — мой. И во сне уже знаю, что там другая хозяйка.

Мне жалко тот чайный сервиз, который ты мне подарила. Он был уютный. И какой-то оптимистичный.

Но больше всего — до слез, до сердцебиения, до боли — бывает жалко, когда вспоминаю, книг, которые там остались. У меня здесь нет книг, чтобы читать Мите — я ему рассказываю по памяти: про Алису, про Карлсона, который живет на крыше... Я никогда не думала, что вещи и книги при расставании причиняют такую боль.

Я иногда думаю: те наши русские белоэмигранты, которые уезжали сюда после революции, они ведь теряли не просто книги и красивую посуду, они оставляли навсегда в России жизнь всех предшествующих поколений, с галереями семейных портретов, со старинными книгами, с прадедушкиными пометками на полях... Боже мой, как это непредставимо трагично, как огромна, оказывается, их потеря! Прервать такую цепь времен... Кому это было нужно?»

* * *

Дневник Анны:

«Небо здесь другое. Не выше, ни ниже... просто другое. Цвет отличается на полтона, и для такого огромного пространства этого, оказывается, достаточно, чтобы возникло ощущение другого неба...»

Не зная французского языка, лишенная вербального средства общения, я стала замечать, что все другие органы реагирования на окружающую действительность у меня обострились: например, я стала острее чувствовать запахи. Даже интуиция активнее работает вместе с обонянием. Иногда мне кажется, что я сейчас воспринимаю людей, как в детстве — по ощущению, принимая тончайшие токи информации, исходящей от них.

Вчера в автобусе *почувствовала* жизнь пожилой дамы, с ее умеренной скарденностью, внуков, приезжающими в гости к бабушке на Рождество, небольшим чистеньким домиком, приходящей уборщицей, скукой одинокой жизни и запахом старости, который будет все усиливаться.

Пожилой худошавый месье — запах холодных измен жене.

Школьница арабка — запах крепкой семейной сцепки, жизненный оптимизм, привлекательный защищенностью своих представлений.

Вот так и тренирую свою интуицию, не имея возможности проверить результаты своих опытов...»

Хохловы

Русских в общежитии было не так много, как албанцев или армян, например. Русские не кучковались, не собирались в землячество и часто ссорились между собой. Случались даже драки с мордобитиями и вызовом полиции. Однажды молодой полицейский долго не мог понять, что два русских мужчины подрались именно друг с другом, и все спрашивал у вахтера:

— А с кем подрались эти русские?

Он, видно, был новенький, этот полицейский.

Хохловых в общежитии не любили.

Почему и как в среде русских обитателей возникали эти волны общей нелюбви — понять вообще было трудно. А насчет Хохловых — особенно.



Молодые румяные молодожены приехали во Францию из Пскова, серьезно заразившись мечтой о красивой жизни на Западе. Леша Хохлов гонял из Франции в Россию подержанные иномарки. Ему тут нравилось многое, включая возможность оторваться от родителей жены, с которыми они прожили в одной квартире три года, потеряв надежду на обретение собственного жилья.

Поговорив с русскими беженцами во Франции во время последней поездки в Лион, Леша разузнал, что нужно придумать хорошую легенду для досье политического беженца и подкрепить ее документами. Устным рассказам в министерстве по приему иностранцев-беженцев в Париже никто бы не поверил.

Военных призывников из их города в то время брали служить в Чечню, потому Лешин тесть, небольшой чин из городского военкомата, сделал ему повестку на призыв в армию. Эта повестка, а также заверенные нотариусом показания соседей, утверждавших, что Алексей Хохлов был задержан милицией за свой отказ служить в армии, были, по его мнению, козырями в его политическом досье.

Приехав в Лион по туристической визе, Хохловы поселились в гостинице, за которую они платили лишь первую неделю. Затем Леша Хохлов, зная, что из-за наступающих холодов их не имеют права выселить на улицу, пошел к администратору и объяснил, что больше платить не будет: они политические беженцы и сдаются властям. Их не трогали почти два месяца, добившись в итоге для них места в общежитии «Форума».

Заселившись в общежитие, Хохловы пошли знакомиться с русскими. Анна видела, что им обоим беспринято здесь, в чужой стране.

В гостях у Анны они всегда сидели, будто стесняясь самих себя, положив руки на колени.

— Я вот о чем беспокоюсь, — начинал неторопливый разбор деталей Леша. — Вот спросят меня — а как я узнал-то, что меня именно в Чечню берут? Чего я им скажу?..

— Скажи, что всех из Пскова в Чечню в тот год посылали, — подсказывала Анна.

Помогая Хохловым составить правдоподобную легенду, она поймала себя на том, что не испытывает никаких угрызений совести. Здесь, в пристанище отверженных, менялись взгляды на порядочность и предательство, и Анна без всяких угрызений совести помогала этим молодым русским, решившимся уехать на Запад во что бы то ни стало. Не ей судить их.

— А что ты сюда книг русских натащила? Так ты французский никогда не выучишь, — резонно, с нажимом спрашивал ее Леша Хохлов, и Анна вдруг начинала чуть ли не оправдываться, не желая спорить с его посконной правотой.

— А знаешь, что мне вчера болгарин переводчик сказал? Сказал, что зря я такую легенду придумал себе. Что во Франции дезертиров не любят...

* * *

Дневник Анны:

«Хохловы за драку на Новый год были переведены в другое фойе, а когда через некоторое время я случайно встретила их на празднике, то не узнала — худощавый молодой парень превратился в кряжистого мужика с крепкой холкой. Его голубые, немного выцветшие глаза сегодня смотрят на мир с тоской человека, потерявшего свою мечту. Хотя вряд ли он в скором времени признается самому себе, что оказался банкротом, поставив в жизни не ту карту. Получив то, о чем мечталось в юности там, в России, на маленькой тещиной кухне — сытую жизнь, жилье во Франции, машину, Хохлов где-то сильно промахнулся, чего-то не рассчитал в своих добротном скроенных жизненных планах».

Драка с негром

После обеда Анна выводила Митьку в небольшой скверик возле общежития, на детскую площадку. Пока он катался с горки и лазил по лестницам, Анна пыталась читать книгу, которую нашла в библиотеке: Чехов, «Дама с собачкой». Ничего другого из русской литературы не было. Служитель муниципальной библиотеки на хоро-



шем английском объяснил ей, что несколько лет назад в центральной библиотеке была богатая коллекция русских классиков и современников, но два года назад пожар уничтожил очень много ценных книг, в том числе и русский отдел.

Читая Чехова, она никак не могла вжиться в интригу курортного романа — таким наивным ей казалось то время, те люди и их страсти. Анна подняла голову — над ней было сероватое зимнее небо. Она смотрела на кусты и деревья, на маленькую дорожку между ними — и ее вдруг охватил детский восторг: она же во Франции! Кажется, сейчас прискачат мушкетеры и храбрый галантный офицер протянет ей руку...

— Мама! — закричал Митя.

Оказывается, сын подрался с чернокожим сверстником, к тому уже спешил на помощь его разъяренный папаша. Анна бросилась к сыну и успела схватить его на руки, когда к ним побежал негр и что-то начал доказывать Анне, толкая ее в плечо кулаком. При этом он выкрикивал одно и то же слово, которое звучало во влажном воздухе как некое дикарское заклинание:

— Овегуно!.. Овегуно!..

Она, прикрывая Митьку, повернулась к негру спиной, тут же получив порцию ударов по спине и по голове. Спустив перепуганного Митю на землю, она крикнула:

— Беги, позови кого-нибудь!

К ним уже сбегались люди. Негр вошел в ступор и не мог остановиться, удары его становились все сильнее. Он показался Анне сумасшедшим — на его губах выступила пена, а глаза побагровели.

Среди зрителей она увидела Алексея с Оксаной, прогуливавших в колясочке Артура; мелькнули лица знакомых армян из общежития, растаяв в толпе.

Когда из бюро прибежали Вирджини и Натали, негр гонялся за Анной и повторял все то же «овегуно» Его с трудом остановили сотрудники бюро, схватив за руки. Только теперь Анна по-настоящему испугалась.

Натали, заместитель главного администратора, после короткого выяснения сказала Анне, что бюро обязательно разберется в случившемся и накажет виновника неприятного инцидента.

Когда Анна с Митькой вернулись домой, ей ужасно хотелось плакать, но, успокоившись, она умылась, подкрасилась, и они отправились к Марине, ее грузинской подруге, жившей с пятилетним сыном на третьем этаже.

Марина была полной молодой женщиной с темными пушистыми усиками и низким голосом. Она могла круглосуточно сидеть у телевизора в своей комнате, сопровождая все передачи ехидными замечаниями на тему внешности телеведущих. Анна познакомилась с Мариной в первый же день перед дверью бюро, где они обе, уставшие от скитаний, ожидали решения своей участи. Во время тогдашнего разговора выяснилось, что у Марины и Анны есть общие знакомые в Тбилиси, поэтому они стали почти подругами. А их дети так сдружились, что однажды Митя подошел к Анне и сказал задумчиво:

— Знаешь, мам, все-таки мне нравится Шако...

— Почему? — не особенно внимательно поинтересовалась Анна.

Митька задумался на мгновение и ответил:

— Он не подлец!

Сейчас в комнате у Марины было несколько ее соплеменников. Все сидели у богато накрытого стола и пили кофе, варить который Марина была великая мастерица. Увидев Анну, Марина протрубила на всю комнату:

— Ну что, уже начала драться с черномазыми?!..

Анна, насупившись, молча села за стол. Один из пожилых мужчин вдруг сказал ей:

— Извините, что мы не заступились за вас в парке. Нас бы тогда всех выгнали из этого общежития...

Анна, не сдержавшись, начала плакать, пока Марина пыталась исправить ситуацию, объясняя:

— Это же было так смешно, когда маленький негритос за тобой, высокой и красивой русской госпожой, гонялся вокруг клумбы!..

Никто так и не засмеялся, а Анна продолжала плакать, размазывала тушь по лицу, на что Марина, чувствуя себя неловко, вдруг крикнула:

— А знаете, что мой сын мне сказал на днях?..

Все повернулись к ней — Шако здесь баловали, скупая по своим детям на родине.

— Сижу я утром и пью кофе. Горячий — только что сварила. А сын проснулся и спрашивает, не вылезая из кровати: «Мама, кто такие проститутки?»

— Я чуть этим самым кофе не подавилась!.. Говорю ему, что, мол, проститутки — это те, кто пьет вино, курит сигареты... И мой бедный сын с ужасом посмотрел на меня: «Значит, ты уже начинаешь!»

Все в комнате засмеялись, а один из гостей подозвал Шако и дал ему десять франков, погладив по голове.

Через некоторое время, когда Анна собралась уходить, все тот же пожилой грузин, начавший разговор о драке, отвел ее в сторону и сказал:

— Понимаете, важно, как вы сами принимаете все это. Если вам кажется, что вас унизили, то так будут думать и все остальные. Вы должны просто понять для себя, что за вами гонялась бешеная обезьяна... и вашей вины в этом нет. Никто ведь не презирает человека, на которого напали в лесу волки или медведи. Или даже крупная человекообразная обезьяна, — подмигнул он ей.

Каникулы

Бесснежная зима плавно перешла в дождливую весну, без русских оттепелей и ледоходов. Только резкий ветер ночами рвал металлические ставни на окнах.

Однажды утром к Анне пришла Алис, худенькая смуглая армянка, француженка в первом поколении. Она начала работать в бюро недавно и очень старалась произвести хорошее впечатление.

— Бонжур, мадам Журавлева. Как дела?.. Мы организовываем каникулы для детей, вывозим их на две недели в центр отдыха. А заодно и вы немного отдохнете, заведете себе друга... Вы ведь красивая молодая женщина... Как вам эта идея? — она улыбнулась и стала похожа на армянскую девочку, спрятавшую подарок под фартуком.

— Я бы не хотела отпускать Митю одного. Он ведь еще не очень хорошо говорит по-французски.

— Вот и научится. Вы же с ним постоянно говорите на русском, как же ему научиться-то?

— Понимаете, Алис, он пережил разлуку с отцом... Я думаю, что он еще не готов уехать отдыхать без меня.

— Мадам Журавлева, — повысила голос Алис, — этот вопрос не обсуждается. Все дети буду вывезены на отдых! — Аккуратная армянская девочка была разобижена тем, что ее подарок оказался не нужен.

— Ну а если я против?

— Заселяясь в это общежитие, вы подписали контракт. Вы обещали соблюдать правила нашего центра. Поэтому не в ваших интересах сейчас устраивать такие забастовки.

Через два дня к фойе подъехали два огромных автобуса. Орущие возбужденные дети, провожаемые родителями, заскакивали в автобус и толкались там за место у окна. Митя стоял бледный и молчаливый, он держал в одной руке пакет с одеждой на две недели, в другой — леденец на палочке. Анна чувствовала, как ему страшно сейчас уезжать от нее. Она подошла к Франку, шефу бюро, и попросила его:

— Франк, пожалуйста, разрешите моему сыну остаться со мной... .

Франк, ровесник Анны, всегда хорошо одетый, в отличие от других сотрудников бюро, как будто почувствовал ее состояние. Он обернулся, поискал глазами Алис и попросил ее подойти к ним.

— Алис, мадам Журавлева просит оставить ее сына в общежитии.

— Но это невозможно, Франк, — быстро ответила Алиса, улыбаясь шефу и не посмотрев на Анну. — Мы оплатили отдых для семидесяти трех детей. И все они должны ехать. Почему для мадам Журавлевой нужно делать исключение?



Франк пожал плечами:

— Я ничего не могу сделать. Но это не так трагично, как вам кажется. Всего две недели...

Когда автобусы отъезжали, Анна увидела в окне заплаканное лицо сына и помахала ему рукой.

Вернувшись в пустую комнату, она пыталась найти себе занятие, но потом пришла Марина, и они отправились погулять в центр города — Анне было все равно, лишь бы не сидеть одной.

На третий день после отъезда детей к ней пришла Алис.

— Бонжур, мадам Журавлева! Что ж, вашего сына везут обратно. Он устроил там голодную забастовку!

— Как это?

— Он ничего не ел, мадам Журавлева!

Митю привезли худого и бледного, с выпирающими ребрами и позвонками. Он оживленно рассказывал о том, как его пытались кормить силой, запихивая в него еду, а он все выплевывал обратно. Анна мыла его в душе и не могла сдержать слез.

* * *

Из письма Анны:

«В общежитие вчера поступила новая партия беженцев — албанцы, боснийцы, цыгане. Когда их расселили по этажам и комнатам, женщины тут же принялись мыть стены и полы в чистых пустых комнатах, а мужчины пошли по этажам, знакомиться с земляками. Они выспрашивают полезную информацию о магазинах и рынках, где можно купить старую хозяйственную утварь и одежду, узнают цены на продукты питания, осведомляются о возможностях найти работу. Землячества помогают новеньким, делясь ценной информацией, которая позволяет новоприбывшим экономить средства. Русские таких сообществ не образуют, предпочитая оставаться без помощи, лишь бы не быть в системе.

Как только албанцы заселились, в общежитии стало тесно, шумно, дымно — мужчины курят и ведут свои неторопливые беседы, а женщины постоянно толкуются на кухне — готовят национальные блюда из муки и фарша. Я посмотрела: на сковороду льется жидкое тесто, на него высыпается негустым слоем сырой фарш, все это стоит на медленном огне, и минуты через две опять заливается новым слоем жидкого теста, на который насыпается горсть фарша. Другая женщина, из Боснии, готовит какую-то необыкновенную слоеную пиццу со шпинатом. Она занимает весь стол, разложив на нем огромный лист дрожжевого теста, потом растягивает тесто в тоненькую полупрозрачную паутинку, укладывая ее замысловатыми слоями в горячий противень, перемежая тесто нарезанными листьями шпината. Наверное, эта невысокая складная женщина в цветной косынке и спортивных штанах настоящая мастерица такой *пиццы* — все албанки столпились вокруг нее, желая поучиться кулинарным приемам.

Албанцы обживаются на новом месте: ходят друг к другу в гости, застилают полы коврами, которые приносят с городской свалки. Кстати, адрес этой свалки хранится албанцами в большом секрете и передается только своим, как секретный код. Говорят, что на этих свалках можно пожить выброшенными телевизорами, холодильниками, велосипедами, сумками-тележками. Починив эту рухлядь, албанцы пытаются ее продать своим непрактичным соседям — тем же самым русским, например.

Дети, почти все, с плохими зубами. Война виновата или экономия на зубной пасте, но как только видишь ребенка с почерневшими полустгнившими зубами — это маленький албанец.

Сегодня на кухне было шумно. Старый худой цыган с серьгой в ухе и грязным платком на жилистой петушиной шее *поучил* свою жену, накрашенную пожилую цыганку в длинной темной юбке. Она подала ему какое-то блюдо, а ему не понравилось — и из-за этого, напоказ, при всем честном народе цыган избил цыганку. Помоему, он остался доволен созданной им мизансценой: жена плачет, вокруг нее толпа женщин, его уведут к кому-то в комнату выпить кофе и расслабиться в мужской беседе. Албанки при этом пересмеивались, подталкивая друг друга в бока. Изби-



тую мне было жалко... Я сказала ей что-то утешающее. Слов она не поняла, но сквозь слезы посмотрела на меня с благодарностью.

Вчера ночью несколько албанцев пошли грабить контейнеры с одеждой, которую собирают для отправки в зоны бедствия. Один из них запрыгнул в такой контейнер и начал выбрасывать тряпки на улицу своим компаньонам. Тут подошла полиция и забрала тех двоих в участок для выяснения личностей и обстоятельств этого грабежа. Третий же просидел всю ночь и полдня в контейнере, потому что устройство этого железного ящика таково, что он не открывается изнутри».

* * *

Вскоре новоприбывшие албанцы прочно обосновались возле телевизора в вестибюле, завладев пультом, переключая программы и освистывая скучные на их взгляд политические передачи или фильмы. Однажды вечером, проходя через вестибюль, Анна была застигнута волной радости, криками и свистом — по теленовостям показывали сюжет натовской бомбардировки Белграда. Сюжет был сделан сербскими журналистами — и камера подробно зафиксировала трупы детей, женщин. Один из кадров был особенно радостно встречен албанскими беженцами, на нем была мертвая беременная сербка с торчащим из живота куском железа. Албанцы плясали от радости, шумели так, что арабы с первого этажа начали выходить в коридор и ругаться на своем каркающем языке.

Иногда у Анны оставалось только одно желание в этом разноязычном огромном доме: вернуться поскорее в свою комнату, закрыть дверь, упасть на колени и закричать: «Господи Всемогущий, я не могу больше!» — прислушиваясь к тишине и понимая, что ответа нет.

* * *

Письмо Анны:

«Мама, здравствуй!

Ты просила написать о нашем здоровье. Я решила рассказать тебе подробно о французской медицине, чтоб ты не беспокоилась о нас.

Через два дня после заселения в общежитие нам дали временные медицинские страховки. Эти страховки обеспечивали наши первые анализы крови, медосмотры и прививки. После всех этих процедур нам должны оформить постоянные страховки. Франция — это, кажется, единственная страна Европы, где действует бесплатное медстрахование. Наверное, в этом есть разумный расчет избежать эпидемий и больных беженцев, кашляющих микробами на порядочных французов.

Мите сразу же назначили возрастную прививку — сложную, от четырех болезней сразу. Когда я привела его в медицинский кабинет, там уже ждали своей прививки наша соседка Линда с четырехлетним сыном Рами. Первыми вошли в кабинет Линда с сыном, и через минуты три мы услышали леденящий кровь вопль Рами. Митя забеспокоился:

— Разве прививка — это больно? — спросил он меня.

— Не очень, мне ведь тоже скоро будут делать прививку — успокаивала его я.

Мадам доктор, суховатая женщина лет пятидесяти, была очарована Митей. Когда я, отвечая на ее вопросы о развитии ребенка, сказала, что мы отказались от памперсов в три месяца, потому что он начал проситься на горшок сам, она попросила подробнее рассказать, как это он *просился* — ведь в три месяца дети не могут выражать словами свои желания. Во Франции сегодня проблема — отучить ребенка от памперсов, потому что дети не контролируют свои нужды.

Когда же пришла очередь прививки, Митька мой зажмурился, напрягся и вытерпел боль без крика. Докторша сказала, что этот укол очень болезненный, и она не видела еще ни одного пятилетнего ребенка, который бы не плакал при этом.

Митя перенес эту прививку очень тяжело — к вечеру у него поднялась температура, он весь горел. Если бы то же самое не происходило в соседней комнате с Рами, я бы испугалась и потребовала бы вызвать врача. Но Линда, она была медсестрой, меня успокоила, сказав, что эта прививка всегда тяжело переносится детьми. Митя



болел три дня, он бредил ночами, просыпался и много пил. Но сегодня уже лучше — температура спала, хоть он бледный и ничего не ест. Я покупаю ему любимый вишневым компот и свежую малину, но он их не ест, только пробует все на вкус.

Со мной дело обстояло проще — у меня взяли кровь на гепатит, СПИД, сифилис, еще какие то болезни, которые, как мне сказали в госпитале, находят у семидесяти процентов беженцев из Африки...

Дописываю это письмо через два дня. Пришел ответ на мою кровь: ни СПИДа, ни сифилиса, ни гепатита нет в моей кровушке. Немного низкий гемоглобин.

Митя уже бегаёт по коридорам вместе с Рами. Так что не беспокойся за нас».

Русская атаманша французских бомжей

Однажды вечером, когда Анна и Марина прогуливали своих сыновей в маленьком сквере, к ним подошла и, прислушиваясь, остановилась неподалеку бомжиха. Тетка одета была вроде бы неплохо, но лицо у нее оказалось морщинистым, испитым, с небрежно подщипанными кое-где бровями. На голове — подобие химической завивки, на руках кокетливые митенки, но самое главное — кураж в глазах, чего у местных французских бомжей Анна никогда не видывала.

— Чего это она тут стоит? — прокуренным голосом поинтересовалась Марина.

Тетка, постояв в нерешительности, произнесла с явной неохотой:

— Да русская я, вот и стою, слушаю ваши пустые слова. Все про мужиков мусолите...

— А про кого же нам еще говорить то? — рассердилась Марина.

— Ты что, армянка, что ли? — не отреагировала на ее злость тетка, добавив: — Армянам дают паспорта во Франции — Шарль Азнавур создал тут фонд поддержки для армянских беженцев... А вот тебе, девушка, не дадут здесь ничего, — повернулась она к Анне, — больно лицо у тебя умное. Таких беженцев здесь не любят.

— Почему? — пожалала плечами Анна.

— Ты ж не пойдешь убираться в ихние туалеты?

— Не пойду, — призналась Анна.

— А им нужны такие, чтоб пошли. У них своих интеллигентов хватает...

— Да ладно пугать нас, — отмахнулась Марина. — Лучше покури с нами.

— Чужих не курю, — отказалась с достоинством бомжиха, достала пачку табака и ловко скрутила козью ножку.

— А вы давно здесь? — спросила Анна.

— Тридцать три года...

— А как вы сюда попали?

— Замуж вышла. Потом развелась, ребенка при разделе семьи отдали мужу. Я стала судиться, доказывать... но все напрасно. Из квартиры выселили — я ж не работала, у меня здесь никакого диплома...

— А в России?

— Закончила Физтех... профессор Капица был нашим деканом.

— А почему же сейчас вот так?..

— А что — живу, хожу из города в город, думаю... Летом мы на юг переходим, у моря живем. Зимой заселяемся в социальное общежитие для бездомных.

— А кто это — вы?

— Нас несколько человек. Все мужики... Это моя банда, — рассмеялась наполовину беззубым ртом русская бомжиха. — Да вон они сидят, — показала она. На лавках и впрямь расположилась компания живописных клошаров — невымытых, нечесанных, шумных.

— Как так можно жить-то? — спросила Марина. — Вы же потеряли всякий человеческий облик!

Тетка даже бровью не повела.

— А что это за люди? — спросила Анна, пытаясь смягчить впечатление от укора Марины.

— Нормальные люди... есть даже с университетскими дипломами... Французы, югославы, арабы. Уж получше, чем чиновники, что шастают с папочками. Эти чи-



нуши всю задницу вылижут своему начальству за прибавку к жалованью. А мы — свободные люди в свободной стране, — горько усмехнулась тетка.

— А вернуться не хотите? В Россию.

— А меня туда не берут. Как занесли в черные списки предателей родины, когда за француза замуж вышла, так и не вычеркнули до сих пор. Да и паспорта у меня нет никакого... Все, пошла я. Надо своих на ужин звать, а то пропустят.

Она, сдержанно кивнув Марине и Анне, направилась к лавке, где как раз шумно поссорились бомжи, что-то гаркнула им, и те притихли, поднялись и ушли почти строем с русской теткой во главе.

— Ничего себе, командирша, — засмеялась Марина и, проводив взглядом эту нелепую компанию, добавила удивленно: — А как это она увидела во мне армянку? Моя мать ведь на самом деле армянка, зато отец — грузин!..

* * *

Дневник Анны:

«Может, это не просто встреча, а пророчество?..

Может, я через десяток лет тоже превращусь в точно такую же бомжиху?.. Самое непостижимое для меня — это то, что она так давно не видела своего сына... и так спокойно говорит об этом!»

* * *

Анна и Марина сидели в бистро на центральной площади Лиона. Было уже тепло, в лужах плескались воробы, прохожие подставляли солнцу лица.

— Посмотри, как они одеваются, эти француженки! Вай ме, дэда! Какой ужас на них, только сейчас рассмотрела как следует. Я бы в Тбилиси в таком виде мусор не пошла выносить! — Марина показала рукой на женщин, проходящих мимо их столика. — Эта одета... как продавщица на рынке — смотри, какие на ней лапти!.. Эта только что из деревни в город приехала — у нее джинсы на заднице мешком, будто с лошади слезла... А эту никто замуж не берет, вот она и нацепила этот балахон, чтоб обратить на себя внимание. Не знаю, почему им так не хочется одеться красиво... В Тбилиси у людей денег нет, в магазинах пусто, света, газа, воды в домах нет, а на Руставели все одеты так, будто манекенщицы. Здесь же все работают, деньги у всех есть, в магазины лучше не заходить, умереть можно от жадности... а люди одеты хуже наших крестьян... Мне бы их деньги!

— В России пословица есть — бодливой корове бог рогов не дал... — отозвалась Анна.

— У нас в Грузии тоже так говорят. Но я хочу красиво одеваться, пока я молодая! А молодость проходит, пока я беженка...

* * *

Дневник Анны:

«Я видела в магазине подарков странный цветок. Сухой, сморщенный, — *иерихонская роза*. Этот цветок стоил дороже букета живых роз. Говорят, этому цветку открыт секрет бессмертия: когда приходят тяжелые времена, цветок закрывается, высыхает и замирает в ожидании лучшего; но если он снова попадет в благоприятную среду, то проснется, отряхнет коричневатую сухую пыль и пустит отчетливые зеленые линии по прежнему невнятному рисунку, источая тонкий и гниловатый запах мхов».

День сестер

Собравшись на кухне, куда Вирджини уже доставила необходимые продукты, женщины из разных стран, подбадривая друг друга, начали готовить — каждая свое блюдо.

Негритянка Магорит, уютная и полная, как *мамми* из «Хижина дяди Тома», поджаривала бананы и маленьких красных рыбок, закупленных в специальном аф-



риканском магазине. Ее соседка, молодая негритянка с измученным лицом и сиреневыми губами, про которую говорили, что она проститутка, потому что каждый вечер уходит куда-то, оставляя на попечение Магорит своего маленького ребенка, помогала ей. Линда принесла целую кастрюлю фаршированных кабачков, которые они с мужем вчера весь вечер набивали фаршем и рисом. Анна делала свое фирменное блюдо — корейский плов с курицей. Готовили весело, с улыбками, потому что уже успели узнать друг друга и несколько привыкнуть.

Когда готовка была закончена и каждая из поварих выставила свое блюдо на длинный стол, стали звать мужей и детей.

Неожиданно Линда сказала, что она не хочет есть.

— А ваш муж? — прищурилась Вирджини.

— Тоже...

— Рамадан? — весело спросила у нее Магорит, без всякой задней мысли.

Вчера действительно кричал мулла — начался мусульманский пост. Но ведь Линда и ее муж — христиане... Пока Анна, выкладывая плов в большое блюдо, раздумывала над этим, Линда сообщила, что она будет есть вместе со всеми, но ее муж приболел.

* * *

Дневник Анны:

«После этого обеда я пошла за Митей, который играл с сыном Линды. Я подошла к двери в комнату Линды и, постучав, открыла дверь. Омар, муж Линды, молился на восток, стоя на коленях на маленьком коврикe, как и полагается правоверному мусульманину. Увидев меня, он ужасно покраснел и был сильно напуган.

Вернувшись в свою комнату, я испытала неприятное ощущение — как будто подсмотрела нечаянно чужую наготу.

Вечером Линда пришла поболтать и показала фото из Багдада, на котором она, ее муж и другие люди молились в христианской церкви.

— А вот еще тебе подарок на память, — сказала Линда и протянула подушечку, на которой было вышито что-то про любовь к Иисусу.

Я не смогла переступить через себя и взять от нее этот подарок».

* * *

На следующий день рано утром в дверь постучали. Открыв дверь, Анна увидела в коридоре Оксану с Артуром, уже одетых, с чемоданом.

— Я ухожу.

— Куда?

— В Германию.

— Зачем?

— Там — мой муж.

— А Леша кто? — тупо спросила Анна.

— Лешка тебе все расскажет...

— Как ты пойдешь? Тебе ж скоро рожать...

— У меня нашли сифилис в анализах. Детей отберут.... Надо уходить. У меня мало денег, купи кастрюлю. Я ее только в это воскресенье купила у арабов, — и она протянула Анне кастрюлю из нержавеющей стали со стеклянной крышкой.

* * *

Дневник Анны:

«Что может быть беспомощнее беременной русской женщины с ребенком в коляске, путешествующей по приютам Европы?..

Когда Оксана мне рассказала свою историю, я поняла, что ей нравится такая жизнь, ведь она просто не знает другой, прожив почти шесть лет беженкой. Ее сожитель, армянин, живет в Германии. Они жили вместе в общежитии для беженцев. Брак был не зарегистрирован, но двухлетний Артур — его сын. Получив отказ в ответ на свою просьбу о статусе беженца в Германии, Оксана могла быть в любое мгновение



депортирована из этой страны. Чтоб избежать разлуки с мужем, она приехала во Францию, сманив с собой в качестве поддержки своего земляка, того самого Лешу. Через некоторое время ей можно будет вернуться в Германию еще раз и повторить свою просьбу о статусе беженца.

— Так многие делают, — неторопливо, чуть задыхаясь от ходьбы и от тяжести живота, рассказывала Оксана. Ее подурневшее от беременности лицо было сплошь в красных прыщах.

— А когда ты сможешь вернуться в Германию?

— Через три месяца.

— Но где же ты собираешься жить с маленьким ребенком, да еще и беременная?!..

— Ашот звонил сюда, — с гордостью за международные связи своего мужа сказала Оксана. — Он нашел мне жилье у своих знакомых, в центре Лиона. Пока побуду у них.

Я посадила ее на метро, и поспешила в общежитие — Митя скоро должен был проснуться».

Урок французского

Впервые услышав живую французскую речь на вокзале в Безансоне — мужчина покупал в привокзальном кафетерии булочки и кофе, Анна заслушалась: простой диалог покупателя и продавца показался ей объяснением в любви. Достоевский услышал во французском языке птичьих переливы, Анна же была поражена легкостью интонаций, тянущих фразу вверх, отчего речь казалась ненавязчивой и чуть сомневающейся.

В вестибюле общежития появилось объявление: «Медам и месье! Курсы французского языка для дебютантов начинаются 3 января 2000 года».

На первый урок пришло несколько десятков человек. Детей забрали в специально созданную группу на время уроков. Митя заупрямился, не желая уходить от матери, но Жаклин, энергичная девушка из бюро, высокая, рыжеволосая, с пирсингом на бровях и губах, сумела завоевать его доверие, и он после уговоров все-таки послушно пошел в ее класс, зажав под мышкой коробку с фломастерами, которые ему доверила Жаклин.

Всех взрослых учеников поделили на две большие группы — мужскую и женскую. Мужчин увела Натали, к женщинам пришел Мурад, сорокалетний алжирец. После переключки, во время которой Мурад неоднократно вызывал громкий смех своих учениц произношением трудных албанских, армянских, грузинских и русских фамилий, начался урок. Мурад раздал листочки с картинками, на которых были изображены простые предметы и подписаны их названия на французском: стол, кровать, комод, дверь, окно. Если картинок не хватало, Мураду приходилось изображать эти слова или искать наглядное объяснение из подручного материала.

— Ле пье... — на мгновение задумывался Мурад. — Это... Вот что это! — и он доставал из-под стола чужую босую ногу в шлепанце.

Обладательница ноги, албанка средних лет в черных спортивных брюках, фыркала и смеялась. Постепенно и весь класс, состоящий из взрослых женщин, покатывался со смеху.

— Все, арэтэ! — приказывал Мурат, хлопая в ладоши, и аудитория беспрекословно замолкала.

Анна сидела за партой рядом с иранкой, красивой и самоуверенной, с большим золотым медальоном на груди. Эту женщину Анна уже встречала в сопровождении полноватого мужчины и бледной девочки лет семи.

— У вас красивое украшение, — сказала Анна иранке.

Та небрежным жестом взяла медальон в руку и ответила:

— Это моя... это моей бабушки. Она была гаремная женщина.

Мурат прервал их беседу замечанием:

— Дамы, силь ву пле!

Анна и иранка переглянулись. Кажется, в них обеих осталось еще что-то такое, что пока еще не вытравилось здешними условиями.

* * *

Дневник Анны:

«Эта женщина показала мне самой благополучной в этом неблагополучном месте. Она была уверена, что все в ее жизни будет хорошо. И эта уверенность согрела даже меня. Раньше я была похожа на эту иранку, но теперь все растеряла...»

* * *

Матанэт, та самая иранка, пригласила Анну на чашку кофе и познакомила русскую подружку со своей семьей — с мужем, который приготовил кофе для них, и застенчивой дочкой, тихонько играющей в уголке.

Матанэт училась в Англии, в частной школе изящных искусств. Она художница по тканям, занималась росписью по шелку. Она показала Анне несколько рисунков — старый Лион, набережные старого города, в которых монотонными точками Матанэт старательно вырисовывала окна на домах.

Семья Матанэт была одной из обедневших аристократических семей Ирана, не принявших исламскую революцию. Ее бабушка потеряла двоих сыновей, погибших уже при новой власти, при партийных зачистках.

На фотографиях бабушка — породистая дама с сигареткой в руках и с модным каре на выбеленных волосах, что вместе с черными выщипанными бровями придавало ей вид театральной актрисы на пенсии.

— Разве женщины в Иране могут так свободно сидеть, положив ногу на ногу? — спросила Анна

Матанэ задумалась:

— А я никогда об этом и не задумывалась... Во Франции тоже есть правила — они другие, но я вижу, что здесь многие люди, женщины особенно, как будто играют какую-то роль... Ты не замечала?

— Замечала.

— Ты не жалеешь, что приехала сюда?

— У меня не было выбора...

— А у меня он был.

— Поэтому ты еще можешь задумываться, правильно ли вы сделали, что уехали... Для меня этот вопрос так не стоит.

— А как он звучит для тебя?

— Каждый день — по-разному... Например — что с нами будет?..

— Трудно тебе оставаться русской во Франции? — спросила Матанэт.

Анна пожалала плечами. Она никогда не задумывалась над этим.

А Матанэт как будто приготовила ответ:

— Моя бабушка сказала мне, провожая в эмиграцию: «Останься там сама собой. Пойми, ты — иранка, ты никогда не станешь француженкой, ты можешь быть только такой, какая ты есть. Иногда тебе будет трудно оставаться самой собой, придется выбирать между куском хлеба и свободой... Выбирай свободу. Даже если тебе будет стоить это самой жизни».

* * *

Дневник Анны:

«Линда рассказала мне, что Матанэт убежала от семьи с любовником в Германию. Я как раз на днях видела ее мужа и дочь — они гуляли на детской площадке. После этой новости мне стало очень жаль эту девочку — бледненькую и растерянную, похожую на своего незлобивого мягкого отца. Стоят ли любовники того, чтоб ради них бросать собственных детей?.. Не знаю... Но осудить Матанэт я никак не могу. Кто знает, какая-то госса заела ее, живую, сильную, рядом с этим человеком, ее мужем... Может быть, ей уже и жизнь была не мила рядом с ним...»



Русская красавица

Высокая девушка, подросток из семьи русских беженцев из Свердловска, привлекала внимание всего общежития: мужчины смотрели ей вслед, женщины не могли скрыть зависти во взглядах. Один пожилой седой араб так и остался однажды среди бела дня стоять с открытым ртом, когда навстречу ему вышло из кухни невыразимо прекрасное видение — красавица Соня со струящимися длинными волосами.

Самой пятнадцатилетней Соне казалось, что это еще не жизнь, это всего лишь подготовка к жизни во Франции — той самой стране, о которой она рассказывает по телефону свои подругам, сильно приукрашивая действительность. О том, что их поселили в арабское общежитие, что им приходится ходить за продуктами в ассоциацию помощи беженцам — всего этого Соня не могла сказать своим свердловским одноклассникам. Она врала, что их поселили в гостинице — не очень шикарной, но с хорошими условиями, что они обедают и ужинают в ресторане, ходят всей семьей в спортзал при гостиничном комплексе. Что папа записан к психоаналитику, чтобы быстрее привыкнуть к новым условиям...

Единственной «законной» неправдой в этих рассказах было название города, в котором они жили. Родители запретили дочери называть Лион местом их обитания. Соне приходилось при упоминании улиц или географических ориентиров вспоминать Париж, где они побывали когда-то в турпоездке.

Она играла с Ванечкой, своим младшим братом, с которым подружился Митя, и Анна даже заметила в своем сыне подобие первой любви — все поручения Сони он рвался выполнять с необычайным вдохновением.

— Митя и Ваня! — звала их Соня, и они, оставив свою увлекательнейшую игру на огромном деревянном фрегате, установленном на детской площадке, наперегонки неслись к Соне.

Соня пока не училась — ее семья приехала недавно, в начале марта, и девочка ждала начала следующего учебного года в лицее.

Ее родители ничего и никому не говорили о причинах, побудивших их приехать в эту страну и просить здесь политического убежища. Отец Сони был человеком непростым — по манере разговаривать, по сосредоточенному взгляду, по неторопливым жестам он производил впечатление человека властного.

В феврале администрация общежития вывесила объявление: «Желающие пойти в парикмахерскую, запишитесь, пожалуйста, до 25 марта». Визит в парикмахерскую во Франции дорог, поэтому часть процедуры оплачивало бюро, решив сделать своим подопечным подарок.

Анна спустилась вниз и встретила в фойе Соню и Евгению, ее маму, обрадовавшуюся соседке:

— Аня, вы тоже идете туда?.. Тогда я не побоюсь Соню одну отпустить...

— Конечно, я ведь и Митю туда беру. Будем стричься и прихорашиваться во французском салоне — запредельной мечте всех женщин советской эпохи... Когда я была студенткой, мы занимали очередь с раннего утра, чтоб только записаться во французскую парикмахерскую на улице Герцена.

— Там все мастера были французами? — спросила Евгения.

— Нет, — рассмеялась Анна, — там работали только русские.

— А почему тогда эта парикмахерская называлась «французской»? — спросила Соня.

— Говорили, что этих мастеров учили французы. Но нам ведь в те времена достаточно было тогда одного названия, чтобы мы, как загипнотизированные, стояли часами в очереди и платили в три раза больше...

Утром долгожданного дня все желающие подстричься — их набралось человек тридцать — небольшой толпой вышли из фойе. Анна шла с Митей и Соней, они были рады предстоящему событию, изменившему их привычные будни. Светило яркое, уже почти летнее солнце. Как это всегда бывает ранней весной, все люди под этими первыми лучами казались какими-то слежавшимися, отсыревшими, одежда на них — старой, плохо сидевшей, а обувь стоптанной и пыльной. Остро хотелось обновления и чистоты, чего-то яркого, светлого...



Анна сначала хотела просто подравнять волосы, но под впечатлением от солнечного света ей вздумалось измениться так, чтобы никто ее не узнал, чтобы она опять, как в студенческие годы, выходя из французской парикмахерской на Герцена, была беззаботна и полна планов на жизнь.

В салоне, который назывался «Джек Хольт», их уже ждали: к растерявшимся беженцам, забившимся в пространство между креслами, подошла Рашель, помощница владельца салона, худая и гибкая женщина, возраст которой угадать было невозможно. Она с подчеркнутой любезностью распределила многочисленных клиентов по креслам, дала знак мастерам, поджидавшим в стороне, приблизиться, и оказалось, что это не парикмахерская, а школа парикмахеров, в которой обучают будущих лионских цирюльников.

Анна, узнав об этом, сразу же передумала меняться кардинально, не доверяя рукам подмастерьев, решив лишь немного подравнять кончики волос. Митя, который пришел в парикмахерскую впервые (раньше его стригла бабушка), объяснил жестами, как именно его подстричь.

Соня села в кресло подальше — и Анна почти не видела ее. Как всегда в салонах, гудели фены, пощелкивали ножницы, стоял запах свежемолотого кофе.

Вдруг Анна заметила, что со второго этажа спускается дама, при приближении которой все присутствующие начинают работать более демонстративно. Дама подошла к креслу, где сидела Соня, там уже собралась целая толпа, от которой отделилась и подошла к Анне администраторша Рашель:

— Вы не могли бы помочь нам с переводом?

— Конечно, но меня еще не достригли...

— Вас достригут чуть позже, если вы не возражаете... Дело в том, что здесь сама мадам Хольт!

Полная шатенка невысокого роста, спустившаяся вниз, оказалась владелицей этого и еще пятидесяти одноименных салонов, разбросанных по всей Франции и даже представленных в других странах.

— Добрый день, — любезно поздоровалась с Анной мадам Хольт.

— Добрый день! — ответила Анна.

— Эта девочка — ее зовут, кстати, как и мою дочь — нам бы подошла в качестве модели. Дело в том, что сейчас мы готовимся к международному показу, который пройдет в Виттеле — это на границе со Швейцарией. Объясните это девочке и спросите ее, согласилась бы она принять участие...

Анна перевела Соне. Та пожала плечами:

— Я не уверена, что папа меня отпустит.

Мадам Хольт, кажется, удивилась такому ответу, но виду не поддала, любезно улыбаясь и кивая головой.

Соня стала событием дня в этом салоне — ей принесли кофе, ею любовались, на нее смотрели, ей занимались — все будто стремились занять место в очереди друзей будущей знаменитости.

На Соню оборачивались даже мастера. Анна услышала, как один худой парень со смехом спросил у своего коллеги:

— Смотри, какая красотка! Не хочешь ею заняться?

Второй ответил ему:

— Нет! Моя подруга очень ревнива!

Проводив Соню с Анной и Митей до порога, мадам Хольт вручила им свою визитку и сказала, что она непременно свяжется с бюро, чтоб узнать о решении родителей Сони.

В общежитии Анна поднялась сначала к родителям Сони — они жили двумя этажами ниже. Попала некстати — стол был накрыт, все ждали Соню к обеду.

— Покажитесь-ка... — попросила Евгения, и Анна, Митя и Соня показали свои новые прически.

— Честно сказать — ничего особенного... Думала, что вы вернетесь неузнаваемыми... — разочарованно произнесла Евгения.

А Сергей, отец Сони, мрачновато произнес:

— Слишком вы падки на все французское.



Анна и Соня, переглянувшись, решили сейчас ничего не говорить ему о приглашении мадам Хольт.

Через несколько дней Анна встретила Евгению и Соню у лифта — они возвращались с арабского рынка с полными пакетами овощей и фруктов.

Пока ждали опускающегося лифта, Соня сказала:

— А вы знаете, Аня, папа не разрешает мне туда поехать, на этот фестиваль...

Евгения пожала плечами:

— Отец боится за тебя — языка не знаешь, нигде еще не была... Когда-нибудь станешь матерью, поймешь наши чувства!

Анна все понимала, но ей при этом было жаль расстроенную Соню.

— Как мне сказала эта дама, Мари Хольт, там будут и другие непрофессиональные модели — студентки, школьницы...

— Ой, — вздохнула Сонина мама, — попробуйте поговорить с Сергеем, может быть, он вас послушает!..

Анна пришла к ним вечером. В комнате были только Сергей и Евгения — Соня повела брата к афганскому мальчику на день рождения, который праздновался в кухне второго этажа. Туда же отправился и Митя, выбрав из своих машинок подарок для Али, темноволосого красавчика, любимчика всех жильцов.

— Я обещала Мари Хольт поговорить с вами... — начала Анна, не теряя времени.

— Не нужно говорить мне об этой лавочнице! Я старого воспитания — не люблю капиталистов.

— Причем тут капитализм, Сергей... Ваша дочь, может быть, будет помнить о том, что вы не пустили ее на этот международный показ, всю жизнь. Сравните все это ее глазами: вот это, — Анна показала на потертую общежитскую мебель, — и праздник моды, красоты... Это же совсем другой мир!.. Ей шестнадцать лет. И она у вас очень чистый и гармоничный человек. Мне кажется, что вы можете доверять своей дочери — она не начнет пьянствовать, курить анашу или вести разгульную жизнь на этом самом празднике.

— И этот чистый гармоничный человек останется дома! Она будет видеть жизнь такой, какая есть! Я понимаю, что вы хорошо к Соне относитесь, поэтому и устроили здесь митинг в защиту прав подростков, но я ее не отпущу.

Через несколько дней Соня прибежала к Анне сияющая:

— Папа мне разрешил туда поехать!

— Но почему?!..

— К нам пришла целая делегация от Мари Хольт. С ней были Натали и еще одна девушка, которая работает в бюро. И они даже пригласили русскую переводчицу для этой беседы. Папа с ними поначалу отказывался от их предложения, а потом согласился. Хольт сказала, что хорошо заплатит мне, вот папа и разрешил мне ехать. А кто-то из соседей сказал папе, что если я стану здесь известной моделью, нам легко дадут французское гражданство...

— Когда вы едете?

— Через неделю!

Соня заразила всех знакомых ожиданием праздника, она даже стала улыбчивей и мягче.

Проводив Соню, ее родители быстро заскучали. Сергей волновался больше Евгении, он опять начал курить и часто уходил побродить по улицам.

Возвращение Сони

Когда Соня вернулась, ее прическа сильно изменилась, стала стильной и оригинальной. Она и сама похорошела, но при этом осталась все той же Соней.

— Мы ехали недолго, — рассказывала она. — Во Франции все, оказывается, близко — и в Вителе мы были уже через три часа. Мама одной девочки везла нас, четверых непрофессиональных моделей, на машине. Расселили нас в хорошем отеле, с бассейном и шведским столом. Там было много профессиональных моделей, были и русские. Когда я сказала одной девушке, что я тоже русская, она начала меня постоянно критиковать за то что я неправильно хожу, неправильно двигаюсь... Про-



фессиональные манекенщицы почти ничего не ели в ресторане, брали только листик салата и маленький кусочек вареной рыбки. Мы по сравнению с ними были настоящими обжорами... Сам праздник длился три дня, а перед этим мы несколько дней репетировали. У Мари Хольт была очень красивая постановка — «Времена года»; я была на сцене «осенью».

— Да ты же у нас весна! — сказала Евгения.

— Нет, визажист и Рашель сказали, что во мне есть что-то осеннее — цвет волос, тип лица... Что во мне есть какая-то грусть.

Тут не выдержал Сергей:

— Нет в тебе никакой грусти, это они тебя под свою постановку примеряли — осень нашли!

— Это как раз ерунда, пап, у меня была самая красивая одежда — красный плащ, который я сбрасывала на сцене, а Мари Хольт начинала стричь меня.

— Так тебя на сцене стригли?!

— Да, это же не просто дефиле причесок, это показательные выступления знаменитых парикмахеров, которые задают моду на прически на следующий год. Там было столько тележурналистов! Идешь по сцене — и ничего не видишь из-за вспышек камер! Мари Хольт обещала мне фото дать и даже видеосюжет показать. Она осталась там, но когда приедет — позвонит.

— А она тебе ничего не заплатила? — спросила Анна.

— Нет, она сказала, что когда вернется в Лион — заплатит.

— Может и не заплатит, — засомневался Сергей. — Никаких обязательств у нее нет: вы же с ней не подписали контракт, так что доказательств, что ты на нее работала, у тебя нет.

— Пап, ну что ты сразу! — огорчилась Соня. — Она сказала, что понимает наше положение и не собирается делать на нашей бесправности деньги!

Евгения вздохнула:

— Главное, что ты посмотрела праздник, наша золушка!

— Деньги нам тоже бы не помешали, — хмуро отозвался Сергей, ставя точку своей непрекаемой правотой.

Вскоре Анна встретила Евгению на улице, и та рассказала ей конец этой истории:

— Нас вызвали в бюро несколько дней назад. Оказывается, Мари Хольт передала какой-то пакет для Сони. Я пошла туда одна, получила этот огромный пакет, расписалась за него. Принесла в комнату, а меня уже ждут мои, хотят подсчитать гонорар — мы же не знаем, сколько тут модели получают. Может, тысячу, может, пять тысяч... Открываем... и можете себе представить, Аня, что же там было...

— Что?!

Евгения усмехнулась:

— Целый мешок старой одежды! Старые свитера, истрепанные джинсы, какие у нас в секонд-хенде никто не возьмет... Даже старое белье туда положила!

— Это ужасно! — Анна была поражена не меньше самой Евгении. — А как Соня на это отреагировала?

— Анечка... она так плакала...

* * *

Дневник Анны:

«Сегодня я мылась в душе, который расположен рядом с туалетом, в конце коридора. В помещении две тесных кабинки и маленький коридор-предбанник. Вода из под проржавевшего душа стекает тонкой струйкой, отчего я всегда мерзну. Замерзнув и в этот раз, я, накинув халат с намочшим рукавом (душ общий, поэтому одежду приходится брать с собой в кабину), выскочила в предбанник, чтобы там как следует вытереть голову.

В предбаннике в тусклом свете экономной лампочки две чернокожие голые женщины натирались мазью из круглой жестянки. Я от неожиданности просто опешила — черные тела заполонили весь коридорчик, сильный запах мускуса вызывал тошноту. Они не обращали на меня внимания, а я, набросив на голову полотенце,



выскочила из этого сюрреалистического места, в который раз задумавшись, зачем и за что мне все это терпеть...

А еще я была в Париже...

Это город, в котором чувствуется дыхание истории. Французы рачительно собрали все свое наследство: антиквариат и раритеты, разместив их в одном городе, как в квартире, где гордятся семейными портретами, но при этом не вывешивают их в передней.

Гуляя по Монмартру, я набрела на кафе, в котором пили кофе или играли в шахматы знаменитые писатели. На столиках там металлические пластинки с именами Сартра, Камю, Хемингуэя, Миллера... Я пыталась отыскать столик Сартра, но он был занят. Честь посидеть в такой компании обойдется недешево: чашка кофе стоит двадцать пять франков, в то время как везде — от десяти до пятнадцати.

Кафе это до сих считается богемным: гардеробщик при мне взял автограф у художника в черном длинном плаще. Престарелые дамы с тонкими талиями и наклеенными ресницами мне показались в этом месте не старухами, а постаревшими лолитами: столько надежды, столько запрещенного зова в их томных глазах! И так ощутимо пробирает холодом их одиночества...

Рядом с кафе бронзовый памятник Бонапарту; на постаменте, украшенном барельефами, выбиты даты его жизни и борьбы. Дата начала отступления из России — октябрь 1812 года. Все-таки не снег и морозы прогнали Наполеона из России... А ведь именно снег мне называли почти все французы в качестве главной причины отступления, стоило только задеть эту тему».

Потомки

Однажды, проходя по узким улицам старого Лиона, Анна увидела витрину, расписанную в русском стиле, с надписью «Русская галерея». Открыв дверь, она наткнулась на господина средних лет, который собирался выходить.

— Вы хозяин?..

— Да, — ответил он, раздумывая, как бы ему выгадать из крошечной каморки на улицу расписной клавесин. — Вы хотите купить что-нибудь или просто посмотреть?

— Посмотреть...

— Сегодня уже поздно. Приходите в другой раз, мадам. Впрочем... что вас интересует?

— Я русская...

— Я понял.

— Просто увидела русскую галерею, вот и зашла, — объяснила Анна, уже сожалея об этом.

Владелец галереи смягчился:

— Да вы заходите в любое время, здесь собираются иногда русские эмигранты... Но сейчас я должен отвезти этот клавесин покупателю. Хотите мне помочь? Заодно я вас подкину до метро...

Загрузив клавесин в открытый багажник, он галантным жестом распахнул дверцу старенького «пежо». В машине владелец галереи представился Александром Голиковым, потомком князя Голикова, капитана броненосца «Потемкин», убитого во время знаменитого восстания 1905 года. Крупный краснолицый человек, унаследовавший голубую кровь русских аристократов, был при этом похож скорее на американского фермера. Порода все же сказывалась — в его ненавязчивой манере свободно говорить обо всем, не стесняя при этом своего собеседника. У метро Анна вышла, взяв номер телефона господина Голикова. Ею двигало желание понять, как сложилась жизнь потомков русских аристократов в эмиграции, стоило ли им менять прозябание в СССР с постоянной угрозой для жизни на выживание в чужой стране... Не для того чтобы судить и вынести приговор, а для того, чтоб узнать ответ на вопрос, «зачем нам, поручик, чужая земля?»... Стоило ли им? Стоит ли ей?

Когда они через несколько дней встретились с Голиковым в галерее, тот рассказал Анне много любопытного:

— Мой прадед был убит матросом Матюшенко в 1905 году. Весь мир благодаря кинорежиссеру Эйзенштейну увидел червей в матросском обеде на броненосце. Так знаете, что эти плакатные кадры — вранье чистой воды! Мой прадед, капитан, ел ту же



самую матросскую похлебку. Даже адмирал флота ел из матросского котла... После революции моя прабабушка эмигрировала во Францию, так как ее дом в Одессе был занят революционерами, а нашу семью хотели убить матросы. Я, кстати, недавно побывал в этом доме — во время СССР там открыли Дворец пионеров... Меня воспитала моя удивительная бабушка! Она не посылала меня в школу и не разбирала чемоданы — все ждала момента вернуться в Россию. Мы тогда жили под Греноблем, где в годы моего детства была русская община. Мне повезло — я видел старых русских княгинь и графов, которые были людьми необыкновенными: даже сильно нуждаясь, они никогда не позволяли себе горевать о деньгах или плохо выглядеть. Я преклоняюсь перед этими людьми — потерявшими все на свете, кроме своего внутреннего стержня. Таких людей уж нет... Самое трудное в эмиграции — остаться самим собой. Именно за это приходится побороться, — признавался Голиков и подливал Анне чай в керамическую чашку, на дне которой керамическая жаба пускала пузыри...

* * *

Дневник Анны:

«Кровь русских аристократов, смешавшись с французской кровью, дает в потомках известных фамилий сочетание жизнестойкое, практическое и даже прагматичное. Тонко наслаждаясь своей чужеродностью в среде средних французских обывателей, они уже не нуждаются в поиске смысла. Даже сакраментальный вопрос, зачем им чужая земля, перед ними не маячит: между двух земель, своей и чужой, тоже, оказывается, есть жизнь, хоть и полная внутренних компромиссов.

Впрочем, никто из здравомыслящих людей эмигрировать не будет. Эмиграция — это катастрофа, сдвиг всех родовых пластов, потеря себя.

Все наше общежитие наполнено людьми, которые оторвались от своих домов, от родных, от своего языка и повседневности. Жизнь продолжается — люди едят, ходят в гости, влюбляются, женятся, рожают детей, но в каждом из обитателей этого дома заметна какая-то оцепенелость чувств. Все старожилы постепенно теряют интерес друг к другу, на их лицах появляются усталые гримасы, напоминающие улыбки...

Сначала этот блочная семиэтажка мышиного цвета мне показалась ковчегом, в котором каждая нация спасается от горя, наводившего мир — от нищеты, бомбардировок, бандитизма... Теперь же это здание мне все больше кажется чистилищем, где мы должны вспомнить и осознать боль, которую причинили кому то...

Или мы забыли Бога,
Или Бог забыл про нас...»

* * *

Дневник Анны:

«Привокзальную площадь заполнили цыгане из Румынии. Для французов цыган — это румын, а французских цыган здесь называют *людьми путешествия*.

Цыганам на площади все равно, как называют их французы. Они целыми днями гомонят на привокзальной площади Лиона, что-то шумно обсуждают, весело попрошайничают мимоходом, не зная проблем с потерей самоидентификации в чужой стране. Народ-странник... На фоне западных детей, привыкших к дисциплине, цыганские дети поражают своей живучестью, хваткостью, приспособляемостью к любым условиям. Сегодня я не могла насмотреться на цыганского малыша. Пятнадцатилетняя многодетная мать кормила грудью другого своего младенца, успевая курить при этом и бойко болтать с товаркой. Ее полуторагодовалый сын остался без присмотра и укувылял довольно далеко, а она не обращала на него никакого внимания. Остановившись, ребенок осмотрелся, потянул носом воздух и понял, что он отстал от стада. Он не стал плакать, хотя было видно, что испугался, встал на четвереньки, что для него было более удобным способом передвижения, и быстро побежал на четвереньках в сторону своих. По пути он нашел какую-то булку на земле, откусил от нее, вернувшись к матери, которая даже не заметила его долгого отсутствия. Мать приласкала его громкой оплеухой, и он весело закричал от переполнявшей его радости бытия. Что мы теряем в своем цивилизованном существовании?... Отчего наши европейские дети бледны и скучны?...»



За стеклом

Проходя по улице, Анна чувствовала себя... как за стеклом — она видна прохожим, ее обходят, ей говорят «пardon», если толкнут нечаянно, но при этом она будто бы в другом измерении — никому не нужна, никто не знает ее и знать не хочет. Хоть кричи, хоть бейся — этого стекла не пробить...

На автобусной остановке Митя устал, она держала его на руках. Рядом затормозил автомобиль, и француз средних лет, многозначительно состроив глазки, предложил довезти. Анна удивилась и отказалась наотрез — не потому что боялась, просто не было сил на пересечение огромной пропасти между ней и этим благополучным человеком.

Эмиграция — это экзистенциализм чистой воды. Когда она училась в университете, они читали Камю и Сартра. Тогда же появилась мода на экзистенциальное неблагополучие в их кругу: кто-то лег в психиатрическую лечебницу, кто-то стал одеваться в грязные джинсы, заправляя их в резиновые сапоги. Если бы они только знали, что такое настоящий экзистенциализм!..

Анна шла по улицам западного города, уставленного роскошными католическими храмами, и чувствовала себя стеклянным шариком, который катится неизвестно куда и зачем. Она понимала, что ее хрупкость — всего лишь одна из форм существования в этом мире, в котором каждый из живущих не знает, что с ним или его близкими случится через мгновение. Все люди хрупкие, как стеклянные шарики... они катятся по улицам, но мало кто из них задумывается о будущем.

Однажды она видела авария — ревущий мотоцикл выскочил на тротуар и въехал в стену дома. Водитель мотоцикла умер сразу, какой-то сердобольный старый араб притащил из дома одеяло, чтоб накрыть его покореженное тело. А ведь еще пять минут назад он был жив, гнал на мотоцикле, пьянея от скорости и думая о встрече с подружкой. Жизнь всех людей экзистенциальна. Никто не знает, что с ним случится через минуту. Но у граждан своей страны есть хотя бы какой-то налаженный ритм, есть планы, мечты... У беженцев ничего этого нет — ни имущества, ни дома, ни планов.

Марина

Марина получила отказ из Парижа.

Она не сразу открыла дверь, но Анна так тихо и настойчиво стучала, что та сдалась. На щеке у Марины остались две красные полоски — долго лежала на щеке.

Анна вошла чуть виновато и села у стола — другого места в этой маленькой комнате не было. Обе молчали.

— Они как-то объяснили отказ?

— Написали, что просто встревожены. Что никаких конкретных угроз нет...

Она говорила тихо, и Анна не узнавала в этой постаревшей женщине шумную и энергичную Марину.

— А что бюро говорит — можно обжаловать это решение?

— Говорят, что через восемь дней я должна покинуть общежитие. А куда мне идти с ребенком, я не знаю. Ходила сегодня в ассоциацию помощи бездомным; пошла вместе с Шако — думаю, может, пожалеют ребенка, дадут что-нибудь... А там все с детьми, всем говорят одно и то же — своих бездомных некуда девать. Не знаю, правда это или нет, но они говорят, что даже французы с детьми на улице живут, потому что для них нет мест в общежитиях.

— Ну-у... я не видела детей на улицах. Взрослых видела, бомжей... Детей — нет.

— Врут, наверное, — равнодушно согласилась Марина.

— Знаешь, Анька, я не знаю, куда мне пойти, куда поехать, да и денег у меня только на билет в один конец. И у меня сейчас появилось отвращение к своему телу: это ведь оно просит ночлега, крыши над головой, еды, чистой одежды... Оно у меня большое, рослое, ему много места надо... Никогда в жизни у меня не было ничего подобного — так ненавидеть собственное тело...

— Марина, — прервала ее Анна, — а твой арабский друг... Может он помочь — снять квартиру для тебя?



— На мое имя не сдадут — нет паспорта. А на его имя он сам не захочет — он знает, что у меня нет денег платить каждый месяц, — слишком рассудительно и непохоже на себя отвечала ей Марина, глядя куда то перед собой.

— Ну и что тебе делать? Что?! — закричала на нее Анна. — Не сиди так в своей комнате, откуда тебя все равно выкурят, придумай что-нибудь!

Марина ничего не отвечала.

— Может, тебе в Грузию вернуться?

— Где меня мой муж на второй день зарежет?! Ты что, не знаешь, почему я оттуда уехала?.. Никакая политическая партия меня бы не испугала так сильно, чтобы я от папы с мамой уехала! Это для этого концлагеря важны политические причины, а человеческих причин они не принимают, не признают, как будто угроза для жизни может быть только политическая! Я их ненавижу, этих французов, они все пресные, жадные... Пожалели паспорта для меня и моего сына, а арабов и черных пачками берут! Почему так?! Черная шалава с пятого этажа — страшная, как моя жизнь в этом хлеву! — она вчера получила согласие! Она ведь беженка... А я получила отказ. Нас почти в одно время вызывали в бюро... И эта курва черная теперь считается француженкой! А мне — куда мне пойти с моим ребенком?! А-а-а! — закричала Марина так страшно, так безысходно, что у Анны заныло сердце.

— Не надо, не кричи так! Я позвоню в одну редакцию, расскажу им, что тебе некуда уходить... может быть, они помогут. Не кричи!

Анна спустилась к автомату и набрала номер своей знакомой журналистки Мириам Монд. Четко изложив ситуацию, она услышала в ответ:

— Да, тяжело... Но я могу назвать это типичной ситуацией — жилья не хватает на всех, это правда. Но я подумаю, что можно сделать для вашей знакомой и ее ребенка...

* * *

Дневник Анны:

«Мириам связалась с ассоциацией, защищающей права одиноких матерей, и договорилась о встрече с ними для Марины.

На следующий день рано утром мы с Мариной приехали в центр Лиона, на центральную площадь города. Ее нам дали в качестве ориентира, так как мы не слишком хорошо ориентируемся в здешних местах. Став спиной к памятнику Луи XIV — так, чтоб голова его коня смотрела нам в спину, мы минули несколько кварталов и через пару перекрестков нашли нужный нам адрес. Лил сильный дождь, и мы ввалились в ассоциацию как две мокрые ошипанные курицы.

В этой ассоциации самое важное лицо — секретарша, напоминающая Эдит Пиаф, с прокуренным голосом и бойкими манерами. Она приказала нам ждать, и мы послушно сели — да и кто бы в подобной ситуации ослушался. Ждали мы минут сорок; под конец нам очень хотелось встать и хлопнуть дверью — кто заставит ждать бедных просителей почти час...

Нас принял усатый дородный месье — *социальный ассистент*. Он извинился за опоздание, сказал, что у них было какое-то важное и срочное совещание. Но нам уже было не до обид и не до их демонстраций.

Ассистент выслушал мой сбивчивый рассказ о Мариной ситуации, при этом она показывала ему фотографию Шако, чтоб растрогать (она пожалела будить и тащить сына сюда, но прихватила его фото! — узнаю прежнюю Марину).

Кажется, усатый социальный сотрудник понял всю серьезность положения Марины — одна, без денег, без жилья в чужой стране, с ребенком на руках! — но помочь ничем не смог. Он сказал, что его ассоциация ищет жилье только избитым женам, когда есть прямая угроза жизни ребенку и матери, поэтому Марина не в их компетенции. Но он дал Марине адреса ассоциаций, которые помогают с жильем *лицам без бумаг*. Он предупредил, что нужно предварительно позвонить, чтоб договориться о встрече. Чтоб ускорить встречу, можно сослаться на его имя, которое он написал на бумажке.

Мы шли по улицам города и были чужими на этом празднике жизни. Если бы я не знала Марину и ее сына, милого Шако, я бы так не переживала за них: я стала



замечать, что мое сердце начало экономить на сострадании, как будто для того, чтобы сберечь силы для меня самой. Но сейчас мое сердце просто разрывалось от страха за их будущее — куда они пойдут, как решится их участь?.. Нужно что-то делать!»

* * *

Всю неделю Анна и Марина ходили по ассоциациям и общежитиям, везде получая отказ. Приближался день выселения, а решения не было. Обе устали, похудели и простудились под весенними холодными дождями, обрушившимися на город в ту неделю.

В воскресенье Марина нарядилась, накрутила ногти, подкинув Анне Шако и сказав только, что вернется поздно. Вернулась она лишь на следующий день, признавшись Анне, что они с Шако завтра переезжают.

— Куда?!

— Я познакомилась с хорошим человеком. Он старше меня, но у него свой дом в деревне. Я ему очень понравилась, он сказал, что я похожа на его мать в молодости.

— А как вы?..

— Он нам наймет адвоката, который продолжит наше дело — будем жить у него и добиваться статуса... Если понадобится, выйду замуж за Мохаммеда, чтобы Шако рос в нормальной стране.

На следующий день Анна увидела Мохаммеда — это был маленького роста пожилой араб, который улыбался и добродушно гладил Шако по голове. Мальчик ел шоколадку, которую ему привез Мохаммед, и застенчиво вжимал голову в плечи.

Марина избегала смотреть на Анну.

— Ты меня не бойся, Шака, — обращался Мохаммед к Шако. — У меня хороший домик, ты там будешь хорошо жить. Я не злой, — и делал при этом страшную гримасу, в ответ на которую Шако смеялся.

Мохаммед подмигнул Анне:

— Она храпит — всю ночь не давала мне спать. Я чуть из дома не убежал.

Марина снисходительно улыбнулась.

Когда он понес в машину ее чемодан, Марина быстро сказала Анне:

— Ты только не проболтайся. Я ему ничего не сказала о том, что меня отсюда выгоняют.

* * *

Дневник Анны:

«Вот так мы расстались с Мариной. Обещались звонить друг другу, но мне кажется, что мы могли понимать друг друга только в этом общежитии.

Ее живучесть восхищает меня — кто бы еще смог так быстро найти выход из безвыходной ситуации. Но мне стыдно было смотреть на Шако... Я бы ни за что не смогла устроить такое Митьке.

Марина поделилась со мной рецептом завоевания пожилых арабов, ненадолго снова став самой собой — ироничной свободной грузинкой: ночь любви, сказки о своей жизни, и приготовленное для воздыхателя сациви. Важнее всего, по ее словам, сациви.

Уходя, Марина вдруг обернулась ко мне:

— Знаешь, отчего я так прикипела к тебе?

Я удивленно покачала головой: не знаю, мол.

— Мне понравилось, что ты не обратила внимания на мои слова, когда мы с тобой только познакомились. Помнишь, я говорила много ерунды насчет твоей внешности, вкуса и ума?.. Люди часто клюют на такой прием, начинают зазнаваться после моих комплиментов. А для тебя похвалы ничего не значили, это ничего не изменило. Я почувствовала, что ты настоящая...

— А я принимала тебя за стихию, считала непредсказуемой... как море у вас в Батуми.

— Жаль, что мы больше не будем с тобой так дружить, как здесь. Здесь мы были все вместе, как на войне... А теперь разойдемся в разные стороны... кто знает, может я у тебя еще какого-нибудь француза отобью! — рассмеялась Марина.



— Как ты можешь такое говорить! Ты же теперь верная мусульманская жена! — я пыталась за шуткой скрыть горечь от ее последних слов.

— Ты что, смеешься, что ли?! Я с ним на полгода — пока нового суда жду!»

Рождение Анны-Лионы

В общежитии часто случались конфликты из-за детей. Сначала дрались дети, потом приходилось разнимать их родителей. На первом этаже однажды подрались два мальчика лет пяти, иранец и ливанец. Дрались не на жизнь, а на смерть — с резкими выкриками для устрашения противника, с кулачными ударами, с резкими подножками. Падали, поднимались, опять дрались. Никто не сумел их разнять. Мать ливанца — худая маленькая женщина с яркой косметикой на лице, яростно вмешалась, пиная противника ее сына. Пава, так звали того мальчугана, громко вопя, побежал жаловаться своему отцу, который добавил сыну еще и от себя, чтоб не дрался с кем ни попадя. Пава, получив крепкого тумака от отца, от такой несправедливости затаил обиду на своего противника и его родителей: каждый раз, проходя мимо их двери, он плевался или бросал в нее куски грязи. Его ловили, наказывали, кричали на него, но через день он начинал все заново.

В дело вмешалась мать Павы, иранка Халима, полная высокая женщина с ямочками на щеках. Она пригласила ливанку к себе — и за чашкой кофе они помирились.

В семье иранского губернатора, мужа Халимы, сбежавшего из Ирана во Францию от своего политического врага, было трое детей. Четвертый ребенок остался на родине, он умер от неизвестной болезни. Халима была на седьмом месяце беременности, когда они приехали во Францию, из-за беременности им и выделили жилье в общежитии.

* * *

Письмо Анны:

«Я переживаю какое-то необыкновенное состояние. Мне показалось, что в мир вернулся смысл, который я давно уже потеряла. Я ведь живу только сегодняшним днем, все мои заботы — накормить Митю, написать письмо адвокату...

Позавчера утром меня позвали к Халиме — у нее начались роды. Эта женщина — мать четверых детей, одного из которых она потеряла в Иране, не говорит по-французски. Только по-английски. Муж ее привез всю семью сюда, спасаясь от казни. Митя подружился с ее младшим сыном Павой, поэтому мы с ней познакомились, даже подружились. Халима — живая, чуткая женщина. У нее хорошее чувство юмора, которое смягчает пребывание всей ее многочисленной семейки здесь, на чужбине. Мне кажется, что она и мне сознательно помогала — смешила, тормошила, когда я тосковала.

Работник бюро, молодой парень, был перепуган предстоящим событием, а скорая помощь не выезжала без подтверждения, что эти начавшиеся схватки не ложные. Этот испуганный ассистент позвал меня и передал мне телефонную трубку. Равнодушный голос объяснил мне, сонной и тоже немного перепуганной, как нужно считать секунды между схватками. Я, взяв себя в руки, начала считать — выходило по двадцать секунд между второй, третьей и четвертой схватками. Халима улыбалась нам между приступами боли, но ее смуглое лицо уже побелело. И вдруг между следующими схватками перерыв получился всего пятнадцать секунд. Я тут же доложила в трубку, что у нее настоящие схватки, пусть приезжают! А в ответ, совсем как у нас, равнодушный сонный голос:

— Мало машин на линии...

Если б мне ответили не по-французски, я бы подумала, что я все еще на родине!

— Мадам, — говорю я в трубку, — у этой женщины все может произойти очень быстро, у нее пятые роды!

— Нет, можно еще подождать, — отвечает мне тот же голос.

— У нее начались настоящие роды. Если что-то случится с ребенком, я пойду в газету и напишу статью про вас, я журналист!



— Да вы сначала говорить научитесь по-французски, — вяло замечает дама, но все-таки сообщает через паузу: — Бригада выезжает. Пусть ее встретят возле вашего общежития.

Мы погрузили Халиму в машину, и тут она попросила:

— Аниа, поедем со мной — я там ничего не пойму по-французски. Я боюсь!

Она мне так вцепилась в руку, что я не могла вырваться — до сих пор у меня остались синяки на запястье. Муж Халимы тоже слезно начал умолять меня ехать с ней.

— Я не могу, — ответила я. — У меня сын дома спит.

Муж чуть на колени не встал передо мной — сказал, что он разбудит Митю и заберет его к себе, чтобы дети с ним поиграли.

Тут на нас прикрикнули акушеры, что пора ехать, быстро закрыли двери... и я поехала в роддом.

В приемной Халиме задавали вопросы — кто, что и откуда; я переводила, а она уже начала кричать от потуг, тут же начав рожать. Прибежал врач, медсестра принесла кислородную маску, а Халима не отпускала моей руки и кричала так, что напугала меня — я даже подумала, что она умирает, но как раз в этот момент она и родила. В рубашке у нее закопошилось крошечное существо в сгустках крови, акушеры даже не успели принять ребенка — так стремительно он вышел на свет...

Халима родила девочку. Девочка получилась крохотной, но живучей, покрытой темным пушком по всему телу, как маленький прекрасный зверек».

* * *

Вернувшись в общежитие, Анна зашла к мужу Халимы, чтобы поздравить его с новорожденной и забрать Митю. Дверь была закрыта на замок. Анна постучала — никто не ответил. Она подумала, что отец отвел детей на детскую площадку, но не увидела во дворе ни души. Начиная нервничать, она услышала между этажами детские голоса. Оказалось, что дети, сидя на полу, играют в карты. На Митином лице была свежая царапина.

— С кем ты подрался, Митя?

— Это его брат меня ударил, — показал Митя на Паву. Пава, догадавшись, о чем речь, это подтвердил.

— За что он тебя побил?

— За то что я у него велосипед взял.

— А почему вы сидите тут, да еще и на полу? Здесь грязно и холодно, пошли домой!

Когда они все вместе поднялись на свой этаж и свернули в коридор, дверь комнаты Халимы тихонько открылась, оттуда выскользнула худая черная ливанка — та самая, которая избилла когда-то Паву, заслужив кличку от Халимы. Когда Пава постучал, его папаша открыл дверь и с преувеличенной радостью закивал головой, заметив удаляющуюся Анну. Знаками он спросил ее, как там дела в роддоме у его жены.

— Халима родила девочку, — по-английски сказала ему Анна.

Мужчина оживился, подошел к Анне и попытался пожать ей руку. Брезгливо выдернув свою ладонь, она ушла, а дома долго мылила и терла щеткой руки.

После пережитого в роддоме у нее не осталось никаких эмоций. Она очень устала, хоть и не так, конечно, как Халима, только что в муках родившая своему беспутному мужу пятое дитя.

* * *

Письмо Анны:

«Я забрала Митю у мужа Халимы — только сейчас поняла, что я, оказывается, не знаю его имени — и пошла по своим делам. И целый день у меня было такое чувство, как будто у меня в жизни случилось что-то замечательное и значительное.

Кстати, девочку они назвали Анной-Лионой, так язычески обозначив мою помощь в родах и место рождения дочери».



Дневник Анны:

«Весной Мурат, наш учитель французского, спросил нас на уроке:
— Куда бы вы хотели пойти в Лионе? Что вас интересует?»

Мы вразной назвали несколько мест: кино, музей, экскурсия на корабле по реке Рон. Нам пообещали организовать все эти немудреные развлечения. И не обманули.

Когда настал день музея, нас привели... в зоологический музей. Оказывается, Мурат не знал, что существуют музеи живописи. Я была вначале разочарована — я ждала других впечатлений, эстетических, по которым испытываю настоящий голод в последнее время. Но экспозиция оказалась великолепной: динозавры, птеродактили в натуральную величину, бабочки и змеи невиданных размеров и окрасов. Митя был потрясен. Правда, он быстро устал от всех впечатлений, закапризничал, но вначале с открытым ртом уставился на динозавров, которые равнодушно смотрели куда-то мимо нас своими стеклянными глазами.

В начале мая, когда в Лионе проходила международная выставка современного искусства, пригласительные билеты дали только мне с Митей. Выставка проводилась в концертном зале, выставочном комплексе, а еще семьдесят лет назад это помещение было скотобойней, где потолок был устроен из железных балок, по которым передвигались убивающие и обдирающие механизмы и замораживающие устройства.

Выставка, представляющая несколько сотен работ из разных стран мира, состояла из инсталляций. Современное изобразительное искусство во всем мире переходит на инсталляции.

Идеи некоторых инсталляций очень актуальны: например, чтоб обратить внимание на экологическую проблему нашей планеты, художник из ЮАР сделал огромный глобус — метра два диаметром. И весь этот шар он усеял мертвыми жуками. Сколько же жуков он заморил для своей экологической постановки! Проспект выставки равнодушно сообщил, что более пяти тысяч... Может, я уже сумасшедшая, и незачем обращать внимание на такие вещи? Может быть, принеся в жертву зеленых жуков, этот художник хотел вызвать особого рода переживания за экологию в своих зрителях?..

Другая постановка — кухня в натуральную величину: шкафы, плита, микроволновка, холодильник, мойка. Разноцветная кухня эта была собрана из бисера. Автор таким образом хотел обратить внимание людей на кропотливый ежедневный домашний труд женщин.

Был еще выставлен русский фотограф — Михайлов. Он выбрал для этого ежегодного биеннале тему, связанную с русскими бомжами. Фотографии пьяниц и бомжей в роскошных темно-красных интерьерах собрали много зрителей. Особенно много народа рассматривали фото пьяной бабки, раздетой до трусов, у которой ее напарник, такой же бомж, поддерживал огромную, с голову ребенка, грыжу на весу. У обоих были лица обиженных старых детей.

Был представлен черно-белый фильм американского режиссера марокканского происхождения. В нем говорилось о провинциальных мусульманских женщинах, которых покидают мужчины, уходя в города и уезжая в другие страны. Женщины овечьим стадом следуют за мужчинами на пристань, машут им руками вслед, потом долго стоят и смотрят, ничего не понимая в этом мире... Двадцатиминутный фильм был сделан настолько серьезно, что эта далекая проблема из абсолютно чуждого мира задела меня. Однажды во время студенческой практики я была в командировке в северной деревне. Меня пригласили в бревенчатый дом выпить чаю. Хозяйка дома, женщина лет пятидесяти, выставила на стол самовар, конфеты, варенье, и мы разговоривали с ней обо всем на свете. Во время разговора в комнату вошел застенчивый парень лет двадцати пяти.

— Это мой сын, — сказала хозяйка. И спросила меня, замужем ли я.

Услышав такое, ее сын выбежал, подумав, что его сейчас начнут сватать.

— Замужем, — призналась я.

— А у нас в деревне ни одной девки, — вздохнула она. — А моему-то жениться пора. Вона, какой богатырь пропадает...

— Пусть в город едет, — посоветовала я.



— А меня — бросит? А дом? Скотина ведь у нас — сена-то сколь нужно...

Еще почему-то вспомнилось, как однажды на втором курсе я вышла зимой на крыльцо нашего журфака. Воздух был синий, уже наступили сумерки, но с нашего крыльца еще был виден Александровский сад... И там, на этом крыльце, вдохнув свежего январского воздуха, я вдруг почувствовала себя счастливой! Достоевский писал, что у людей в детстве и в юности бывают такие особые моменты, которые их потом спасают в жизни. Те, на снежном крыльце, мгновения меня до сих пор спасают. Я не забыла, что бывает ощущение полноты и осмысленности бытия...»

Повестка

Из бюро принесли бумагу: «Мадам Журавльева, на ваше имя получено заказное письмо. Просим явиться для получения корреспонденции сегодня после обеда».

В этом письме, которое было вскрыто и прочитано с неожиданной дрожью в руках и ногах, оказалась повестка в суд на рассмотрение просьбы о предоставлении статуса.

Дата рассмотрения просьбы была назначена на 14 июня.

— Вас вызывают в суд? — спросила Натали.

— Да.

— На какое число?

— Четырнадцатое июня.

— Но это невозможно! — удивилась Натали. — Это же День Бастилии!

— Июня, не июля.

— У вас такое произношение, что я услышала «июля»... Документы у вас готовы?

— Да.

Когда Анна уже выходила, Натали крикнула ей вслед:

— А с кем вы оставите ребенка? Билеты на него не предусмотрены!

— Я подумаю... — вздохнула она.

* * *

Дневник Анны:

«14 июня, в день суда, я выехала шестичасовым поездом из Лиона в Париж. Митя спал, Марина должна была забрать его утром.

Это событие, судебное заседание для рассмотрения просьбы о статусе политического беженца, очень тяжелое и нервное, так как именно этот суд решает дальнейшую судьбу обитателей и нашего общежития, и сотен таких домов по всей Франции. В случае позитивного решения счастливого беженца под завистливыми взглядами соседей переселяют из общежития в квартиру, ему назначают пособие и предоставляют право получить любую профессию — от парикмахера до кинорежиссера. Если же человек получает отказ, то его выселяют из общежития на улицу и лишают пособия, а то, как он будет дальше жить — это никого не волнует.

Поэтому сказать, что я боялась, это еще ничего не сказать. И почему-то все время хотелось смеяться. Я видела смешное во всем: вот какая-то пара целуется — это оказывается, очень смешно, такая страсть в поезде в шесть часов утра! Когда хрюкнуло радио и, прокашлявшись, объявило о возможном опоздании, я тоже чуть не рассмеялась в ответ. Контролер с манерами гомосексуалиста взял мой билет на проверку и уронил его мне же на голову — и я уже еле сдерживалась от душившего меня смеха.

И вот Париж! У меня в запасе полтора часа. Я сажусь в метро. Здешнее метро напоминает общественный туалет — кафельная плитка грязно-зеленого цвета, нет указателей, тупики на платформах, старые раздолбанные поезда с дверями, открывать которые нужно самим пассажирам. Добираюсь с пересадкой до нужной станции, выхожу и через пять минут обнаруживаю здание суда. Меня трясет, мне опять смешно. Чтобы успокоиться, иду в ближайшее кафе, заказываю кофе у стойки, что в два раза дешевле, чем кофе за столиком, не спеша пью и стараюсь успокоиться. Думаю о Мите, волнуясь — как он там... Каким он запомнит свое детство? Долгие перезды, ночлежки, общежитие беженцев, драки с арабами-сверстниками...



Допиваю кофе, выхожу из кафе и иду к серому зданию суда. На входе вооруженные охранники просят показать повестку и документы, затем объясняют мне, что зал номер девять на первом этаже направо.

Чувство... как перед операцией. Вхожу в зал. Там уже много народу — разбираются еще два дела. Судья — седой пожилой মেসье; кроме него — два общественных заседателя слева и справа от судьи. Секретарь судебного заседания, адвокаты, переводчики, сами просители, публика из числа студентов-практикантов с юридического факультета и их профессор.

Слушается дело индуса, который живет в Бангладеш. Он преследуется местными властями за нападение на посольство, которое было организовано местными террористами. Он отрещивается от всех обвинений, представляет алиби — написанные от руки свидетельства его соседей. Судья, высокомерно разговаривая, отмахивается от его бумаг. Индус горячится, доказывает, его адвокат тоже пытается что-то объяснить... Кажется, исход этого дела всем ясен: студенты в сторонке о чем-то говорят между собой, качая головами.

Вызывают вьетнамку. Немолодая женщина, скромно одетая, держится с почтением, но она почему-то мне кажется неприятной. Может, дело в ее излишней почительности, с которой она кланяется суду? Хотя в такой ситуации мне трудно быть беспристрастной. При всей своей угодливой, чуть склоненной в поясе позе, вьетнамка держится увереннее, чем предыдущий истец. У нее отлично подготовленное досье — с видео сюжетом, доказывающим ее участие в антиправительственной демонстрации.

— Но вашего лица не видно в толпе! — возражает судья.

— Я там была, মেসье. После этого меня начали преследовать из-за моей политической деятельности.

— Какой именно?

— Политической, মেসье.

В зале легкий смех.

Судья работает на публику, недоверчиво двигая бровями.

— Хорошо, мадам, продолжайте свой рассказ...

При этом лицо судьи кривится в легкой презрительной гримасе.

Вьетнамка продолжает:

— Я выбрала Францию для политической эмиграции, потому что в этой стране проживает мой брат.

— Где именно?

— Под Парижем, মেসье. В Медоне. Он содержит ресторан, где работает вся его семья, মেসье.

И где, ясное дело, будет работать и она сама, *политическая эмигрантка* из Вьетнама.

Решение суда будет отправлено через три недели, об этом сказали индусу и вьетнамке. Сейчас моя очередь...

— Вы утверждаете, что жили в Риге. А сколько километров от Риги до русской границы?

— Я не знаю точно... Затрудняюсь ответить.

— Вы утверждаете, что работали журналисткой в популярной газете. Почему ваша газета не могла попросить для вас гражданства в Латвии или в России?

— Мне кажется, что не нужно преувеличивать всемогущество прессы в России или Латвии.

После каждого подобного ответа судья приподнимал брови и удовлетворенно кивал, многозначительно оглядываясь на заседателей.

Мой адвокат пытался что-то говорить и объяснять, но судья его грубо прерывал...

Когда этот ужас закончился, я вышла в коридор и сказала адвокату:

— Это конец. Мне не дадут статуса! — и нервно рассмеялась.

Лион. Русская жена

В супермаркете Анна услышала русскую речь. Обернувшись, она увидела женщину.

— Вы русская? — спросила ее Анна.



— Да, русская, — вежливо ответила собеседница.

— Давно не слышала на улицах русской речи...

— Да что вы! Здесь полно русских жен!.. Вы, наверное, недавно приехали?

— Полгода...

— А я уже четыре года здесь живу. Хотите, посидим в кафе, пообщаемся, если у вас есть время.

Расплатившись, они выбрали маленькое уютное кафе неподалеку, заказали кофе и разговорились.

Лариса, новая знакомая, оказалась из тех маленьких женщин, что берут судьбу за рога, устав надеяться на чудо. Она рассказала, что жила в Витебске, играла, как и ее муж, в местном филармоническом оркестре, воспитывала детей. Жизнь как жизнь — с закулисными сплетнями, травлей конкурентов и экономией денег. Муж умер от сердечного приступа, случившегося во время репетиции. Это совпало с перестройкой и последующей инфляцией — обнищавшим людям стало не до классической музыки. Оркестр распался, Лариса, чтоб прокормить детей, нанялась продавцом на рынок, тянула семью и верила, что они еще выкарабкаются. Однажды она познакомилась с женщиной, которая предложила выдать ее замуж за обеспеченного иностранца. Лариса продала свою золотую цепочку и сережки, сделала прическу, сфотографировалась в дорогом фотоателе, оплатила услуги брачной конторы и познакомилась по Интернету с пожилым французом. Вдовца из маленького провинциального городка в департаменте Рон угораздило познакомиться именно с Ларисой — женщиной, ожесточенной борьбой за выживание. Его романтические представления о нежной славянской душе разбились о советскую практичность провинциальной музыкантши с еврейскими корнями и украинской фамилией. Его старость навсегда была отравлена горькими размышлениями о потерянных деньгах и об обманутом доверии: Лариса, прожив три года со вдовцом в маленьком французском городке, терпя его экономно, желчные замечания насчет русской культуры и политики, изо всех сил изображая нежную и преданную жену, после получения французского гражданства с радостью высказала ему все, что она о нем думает, и перебралась в Лион, столицу департаamenta Рон, город, в котором нашла себе жилье и работу...

— Забрала детей из Белоруссии, сейчас дочку выдаю замуж здесь, в Лионе, подаю на развод со своим бывшим, преподаю в консерватории по классу скрипки... Только сейчас начинаю жить, — вдохнула Лариса. — Ну а вы, как вы тут очутились, Анечка?

— Я беженка, — призналась Анна.

У Ларисы округлились глаза:

— Да вы что! С такой-то внешностью? Почему бы вам не присмотреть кого-нибудь из французов? Хотя бы ради паспорта... Посмотрите правде в глаза, Аня... У вас мало шансов получить статус беженца во Франции. Во-первых, они боятся красивых одиноких женщин из России, считая их проститутками. Вы ж видели, сколько у них своих девиц вдоль дорог стоит... Во-вторых, в России сейчас объявлена демократия, поэтому русским здесь паспорта не дают. Не теряйте времени на эти пустые надежды, моя дорогая!

Она стала так горячо доказывать Анне все выгоды брачного союза с французом, что Анна не выдержала:

— Знаете, Лариса, выйти замуж за случайного человека мне кажется еще хуже, чем жизнь без паспорта и гражданства!

Лариса рассмеялась немного искусственно:

— Это только вы так думаете... Жалко вашего ребеночка, который живет в общепитии. Вы, наверное, понимаете, какое будущее светит ему... Если вы думаете, что тысячи женщин идут на такие браки только для того, чтобы найти спутника жизни для себя, встретить любовь — вы ошибаетесь, моя дорогая. Идут ради детей, чтоб хотя бы они пожили нормальной жизнью, с материальной базой и возможностью получить хорошее образование... Жизнь — жестокая штука. За все нужно платить. Я заплатила двумя годами со своим так называемым мужем. Как я там жила — этого никому не расскажу. А мои дети в это время были в Белоруссии, в семье у брата моего покойного мужа. Жили пасынками, их даже за стол звали, когда все самое вкусное уже съели. А я каждый месяц деньги присылала на питание... — Лариса чуть не заплакала.

— Я не собиралась вас обидеть, Лариса, — заволновалась Анна. — Есть женщины, которые могут вытерпеть ради своих детей брак с нелюбимым мужчиной. Но я точно знаю, что не вытерплю. . .

— Да, это нелегко! — веско сказала Лариса. — Знаете, чем больше встречаюсь с русскими, тем меньше у меня желания в следующий раз разговаривать с ними. До свидания. . . точнее, прощайте! — последние слова она бросила уже через плечо.

Ресторан «Сердце»

Его придумал и организовал известный комик, двадцать лет назад хохмивший на всю Францию шутками, за которые бы сегодня его привлекли к суду антирасистские ассоциации.

В этот ресторан выстраивались за замороженными котлетами огромные очереди из беженцев, безработных и прочих людей, отверженных обществом. Анна приходила сюда раз в неделю. Ей выдавали на двоих три пакета молока, пакет печенья, пачку спагетти, кофе, конфитюр, сахар и шоколад в плитках. Иногда — компоты или йогурты.

Анна попыталась, стоя в очереди, смотреть на все происходящее глазами журналиста. Вот подтянутый старик, он из числа добровольцев, работающих в ресторане бесплатно. Старик бодро здороваётся с ожидающими своей очереди понурыми людьми: бонжур, медам и месье! Его тон и слова не звучат насмешкой — это общепринятая форма вежливости. Но ведь и все эти люди, если их помыть и приодеть, могут выглядеть не хуже, чем настоящие «медам и месье».

Вот негритянка, стоявшая перед Анной, чешет задницу, белозубо улыбаясь своей товарке. Плохо это или хорошо — такая простота?.. Но до ответа она так и не додумалась — подошла ее очередь.

На этот раз среди добровольцев на раздаче появился новенький — мужчина лет тридцати пяти. Неожиданно он подмигнул Анне и принес ей несколько замороженных кур вместо полагающейся одной. Анна даже не поблагодарила его, приняв за должное; лишь потом, на кухне, Линда, заметив, что она выгружает в свой холодильник столько куриц, удивленно протянула:

— А мне сегодня почему-то только одну выдали. . .

* * *

Анну вызвали в бюро. Она уже знала, что пришел ответ на ее просьбу о статусе беженца.

Ее бил какой-то нутряной, звериный озноб, но она держалась спокойно. Зайдя в бюро и поздоровавшись со всеми, она подошла к столу Франка. На столе лежал конверт. Франк жестом пригласил Анну открыть его. Открыв, она все равно ничего не смогла понять — ее словарного запаса не хватало, чтобы разобрать прыгающие перед глазами строчки на этой гербовой бумаге.

Франк взял у нее письмо, внимательно прочитал его, помолчал и произнес внушительно:

— Мадам Журавлева, в вашей просьбе на предоставление статуса политического беженца во Франции отказано!

Вместо эпилога

Письмо Анны:

«И самая главная новость: мы получили вчера отказ на нашу просьбу о статусе во Франции. Это очень тяжелая новость. Все нам сочувствуют, даже администрация этого общежития. Никто не знает, куда мы пойдем. Через семь дней мы должны сдать ключи от наших комнат коменданту. Но я знаю, что должно случиться что-то хорошее, мы просто не можем оказаться на улице. После этого события, которое случилось вчера со мной, я поняла, что жизнь все-таки продолжается.

Напишу, когда станет известен наш новый адрес.

До свидания.

Ваша Анна».

Константин ЧЕБАНЮК

ПОНТИЙСКИЕ ПЕСНИ

ВСТЕПИ

Вдалеке там волки, что ли?
Или перекасти-поле
Зимовать спешит в овраг?
Или, может, на рысях —
Скифы?.. Вон он, их дозор,
Мчится прочь во весь опор.
За кордоны, за пределы.
В золотом колчане стрелы,
Сьромятное рваньё,
За спиной торчит копьё.
И за скифом бородатым
Надо бы и мне куда-то.
Тайной лес и дол залит,
И томится ветер словом,
И в древке шипит кленовом,
И на острие свистит.

МУЗЕ

Хвала Творцу! В дни созиданья
Определить он не успел
Тебе границы обаянья,
Порыву моему предел.
В степях далёкой стороны,
В плену своих богов, как чуду,
Как скиф безмолвию луны,
Тебе я поклоняться буду.

ВЕЧЕР

Что ж, поделом, я в стороне чужой,
Костер не вздуть, искромсано огниво.
Дождусь, не греясь. Вот уж сиротливо
Порою поздней под глухой стеной.



Ни бунт, ни зов. Пригрезилось, отхлынет.
Не заманить усталого меня
Послушать степь у вольного огня,
В ночи понтийской, на сырой овчине.

В ДОМЕ МОЕМ

В доме моём, пустотою томимом,
Больше не слышу ни песен твоих,
Ни умилений стихами моими:
Голос твой с осени скифской затих
В доме моем, пустотою томимом.

Мучают степь ледяные норд-осты,
Меры унынию нет моему.
В пору туда, где покойно и просто.
С шумом крошечным уносят во тьму
Страхи мои ледяные норд-осты.

Не омрачим расставание плачем,
Дальняя даль — молодые пути.
Кружка дымится на пепле горячем,
Не премини ж ненароком зайти,
И мы на радостях славно поплачем.

ПЛАТАН

Столетним отроком стоит
Платан в Пале-Рояле,
Он Опере и до плеча
Дотянется едва ли.

А глянуть бы «лет через пятьсот»,
Вот будет странно:
Одесский оперный театр —
В тени платана!

СКИФСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Даль притихла. Мглы шатром
Древняя земля накрыта.
День и ночь пылят кругом
Боевых коней копыта.

Мы идем за солнцем вслед
Шляхом старого раздора,
Мы идем, и мира нет
От Боспора до Боспора.

Киммерийское мутит
Нашу голову гаданье,
И несметное закланье
Душу скифа тяготит.

Спи. За войлочной стеной
Шум похода суетливый,
Ветра дикого порывы,
Глушь степная, волчий вой.

В ЗИМНЕЙ СТЕПИ УСЛЫШАЛ ХОХЛАТОГО ЖАВОРОНКА, ПОСМЕТЮХУ

Зябко здесь среди зимы.
Ни дымка в степи, ни взлая,
Только топчутся, сползая
В балки, длинные холмы.

Тихий свист коснулся слуха:
На горбочке лапки жмёт
Жаворонок, посметюха,
Песни солнышку поёт.

Слушатель ушёл далече.
Глухи серые снега,
Что же ты так щедро мечешь
Чудных звуков жемчуга?..

Трелям серебристым рад,
Ветер шелестит в щирине,
Тугоухий, не стыдится,
Подпеваает невпопад.

Ни жилища, ни остожья,
Степь да степь передо мной,
Но звенит во славу Божью
Голос птахи полевой.

РЕШЕНИЕ

К Покрову осень подоспела.
И вот, с тяжёлой головой
От винных ягод перезрелых
Летит из Скифии долой,
В Европу, в тёплые пределы
Скворец в раскраске кочевой.
И, пилигрим неутомимый,
В Шампань меня который год
Весёлым посвистом зовёт:

«Там землю не терзают зимы,
Бесчисленны, необозримы
Холмы, увитые лозой;
Поля, монбланы, замки, блюда,
Французы, лувры — всё оттуда.
Поторопись давай, не стой!»

...Куда ж мне плыть, я раб усталый,
Ни в Датску сторону, ни в Русь
Уже давненько я не рвусь, —
Счастливым путь, летучий малый,
Я в Киммерии остаюсь...
Легко ли — из славян да в галлы...

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ

ДВА РАССКАЗА

ОТДАРОК НА НОВОГОДЬЕ

С утра Инъязов носился по рынкам и супермаркетам, прикупая к встрече Нового года недостающие подарки и снедь, перечисленные супругой на обеих сторонах листа из школьной тетрадки, и к полудню у него разболелся зуб. Как раз тот самый, коренной, вылеченный на триста лет вперед, как заверил его стоматолог в позапрошлом году. Может, и не врал, да побегай, высунув язык, с уличного холода в тепло торговых заведений и обратно — и поважнее чего застудишь. Тогда уж точно мечты о наследнике останутся мечтами...

Полоскания отваром шалфея и анальгин не помогли, и Инъязов засобирился к зубному врачу — платная стоматология как раз напротив его дома, а принимают в ней больных и в праздники, были бы деньги. А деньги были — накануне издательство преподнесло предновогодний подарок, выплатив, наконец, гонорар за, опять же, позапрошлогоднюю, как и вылеченный зуб, книжку.

— Ага, разбежался! — остановила Инъязова супруга. — Ты что, Никита, заблудился — как Новый год встретишь, так его и проведешь... А еще писатель... На вот! — выстала бутылку водки. — Не пей только — положи.

Болеть зубами в почти наступившем новом году Инъязов не желал, потому *выполосчил*, не сглотив ни разу, пятисотграммовую емкость до капельки. Зуб не унялся. Напротив, он разламывал, казалось, уже всю нижнюю челюсть. А тут соседка прибежала узнать: правда ли, что просыпать соль в новогодний день не к ссоре или беде, как в будни, а к удаче?..

— Правда, — держась за подбородок, проныл Инъязов, крутые детективы которого, всегда отмечали критики, выгодно отличаются от детективов других писателей doskonaльным знанием народного быта, традиций, верований и примет.

— А вы, Никита Севостьянович, гляжу, зубом маятесь? — озаботилась просыпавшая соль к удаче.

— Маюся, — не скрыл Инъязов. — Даже водка не помогает.

— Паленая, наверное. Или мало выпили, — предположила соседка.

— Да не пил я, Марья Ивановна, — полоскал! — взвился от нового приступа зубной боли Инъязов.

— А это без разницы — пил, полоскал... И хорошая, бывает, не всегда анестезирует, — махнула рукой Марья Ивановна. — Но есть верное средство. Вы герань пробовали?

— Какую герань? — заинтересовался Инъязов.

— Да обыкновенную, комнатную. Цветок такой. Его еще «Аистов клюв» называют — по форме плодов, а если листьев — «Волчья стопа», — растолковала соседка. — Боль зубную как рукой снимает.



— Ты же знаешь, Маша, — мы никаких цветов не держим, — встряла в разговор супруга Инъязова. — Ухаживать за ними некогда, да и у Маняши с Тяншей аллергия на цветы может случиться, — сказала о детях.

Насчет «некогда» Инъязов засомневался, а вот об аллергии, грозящей дочкам-близняшкам, особенно ждущим грядущий год, когда они пойдут в школу, узнал впервые.

— Геранью и аллергию лечат! — обрадовалась соседка. — Я сейчас, сейчас... — заторопилась она из квартиры. И почти тотчас вернулась с пышнозеленым и осыпанным белыми созвездиями цветком в горшке. — Вот, *отдарок* вам мой за соль! — тряхнула цветком. И ароматно-пряный запах от него перебил все кухонные от жарки-варки к новогоднему столу. — Жуйте листья и прикладывайте их к десне большого зуба на здоровье, Никита Севостьянович! — пожелала она. — И с наступающим Новым годом всю вашу семью!

...Листья герани, и правда, помогли. И новогодье Инъязов встретил с выздоровевшим буквально за пару часов зубом. А уже наступивший 2013-й порадовал его изданием нового детектива «Аистов клюв против волчьей стопы, или Герань в отдарок» и хвойным ароматом от елки, смешавшимся с пряным от герани. Горшками с этим цветком разнообразнейших сортов заставлены теперь все подоконники квартиры. И супруга находит время за ними ухаживать, пока Инъязов пишет свои детективы, а дочки-первоклашки, аллергией так и не занедужившие, ждут не дождутся появления братика.

Герань, оказывается, еще и деторождению способствует.

ВОЗРАСТ ДОЖИТИЯ

«Старость — не радость», — говорят в народе, и я осознаю это физически в поликлинической очереди на прием к терапевту.

Очередь долгая, и большинство из томящихся в ней, прислонившись к стене коридора, женщины на пенсии, судя по их внешнему виду. Пожилые и совсем старые. Из мужиков — только я и еще один с седыми, но прокуренными до желтизны усами. Но мужик он лишь внешне, поскольку уже и стоять, даже припав к стене, не в силах — сидит, опустив голову и тяжело дыша, на корточках.

Молодые обеих половин человечества если и появляются, то после вопроса «кто последний?» тягостным ожиданием, когда настанет их черед, себя не утруждают — оккупируют кабинет врача, едва его дверь приоткрывается, выпуская кого-нибудь из недавних очередников. Очередники уже устали корить их в спины, получая от даже не обернувшихся к недовольным почти всегда один и тот же ответ:

— Нам только карту профосмотра подписать!

И правда, выходят от врача скоро. Лишь ярко раскрашенная девица, ошарашившая очередь неожиданной фразой: «А куда вам в возрасте дожития торопиться?» — задерживается надолго. И когда она, наконец, выходит, старик с прокуренными седыми усами поднимает голову:

— У нас, девушка, не возраст дожития — период...

Он хочет сказать что-то еще — умное, наверное, и назидательное, но осекается: лицо девицы, названной им девушкой, все в слезах. Слезы льются и на врачебный квиток, который она прижимает к груди.

— Вот, — плачет она, — к маммологу направили... — и, спотыкаясь, уходит от очереди по коридору с направлением от терапевта, наверное, к маммологу.

— Милая, тебе вниз, вниз, в триста тринадцатый! — громко напутствует ее вслед молодящаяся старушка в буклях, как в позапрошлом веке. И уже тише поясняет соседкам по стенке: — Маммолог — это кто на рак проверяет.

— Не жилец, значит, — вздыхает стоящая рядом с ней. — И номер кабинета, прости господи, чертов — как оборотень...

— Номер, если в сумме, счастливый — семь. А жилец или не жилец — это еще бабушка надвое сказала. Может, у нее доброкачественная опухоль. Скажем, мастопатия, — бурчит старик и, зашедшись в кашле, вновь опускает голову.



— Ага, может, и мастопатия, — соглашается с ним молодящаяся. — Или другая какая опухоль молочной железы. А если и раковая — кому как. Я вон бюста лишилась четверть века назад, и ничего — жива и здорова! — признается вдруг горделиво, потрянув бюклями.

— А чего тогда к доктору тяготишься с нами, коли здорова? — чуть отодвигается от нее по стенке соседка справа, а которая слева — прямо-таки летит к приоткрывающейся двери кабинета: как раз поспела ее очередь.

— Диспансеризацию прохожу, — уловив опасливость по отношению к ней, все же отвечает молодящаяся. И, обидевшись, наверное, закрывает рот на замок.

Почти след в след появляются две новые очередницы.

— Кто крайний? — спрашивает первая, отличающаяся от других пенсионерок какими-то экзотическими бахилами.

Они не синего цвета, как у всех, а блекло-прозрачные, точно использованное «изделие № 2», как именовали когда-то презервативы. Отдашь в аптеке две копейки — и получишь один в пакетике... К Первомаю такие пакетики взрослые покупали десятками. В моем детстве воздушные шары были дефицитом, поэтому «изделие № 2», раскрашенное в разные цвета, чаще всего синькой и марганцовкой, имитировало их на празднике трудящихся всего мира. Под «изделием № 1», тогда страшно засекреченным, значился, узнал я уже в армии, противогаз...

— А я за тобой, значит, Лида, буду, — радуется вторая старушка, признавая, видно, по голосу в пришедшей чуть раньше свою знакомую.

— Будь, будь, Зоенька! — радуется встрече и Лида.

— Это ж сколько мы с тобой не виделись, землячка? — обнимает ее за шею Зоенька, поскольку обнять за плечи не достало бы рук — настолько Лида необъятна.

— Да с год, верно, — отвечает объятием необъятная, и очередь на время теряет сухонькую и невеликую ростом Зоеньку из вида. — И как у тебя на семейном фронте, Зоенька? — спрашивает после Лида.

— Да правнуком меня Даша моя наградила месяц тому, — говорит она, наверное, о своей внучке. — А Николая половина — на сносях. Правнуком, обещают, прибуду, — говорит, наверное, уже о внуке и его супруге.

— Молодец! — хвалит Лида не внучку с внуком, а землячку, будто это она родила, а теперь вот-вот разродится по новой. — А мои так пустыми и живут. И не дожидаться уж мне твоих радостей, Зоенька, сами уже старики, — говорит она, похоже, не о внуках со внучками — о своих детях. — А так понячниться на исходе охота! — И промокает платочком повлажневшие глаза.

— А хорошо хоть живут твои? — отвлекает Зоенька от печальных мыслей Лиду.

— Да грешить не стану — хорошо, — приосанивается Лида. — Нам бы так жить в пору нашу — из-за границ не вылазят. Не вижу их почти. А сейчас к себе повидаться позвали — вот и пришла за справкой, чтоб медстраховку оформить. Старая, говорят, без страховки за рубежами шастать...

— Надо же — мир повидаетшь! — восторгается Зоенька. — Да и не старая ты вовсе — ты ж меня на десять годов молодее! — радуется она за землячку. — Вон, боярыня какая! — чуть отступив, оглядывает ее с ног до головы и обратно. — И чуни у тебя, видно, заморские? — удивляется.

— Это ты о бахилах, что ли? — не понимает сразу, о каких чунях речь, Лида.

— О них, Лида, о них, — подтверждает Зоенька. — Как стекло почти, только в тумане. Твои прислали или где покупаешь? Синие-то ближе к черному — цвет смертный...

— Еще не хватало — покупать! Я в них... уж и не помню сколько, то с сердцем, то с давлением, а то и с гриппом, если придавит, в поликлинику прихожу. Состирну — и иду. А они с первого раза выцвели. Дрянь, а не бахилы, чтоб на них каждый раз тратиться! — чуть не плюет себе под ноги Лида.

— А я и не знала, что их стирать можно, — расстраивается Зоенька. — Но тоже не покупаю — дороги. Внизу, в ящике, куда их после врачей бросают, беру, — переходит она почти на шепот, но в очереди слышат ее признание. И очередь тихо хмыка-

ет, однако не осуждающе и даже, кажется, как-то извинительно. Похоже, большинство из стоящих в ней поступают так же.

Появляется очередная старушка.

— За кем мне, хорошие? — спрашивает она, боязливо глянув на продолжающего кашлять старика.

— За нами, — отвечают погрузневшие Лида и Зоенька.

— А период дожития — это как? — раздается голос из очереди, прислонившейся к стене, поскольку ни стульев, ни какой-нибудь самой простой лавки в коридоре рядом с кабинетом терапевта нет.

— А сколько кому из нашего социума после пенсии жить остается, — отвечает, снова подняв голову, старик с прокуренными усами, наконец подавивший кашель.

— Сколько кому остается — это одному Богу ведомо! — перекрестившись, убежденно возражает новоявленная очередница. И я мысленно с ней соглашаюсь, поскольку о периоде дожития услышал впервые.

— До бога высоко, до царя далеко, а у нашего соцообеспечения два гребня дожития после назначения пенсии — для баб и мужиков по отдельности, — усмехается, подкашлянув, старик.

— И сколько же для баб? — раздается опять голос от стенки, но не прежний, более молодой.

— Да на нынешний год бабам двадцать четыре года под гребень дожития оставили, — хрипит старик.

Очередь колыхнулась — видно, каждая из пожилых и старых женщин принялась считать про себя, сколько оставило государство на житье-бытье после ухода на заслуженный отдых.

— А мужикам? — не выдерживаю здесь и я.

— Восемнадцать, — прохрипел, заходясь в новом приступе кашля, старик. И я прямо-таки ощущаю остановившийся на мне всеобщий взгляд очереди — жалеющий, сочувствующий, но в глубине своей торжествующий. Как же, двадцать четыре года для русских баб — не восемнадцать для мужиков. Разница между ними в периоде дожития, когда каждый день жизни на особенном счету, в целых шесть лет!

— Это как считать, — точно слышит безмолвную очередь и меня, тоже молчащего, вновь подавивший кашель старик. — От назначения пенсии считать надо дожитие. А бабам когда ее назначают? — спрашивает он, но ответа не ждет. — В полста пять! А нам — на пятилетку позже. Если и бабам от шестидесяти считать — год им всего форы перед мужиками. Прежде меньший срок до смерти отводили. А теперь каждый год увеличивают, чтобы августовские добавки к пенсиям снижать. Но, опять же, редко какой русский мужик до пенсии дотягивает...

— А ты-то откуда про это все знаешь? — спрашивает старика, веря и не веря ему, но уже не осеняя себя крестом, последняя в очереди.

— В соцообеспечении служил — вот и знаю, — приподнимается, опираясь спиной о стену, старик, но очередной приступ кашля сваливает его обратно на корточки...

И мне вспоминается Гоголь: «Редкая птица долетит до середины Днепра». Если переиначить это выражение, то до половины, в лучшем случае, периода, отведенного на дожитие. И я ухожу из очереди, хотя до приема врача передо мной всего две женщины в возрасте дожития.

Зачем мне поликлиника, если в только что наступившем *моем* возрасте, с которого государство назначает пенсии и определяет время, оставшееся до смертного одра, у меня почти не осталось сверстников, общаясь с которыми, я смог бы его скрасить...

«Старость — не радость», — говорят в народе.

Но если старость унижают еще и «периодом дожития» — она и в тягость, если не в горе, человеку.

Ян БРУШТЕЙН

СЕВЕРА

* * *

Единственный из проклятого рода,
Плевал в колодец и не дул на воду,
И никому не верил на Земле.
Он заплатил за деда-полицая...
Не разглядел тогда его лица я
В плацкартной ненасытной полумгле.

Он говорил, не мог остановиться,
И бился голос как слепая птица –
Казалось, что расколется окно.
Он говорил о лагере, о воле,
И я, пацан, объелся этой боли,
И словно бы ударился о дно.

Цедил слова он, бил лещом по краю
Нечистого стола. И, обмирая,
Смотрела злая тётка на него.
Он пиво пил, и нервно цыкал зубом,
И тётке говорил: «Моя голуба...
Не бойся, я разбойник, а не вор!»

Он растворился в городке таёжном,
И все зашевелились осторожно,
Шарахаясь от дикого гудка.
И пили водку, хлеб кромсая ломкий,
И только мама плакала негромко,
И говорила: «Жалко мужика...»

СЕВЕРА

1. Река Яна

Там, где мамонты ворочаются в мерзлоте,
Там, где древним змеем тёзка моя течёт.
Сотням тысяч оленьих горячих тел
Потеряет счёт обмороженный чёрт.

Как давно я выжил в этих местах:
Лена, Яна, Индигирка и Колыма.
По воде идёт онемевший страх,
Это дышат в спину зима и тьма.

Что-то молодость моя молчит подо льдом,
Где прошедшая жизнь — по воде круги...
Мы по ранней шуге катерами идём
От посёлка Северный до Усть-Куйги.

Выгибает реку хан-рыба таймень,
Впереди как небыль — аэропорт.
Заглуши мотор, и веслом табань,
На прощанье спирта плесни за борт.

Ледяная крупа мне стучит в окно,
Спирт из фляги рухнет туда, в живот...
Только Северный сгинул давным-давно,
Ну, а Усть-Куйга — ничего, живёт.

2. Енисейское

Расскажу, как я не мог прибиться к берегу:
Енисей меня крутил-вертел отчаянно,
И спина его была от пены белая,
И осталась позади тоска причальная.
А я сломанным веслом, шальной, размахивал,
Песни пел, и слёзы лил разменной мелочью.
От Игарки ельник мне, сойдя с ума, кивал,
Я бы Богу помолился — не умел ещё.
Как я спасся, как я выгреб, как лежал в траве,
Как товарищи вливали водку в глотку мне,
Всё забыл, остались только крохи жалкие,
Стариковские мои огни болотные.
И увидеть не помогут ни одни очки,
Как несёт меня тугой поток на лодочке,
Как висит вся жизнь моя на тонкой ниточке,
Как бежит мой друг по берегу в пилоточке...

3. Кирпичный завод

Когда колёса долбят: «Ухта, Инта, Воркута...»,
Кому охота ехать в гиблые эти места?
Но саднит моя память, до боли свербит, дерёт:
Стучат, кричат колёса про старый кирпичный завод.





В тридцати километрах от этой твоей Воркуты,
Где горят мосты, где снега чисты, а дома пусты,
Где речка Юньяха до дна застыла в пространстве густом,
Лежит мой родич, еврей — под святым православным крестом.

Их в тридцать восьмом уравнил трибунал, побратал расстрел —
Пятьсот мужиков, пятьсот затоптанных в землю тел.
Не выдалось согнуть моей родне на большой войне,
Потом за всех мой отец отвоевал вдвойне.

Как стоял я, вчерашний солдатик, и плакал о том...
Как хватал этот горький воздух своим обветренным ртом...
И северный ветер выл, и каменный воздух был —
И горели мосты, но снега оставались чисты.

4. Григорий

Бывший вор Григорий (знаю, бывших воров не бывает),
Жил в забытом балке на границе тундры и леса.
По наколкам на сморщенной коже читалась судьба кривая,
А якутская малица как от парши облезла.

Сколько лет ему было — двадцать пять, пятьдесят или триста...
Он ушёл от людей, прислонился к зверью и деревьям.
Не боялся морозов, полярных ночей и риска,
И казалось — он вырос здесь, словно коряга, древний.

Бывший вор Григорий свалил по снежку оленя,
Под балком вырыл погреб, набил его льдом и рыбой.
Только чая и хлеба, да махорки для зимней лени
Не хватало ему... «Солдатики, вы помогли бы!»

Я его приручал, как шального полярного волка,
Пил чифирь, слушал байки, и он становился добрее.
Угощал пацанов на морошке настоящей водкой
И всё шутки шутил про морозоустойчивого еврея.

Уезжали, когда эта тундра от края до края
Синим, красным цвела, словно вынырнула из мрака...
Бывший вор Григорий (да, бывших воров не бывает)
На пороге стоял, желваками играл, не плакал.

5. Шаман

Говорил мне шаман Мандаров Алдан,
Стрельнув папиросу, глядя в упор:
— Ты пришёл к нам, солдатик, плати же дань:
Бутылку спирта и «Беломор».
Он священный огонь кормил с руки,
Он камлал, и на всё доставало сил,
Ел с ножа оленину, пил из реки,
И рычал, и чайкою голосил.
А за что сидел он, зачем увезли...
Просто так, без дела, не упекут!

Да ещё загнали на край земли,
В беспредельный город, чужой Усть-Кут.
На щеках Алдана — зарубки лет,
Но бесшумен бег и тугой кулак,
И такого второго шамана нет
На великом озере Укулях.
Здесь железная рыба подземных рек,
Белый конь и навеки седой орёл,
Здесь не выживет разве что человек...
— Да зачем он нужен! — Алдан орёт.
И кричит шаман, словно птичий хор,
У него для этого свой резон...
И срывается с места наш вездеход,
И как будто падает за горизонт.

* * *

Валентину

Снова яблони тяжело плодами больны,
Снова трогают землю ветвями.
И заметно, что лист отдаёт без борьбы
Эту землю, забытую нами.

В одичавшем саду хорошо помереть
В будний день, предположим, что в среду.
И уже растворившись почти что на треть,
Закатиться под вечер к соседу.

И немного поесть, и немного попить,
И спросить самогона с калиной...
И найти, и срастить поврежденную нить
Жизни, ставшей негаданно длинной.

И блаженно смотреть, как текут искони
Стаи птиц, расчертивших полкрая.
Привалиться спиной к деревянной стене
И дышать, ничего не желая.



Валерий РОНЬШИН

АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ ЧЕСНОКОВ-БОГДАНОВ

Очерк о жизни и творчестве

Выдающийся русский художник Аркадий Петрович Чесноков-Богданов (1873—1958) за свою долгую творческую жизнь написал более тысячи картин и этюдов. Поклонники не уставали ему поклоняться, а завистники не уставали завидовать. Сам же А. П. Чесноков-Богданов создавал все новые и новые шедевры, постоянно давая повод как для новых поклонений, так и для новой зависти и клеветы.

Картины А. П. Чеснокова-Богданова поэтичны и воздушны, светлы и умиротворенны (чего, увы, нельзя сказать о его жизни, которая была отмечена явной печатью трагедии). С виртуозным мастерством Чесноков-Богданов воссоздал на своих полотнах необыкновенно целостный образ России. Значение А. П. Чеснокова-Богданова для русского искусства трудно переоценить, оно поистине огромно. Он был первым российским художником, объединившим жанровую картину с эпическим пейзажем, он положил начало целой школе новой исторической живописи. Он стал основоположником русского бытового жанра, он по праву считается «отцом» русского художественного авангарда и создателем принципиально новой портретной концепции. Кроме того, он внес большой вклад в русскую батальную живопись как живописец-баталист и не менее существенный вклад в русскую «морскую» живопись как живописец-маринист. Бытовало даже такое авторитетное мнение, что если бы на весы истории на одну чашу были положены все картины всех русских художников XVIII—XX веков, а на другую — одни только работы кисти А. П. Чеснокова-Богданова, то последние перевесили бы. Не оспаривая это утверждение, заметим лишь, что если краткость считается сестрой таланта, то крайности — это родные сестры ошибки.

Как бы там ни было, нет сомнений в том, что А. П. Чесноков-Богданов — выдающийся русский художник, определивший пути развития русского искусства. Бесспорно и другое: личность А. П. Богданова-Чеснокова ценна и с точки зрения культуры вообще, независимо от профессиональных достижений этого выдающегося во всех отношениях мастера.

Аркадий Петрович Чесноков-Богданов родился 12 января 1873 года в крохотном городке Малые Грязи, который располагался на берегу Волги, как раз посередине между Самарой и Саратовом. Родители Чеснокова-Богданова были людьми небогатыми, можно даже сказать — бедными. Отец работал сапожником, мать служила горничной. Денег в доме всегда не хватало, зато с избытком было того, чего не купить ни за какие деньги — родительской любви.

Склонность к рисованию обнаружилась у Аркадия Петровича уже в младенческом возрасте. В это трудно поверить, однако сей факт подтвержден лично Чесноковым-Богдановым, который вспоминал: «Когда мне было меньше года, я расписал свою люльку». А уже в пятилетнем возрасте на сахарной оберточной бумаге цветными карандашами он нарисовал первую свою картину.

Маленькие дети смотрят на все одинаково. Лишь взрослея и приобретая осмысленный взгляд, они начинают отличаться друг от друга. Глядя в лужу, одни видят лужу; другие же смотрят в лужу, а видят отражающиеся в ней облака, плывущие по небу. Именно таким мальчиком, видевшим в луже облака, и был маленький Аркаша. Душа его была не просто открыта, но широко распахнута для восприятия всего прекрасного, поэтому совсем не удивительно, что в его душе пробудился талант живописца.

Отец его, Петр Сергеевич, одобряя увлечение сына, подарил ему акварельные краски, и юный художник стал рисовать все подряд, но более всего — соседских девочек-близняшек, своих сверстниц. Мать, Дарья Пантелеймоновна, нарадоваться не могла на своего Аркашеньку, но в то же время опасалась зависти недоброжелателей, которая неизбежно сопутствует всякому человеку с ярко выраженным талантом.

Как известно, кто чего боится, то с тем и случится... Аркадий (а было ему в ту пору одиннадцать лет) в очередной раз нарисовал девочек-близняшек, а они возьми да и утони в Волге. И потянулся по Малым Грязям грязный слушок, что «кисть-то у мальчонки бесовская». И под Вербное воскресенье озверевшая толпа малограждаников, под предводительством местного батюшки, с вилами и топорами направилась к дому Чесноковых-Богдановых «изгонять беса». Только счастливое стечение обстоятельств спасло юного художника от неминуемой гибели: в этот момент он находился в гостях у своего московского дядюшки.

Вот так зачастую в жизни и бывает. Его величество случай правит на Земле бал. Не отправь родители мальчика в Москву, не было бы сейчас в сокровищнице русского изобразительного искусства гениальных полотен художника Чеснокова-Богданова. Скольких же неизвестных миру Моцартов, Пушкиных и Ньютонов недосчиталось человечество на этом свете лишь только потому, что они, в силу разных причин, слишком рано отправились на тот свет. А сколько их, по тем или иным причинам, на этот свет не явилось вовсе?.. Этого мы не знаем и не узнаем никогда.

Что же касается А. П. Чеснокова-Богданова, то он, к счастью для почитателей русского искусства, оказался в нужное время в нужном месте, чего отнюдь не скажешь о его родителях, которым пришлось своими жизнями расплатиться за дарование сына.

Родной брат Петра Сергеевича, Федор Сергеевич, служил сторожем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Это обстоятельство сыграло немаловажную роль в становлении будущего художника. Жизнь при училище, как в духовном, так и в бытовом плане, способствовала дальнейшему развитию в мальчике творческих наклонностей. Фигурально выражаясь, сторожка дяди послужила Аркадию трамплином для прыжка в волшебный мир искусства.

К тому времени детское увлечение живописью переросло в юношескую страсть, и стезя художника явственно определилась как предназначение на всю оставшуюся жизнь. Федор Сергеевич, заменивший Аркадию отца, показал рисунки начинающего художника И. М. Прянишникову — без сомнения, одному из самых выдающихся передвижников и к тому же (что в данном случае особенно важно) — преподавателю Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Мастер, едва взглянув на представленные работы, заметил и по достоинству оценил таящийся в юном авторе талант живописца, — на то ведь он был и мастер. И рекомендовал юному художнику держать экзамен в училище живописи.

В 1890 году семнадцатилетний Чесноков-Богданов поступает в училище живописи, ваяния и зодчества. Так начинается его приобщение к большому искусству.

В те годы Московское училище живописи, ваяния и зодчества считалось одним из лучших учебных заведений России. Там преподавали истинные мастера своего дела. Достаточно сказать, что одним из преподавателей был выдающийся русский художник В. Д. Поленов.

На всю жизнь запомнил Чесноков-Богданов своих учителей, их человеческие и творческие уроки. «Я любил их, я верил им», — писал он впоследствии. И преподаватели тоже полюбили талантливого ученика. По свидетельству очевидцев, юный художник «мягкостью своего характера и нежными, почти девичьими чертами лица снискал большое расположение у преподавательского состава. Мальчик никогда никому ни в чем не отказывал и неделями жил то у одного преподавателя, то у другого». Стоит ли говорить, что при такой всеобщей любви Аркадий учился просто-таки блестяще, получая за свои ученические работы одну золотую медаль за другой.

Ежегодно в училище проводились ученические выставки, вход на которые был открыт для всех желающих. Молодые художники всегда с трепетным волнением готовились к таким выставкам, предоставлявшим возможность показать картины самому широкому зрителю. Присутствовал здесь еще и чисто практический интерес: приходящие на выставку любители живописи иной раз покупали понравившиеся им работы. И вот на ученическую выставку 1898 года (Чесноков-Богданов учился тогда в головном классе) пришел сам П. М. Третьяков, собиратель работ для национальной галереи, и приобрел ученическую работу начинающего художника Аркадия Чеснокова-Богданова — картину «Воришка», на которой был изображен мальчик-вор.

Для любого начинающего художника это было венцом самых смелых мечтаний! Уже тогда на Третьяковскую галерею смотрели как на национальное достояние, и приобретение Третьяковым того или иного произведения расценивалось как факт весьма значительный. Покупка же для галереи работы ученика с ученической выставки была событием беспрецедентным! Словом, это был бесспорнейший успех, то есть то, чего люди меньше всего прощают. Неудивительно поэтому, что А. П. Чесноков-Богданов сразу же приобрел злобных завистников в лице своих менее талантливых однокашников, которые не преминули распусть по училищу слух, что образ воришки столь удачно получился лишь только потому, что имеет явные автобиографические корни: якобы и сам Чесноков-Богданов приворовывал в детстве.

Но, как говорится, собака лает, а караван идет. Уже в следующем, 1899 году, на XIX выставке Московского общества любителей художеств А. П. Чеснокову-Богданову за картину «Умиравший» достается первая премия имени В. П. Боткина. Новая удача начинающего художника породила и новых завистников (уже в среде профессиональных художников), что, в свою очередь, повлекло новую волну сплетен. Дело в том, что при создании «Умиравшего» моделью художнику служил его дядя. В молодости Федор Сергеевич был шутник и балагур, но с годами впал в меланхолию, затем в ипохондрию. К моменту же написания картины он находился в глубокой депрессии; вдобавок к этому еще и простудился, занемог и слег — сделавшись просто-таки идеальной натурой для художника. Федору Сергеевичу даже позировать не надо было — все черты умирающего были, как говорится, налицо.

Для образа скорбящей жены, сидящей у кровати умирающего мужа, художник тоже нашел более чем подходящую натурщицу — свою троюродную сестру, которая на тот момент ждала нежеланного ребенка и была этим фактом весьма удручена.

Неудивительно, что картина получилась весьма убедительной: на кровати лежит умирающий, рядом, вся в горе, сидит его беременная жена и думает, видимо, о том, как же она будет жить после смерти мужа. Закономерно, что мастерство художника было оценено по достоинству, доказательством чего послужило присуждение премии.

Но надо же было случиться такому совпадению, что как раз в день получения Чесноковым-Богдановым премии скоропостижно скончался Федор Сергеевич, более того — в этот же самый день от неудачных родов умерла троюродная сестра Чеснокова-Богданова, произведя на свет мертвых тройняшек. Завистники сразу же припомнили Аркадию Петровичу девочек-утопленниц из его родного городка, и уже не по Малым Грязям, а по большой Москве пополз грязный слухок о якобы бесовских свойствах кисти молодого художника. Тем не менее «Умиравший» продолжил свое победное шествие: в том же 1899 году картина экспонируется на XXVII выставке передвижников — той самой, на которой впервые появились «Переход Суворова через Альпы» В. И. Сурикова, «Портрет Н. А. Римского-Корсакова» В. А. Серова, «Буря-дождь» И. И. Левитана и еще ряд полотен, которые по праву



считаются шедеврами русского искусства. А в следующем году «Умиравший» получает малую золотую медаль и большую денежную премию на одной из академических выставок. Обе премии — «боткинская» и «академическая» — дали возможность новоиспеченному живописцу совершить заграничное путешествие, продолжавшееся около трех месяцев.

Первым делом А. П. Чесноков-Богданов отправился в Стокгольм, посмотреть полотна скандинавских мастеров, в частности — Цорна и Таулоу, которые ему крайне не понравились; в Голландии он увидел картины Рембранта, которые показались ему «мертвыми и нарочитыми»; знакомство с работами старых немецких художников в Германии оставило молодого русского художника совершенно равнодушным. Затем странствующий живописец прибыл в мировую столицу искусств — Париж, где на него не произвели никакого впечатления ни достопримечательности, ни французская живопись. «До невыносимости скучны все эти коро, руссо и прочие добиньи», — писал он в Россию. Также не вдохновили русского живописца ни шведская природа, ни голландская, ни немецкая, ни французская... «Мотивы здесь собирать, думаю, не стоит, — отмечал Чесноков-Богданов в другом письме, — они чужды мне, как и каждому русскому». Художника неудержимо влекло на родину. «Европа, конечно же, по-своему хороша, — не отрицал он, — но Россия мне милей в сто тысяч раз. Хочется русской баньки, русских девок и русской водки...» Понятно, что это письмо писалось молодыми человеком в минуты тягостной тоски по родине, оттого-то оно так эмоционально заострено. Именно эти эмоциональные откровения и дали впоследствии повод инсинуаторам обвинить художника в пьянстве. На самом же деле А. П. Чесноков-Богданов беспощадно боролся своей кистью с этой пагубной российской болезнью, каковою и по сию пору страдает подавляющее число россиян. В 1901 году художник создает свое этапное полотно «Русская болезнь», на котором со скрупулезной точностью переданы все симптомы страшного недуга. На портрете мы видим лицо человека, пьющего давно и беспробудно. Это как бы собирательный образ всех пьющих сограждан. Вершиной же написанных на эту тему полотен является безусловный шедевр А. П. Чеснокова-Богданова «Пьяненькие», однозначно воспринятый тогдашней прогрессивной частью российского общества уже как эпический образ пьющей России. Хорошо известен и еще один Chesnokov-Bogdanov шедевр, уже лишь косвенно затрагивающий вышеозначенную тему. Это его знаменитая картина «Убогие», над которой Чесноков-Богданов с перерывами работал в течение пятнадцати лет (!) — с 1900 по 1915 год. Интересно, что первоначальное название картины было намного длиннее: «Убогие, юродивые, сумасшедшие, проходимцы и воры». Стоит ли говорить, что и это произведение — так же, как и его неизбежные «Пьяненькие» — символизирует духовное величие русского народа.

В первые же после возвращения из-за границы месяцы А. П. Чесноков-Богданов написал целую серию прекрасных статей о своем творчестве. Со свойственной ему скромностью, которую он как знамя гордо пронес через всю жизнь, Аркадий Петрович публиковал все эти статьи под псевдонимом. В одной из статей Чесноков-Богданов писал о себе: «Этому молодому живописцу уже все по плечу. Талант его всеобъемлющ и всемогущ. Кого из ныне живущих художников можно поставить рядом с ним? — спрашивал А. П. Чесноков-Богданов в своей статье и сам же отвечал на свой вопрос: — Никого!» И далее: «Оптимизм и жизнеутверждающее начало в творчестве А. П. Чеснокова-Богданова — это новое слово в русской живописи. Возьмем, к примеру, его полотно “Повесившийся мальчик” — оно оптимистично и жизнеутверждающе, хотя тема, взятая художником в качестве сюжетной основы, далека от оптимизма, радости, да и от самой жизни. Но таков уж божий дар этого незаурядного живописца — его волшебная кисть, словно сказочная волшебная палочка, умеет творить чудеса».

В 1902 году в Петербурге состоялась первая персональная выставка А. П. Чеснокова-Богданова, на которой бесспорный успех имела его картина «Девочки-утопленницы», навеянная воспоминаниями детства и положившая начало целому циклу работ, героями которых стали утопившиеся девочки. Илья Ефимович Репин, побывавший на этой выставке, восторженно писал Чеснокову-Богданову: «Истинный Бог, душою отдыхаешь, глядя на ваших девочек-утопленниц, недаром говорится: “Хорошие дети — это мертвые дети”».



Но солидаризируясь с И. Е. Репиным во всем, что касалось русской живописи, А. П. Чесноков-Богданов расходился с ним в том, что касалось детей. Аркадий Петрович очень любил детей. Впоследствии он писал в своих воспоминаниях: «Я очень люблю детей, в особенности — девочек-подростков в очаровании переходного возраста от детства к девичеству...» За свою долгую творческую жизнь А. П. Чесноков-Богданов создал целый ряд пленительных девичьих образов («Девочка с котенком», «Девочка с козленком», «Девочка с цыпленком» и др.). Героини Чеснокова-Богданова — девочки, неоформившиеся физически и неопределившиеся морально, но именно в этой неоформленности и неопределенности художник видел особую прелесть девичьего образа.

На отеческую любовь художника девочки отвечали ему своей еще неумелой и угловатой любовью. Они готовы были позировать Чеснокову-Богданову днями и ночами (мастер частенько творил по ночам). Вот как спустя годы писала об этом одна из бывших девочек: «Аркадий Петрович ни одну из нас не выделял особо, он любил нас всех одинаково. После бессонной ночи он никогда не отпускал нас с пустыми руками, щедро одаривая всевозможными сладостями — то кусочек сахара даст, то леденец, а то и пряничек».

Впоследствии, когда на Россию опустилось черное крыло красного террора, А. П. Чесноков-Богданов не только одаривал девочек «сахарком и пряничками», но и давал им деньги на избавление от нежелательной беременности. По тем временам такой поступок был самым настоящим подвигом, потому что в стране существовал строгий запрет на аборт. Но А. П. Чесноков-Богданов сознательно шел на смертельный риск ради светлого будущего своих девочек, он не мог поступить иначе. Потому что так ему подсказывала совесть настоящего художника человека.

На протяжении всей жизни А. П. Чеснокова-Богданова неудержимо влекли к себе не только девочки-подростки, но еще и туманные дали. Великий русский художник со свойственным ему величием постоянно варьировал тему тумана. В 1903-м году Чесноков-Богданов пишет картину — «Туман уходит»; в 1908 году — «Туман возвращается». Истинным гимном российскому туману по праву считается бессмертное творение художника, написанное им еще в ученические годы — «Россия в тумане». Идею этого полотна Аркадию Петровичу подсказал его друг и однокурсник по училищу В. Г. Ковригин, который и нарисовал эту картину, поставив на ней свою подпись. Но когда «Россию в тумане» приобрел известный коллекционер П. М. Третьяков, он соскреб подпись В. Г. Ковригина и собственноручно поставил подпись А. П. Чеснокова-Богданова, мотивируя свой поступок тем, что «хоть полотно от начала до конца написано В. Г. Ковригиным, однако же все в нем говорит о манере живописи, свойственной А. П. Чеснокову-Богданову». Удрученный столь неблагоприятным для него обстоятельством, В. Г. Ковригин покончил с собой, о чем А. П. Чесноков-Богданов неоднократно сожалел впоследствии. Он с грустью писал: «Безмерно жаль беднягу Ковригина, из него со временем мог бы получиться неплохой художник».

Таким образом, А. П. Чесноков-Богданов уже на рубеже веков был вполне состоявшимся художником, со своими темами и взглядами. В двадцатом веке художник пишет столь же много, вдохновенно и разнообразно, как и в девятнадцатом. Значительную часть творческого наследия А. П. Чеснокова-Богданова начала века составляют портреты.

Здесь следует отметить одну характерную деталь, присущую творчеству не только А. П. Чеснокова-Богданова, но и почти всем художникам-передвижникам. Будучи реалистами, они представляли зрителю портретируемого таким, каким он и был в жизни, не скрывая его недостатков — и духовных, и физических. Об этом красноречиво свидетельствуют такие работы Чеснокова-Богданова, как «Глухой композитор», «Слепой литератор», «Немая певица»... и многие другие.

Но мастер отнюдь не заикливается на портретах, параллельно создавая еще и пейзажи. Как истинный волшебник кисти, Аркадий Петрович умел нарисовать и свежесть ветра, и яркость солнца, и «звон мошкары, что в горячих лучах клубится» (по выражению французского поэта Жака Превра). Пейзажные работы художника отмечены особой задумчивостью и лиричностью, о чем говорят даже их названия:



«Весенний дождик», «Зимний морозец»... Пейзажам А. П. Чеснокова-Богданова без сомнения созвучна пушкинская поэзия. Глядя на тот же «Зимний морозец», сразу же вспоминаются бессмертные строки: «Мороз и солнце! День чудесный!» Как-то по-особенному светит на картине солнце, крепчает на полотне мороз. И вот оно, настоящее чудо настоящего искусства, неоднократно отмечаемое специалистами и простыми зрителями: глядя на «Зимний морозец», начинаешь невольно шуриться от ярких лучей нарисованного солнца и явственно ощущать, как нарисованный мороз пощипывает твои уши и нос. Похожие ощущения оставляет и картина «Весенний дождик». Критики не раз утверждали, что это полотно производит ярко выраженное «освежающее впечатление». В качестве курьеза отметим тот факт, что особо впечатлительные зрители, в особенности же зрительницы, посмотрев на «Весенний дождик», подхватывали легкую простуду, словно бы они и впрямь промокли под весенним дождем.

Но квинтэссенцией данного феномена является впечатление, которое производит на зрителей шедевр мастера 1910 года «Горгона Медуза», позволяющий, применительно к творчеству А. П. Чеснокова-Богданова, говорить о так называемом «синдроме Стендаля» (сильное эмоциональное потрясение от произведения искусства). На своем полотне художник изобразил эпизод из греческого мифа о Медузе, взгляд которой превращал людей в камни. Картина производит зловещее впечатление: горгона — подобие живого мертвеца, фон картины — мрачнее некуда. Но есть во всем этом нечто неодолимо притягательное и прекрасное. Представители не одного поколения зрителей, в особенности же зрительниц, закончили свои дни в сумасшедшем доме, встретившись взглядом с нарисованными глазами чесноково-богдановской Горгоны.

Чтобы достичь таких потрясающих эффектов, А. П. Чесноков-Богданов прикладывал поистине титанические усилия. Он был сам для себя и суровый судья, и не менее суровый критик. Художник не спешил выставлять свои новые картины на выставках, упорно работая над ними до тех пор, пока они полностью не приходили в соответствие с его строжайшим художественным вкусом.

Тщательнейшим образом прорабатывал мастер мельчайшие детали на своих полотнах, добиваясь скрупулезной точности передачи природы. К примеру, на картине «В женской бане» виден каждый отдельный листочек на вениках, которыми парятся женщины. А в одном из своих писем к И. И. Левитану Чесноков-Богданов пишет, что он «особенно занят изучением животных», потому что для написания картин, на которых присутствуют коровы и лошади, ему обязательно надо знать их анатомическое строение. Для этих целей Чесноков-Богданов не раз посещал городские скотобойни, где водил дружбу со скотобоями. Также Аркадий Петрович был завсегдаем городских моргов. «Я должен знать архитектуру человека, — писал художник, — его пропорции, костяк и мускулатуру, те незыблемые, вечные законы его построения, тот абсолют его архитектуры, которые так хорошо знали великие мастера прошлого». Подобные интересы А. П. Чеснокова-Богданова нередко обрастали грязными домыслами, распускаемыми недоброжелателями Аркадия Петровича. Если верить этим недоброжелателям, то Чесноков-Богданов посещал скотобойни и морги якобы для отправления там своих противоестественных нужд. Но им, недоброжелателям, конечно же, никто не верит. В своем злословии клеветники порой доходили до полного абсурда. К примеру, когда художник создал блестящую серию офортов под общим заглавием «Преступная Москва», завистники распустили слух, что Аркадий Петрович, чтобы сделать свои работы как можно более правдоподобными, вступил в банду грабителей и вместе с ними участвовал в разбоях и грабежах на улицах вечерней Москвы. Оставим эти досужие вымыслы на совести их сочинителей, каковая, впрочем, у них несомненно отсутствует.

В начале XX века творческая деятельность А. П. Чеснокова-Богданова определялась гармоническим сочетанием его таланта, вкуса, мастерства и трудолюбия. За что бы ни брался замечательный художник в это время, будь то пейзажи, исторические полотна, портреты, акварели, офорты или миниатюры, все его работы становились подлинными шедеврами.

Но жизнь почему-то так устроена, что у истинных талантов творческий успех нередко сопровождается жизненными неудачами. Не избежал этой участи и

А. П. Чесноков-Богданов. Такой катастрофой был его скоропалительный брак с Варварой Васильевной Селиверстовой, дочерью известного московского промышленника В. Д. Селиверстова. Делая предложение сей девице, Аркадий Петрович не без оснований полагал, что этим браком он сможет раз и навсегда решить все свои финансовые вопросы и всецело отдаться высокому искусству. Но, как говорится, человек предполагает, а располагает кто-то другой... Очень скоро В. Д. Селиверстов разорился и застрелился. Обладая врожденной порядочностью, А. П. Чесноков-Богданов не расстался тотчас же с Варюшей (так он называл жену в редкие минуты нежности), о чем впоследствии неоднократно сожалел. «Брак их не был счастливым, — вспоминала праправнучка художника. — По-видимому, они не сошлись характерами». Действительно, характер у Варвары Васильевны был просто чудовищный — она была законченной истеричкой и невротичкой. И к тому же, как вскоре выяснилось, еще и алкоголичкой. Варвара Васильевна по нескольку раз в день накачивалась алкоголем и закатывала мужу сцены с криками, истериками и проклятиями. Вдобавок к этому, к ней все чаще и чаще стали захаживать сомнительные личности. Из комнаты Варвары Васильевны всю ночь напролет слышалась то возня, то самая непристойная брань, то звон разбитого стекла. Аркадия Петровича все это до крайности раздражало. Он никогда не выходил из мастерской к гостям жены, ссылаясь на свою занятость. Зато сама Варвара Васильевна частенько навевывалась в его мастерскую после своих пьяных загулов. Она страшно скандалила и сквернословила, отвлекая художника от творческого процесса. Аркадий Петрович пытался ей помочь, но, как известно, женский алкоголизм неизлечим. Бессилие художника изменить ситуацию к лучшему вылилось в целый ряд полотен с такими говорящими названиями, как «Землетрясение», «Наводнение», «Извержение», «Тайфун» и «Шторм». Все эти работы напрямую говорят о бессилии человека перед стихией, а косвенно — о бессилии самого Аркадия Петровича перед разбушевавшейся Варюшей.

Одним словом, беспробудное пьянство жены вконец истерзало и без того уже истерзанную душу художника. Долго это, конечно, продолжаться не могло. Однако продолжалось долго. А закончилось — в одночасье. В ночь Светлого Воскресения Христова Варвара Васильевна была зарублена топором в своей спальне. Эта трагедия вызвала мощную волну слухов, прокатившихся по всей Москве. Волна эта быстро докатилась и до следственных органов: Аркадий Петрович был взят под стражу и предан суду по обвинению в умышленном убийстве своей жены. Адвокатом на процессе выступил небезызвестный Ф. Н. Плевако, который в своей вдохновенной защитительной речи аргументировано доказал, что Варвара Васильевна в приступе белой горячки сама себя зарубила топором. А. П. Чесноков-Богданов был оправдан по всем статьям и выпущен на свободу. И опять не обошлось без слухов: якобы к судебному разбирательству руку приложил сам «старец Григорий», Г. Е. Распутин, портрет которого Аркадий Петрович как раз в это самое время создавал (как многие настоящие русские художники, А. П. Чесноков-Богданов считал своим нравственным и общественным долгом запечатлеть лучших своих современников).

После смерти Варвары Васильевны на руках у Аркадия Петровича остались двое детей: хилый Саша и чахлая Маша. В отличие от своей самозарубившейся жены, которая не выносила своих детей и всячески их третировала, Аркадий Петрович в детях души не чаял. Но это была не слепая отцовская любовь. В своем воспитании Чесноков-Богданов руководствовался прогрессивными идеями великих французских просветителей XVIII века, считавших, что детство — это не время для забав, что настоящему душевному развитию ребенка способствует не радость и душевный комфорт, а перенесенные в детстве страдания. Об этом в частности писал Жан-Жак Руссо в своем знаменитом трактате «О воспитании»: «Как можно больше мучайте, мучайте и мучайте своих детей; когда они вырастут, они скажут вам за это спасибо». Эти слова великого педагога и гуманиста А. П. Чесноков-Богданов воспринял как руководство к действиям и так в этих действиях преуспел, что чуть было снова не попал под суд с формулировкой обвинения «за жестокое обращение с детьми». Так душная атмосфера консерватизма и реакционности России тех лет не позволили Аркадию Петровичу довести свои благородные начинания до конца. Художник был вынужден отдать дорогих ему Машу и Сашу в сиротский приют. Лишенные про-



грессивного отцовского воспитания, дети выросли ничем не примечательными людьми и никак себя не проявили впоследствии ни на ниве искусства, ни на какой-либо другой ниве. Прожили они жизнь недолгую и несчастливую и умерли в один день, так и не сказав Аркадию Петровичу «спасибо».

После вынужденного расставания с детьми А. П. Чесноков-Богданов, чтобы восстановить пошатнувшееся душевное равновесие, опять женился. На сей раз — удачно. Его новой избранницей стала Валерия Михайловна Ропшина. В то время Валерии Михайловне шел двадцать первый год; это была довольно миловидная девушка, темноволосая, стройная, с приятным голосом и небесно-голубым взором. В апреле 1909 года Аркадий Петрович и Валерия Михайловна обвенчались. А дальше все пошло накатанным путем. Уже в мае того же года у них родилась дочка, названная Тонечкой, а еще через год появилась вторая дочка, названная Сонечкой. И потекли дни, осененные тихим семейным счастьем и бурными творческими свершениями.

В этот период А. П. Чесноков-Богданов отдает предпочтение библейским сюжетам. Из «библейской» серии мастера наиболее известна его работа «Христос и грешница». В образе Христа Аркадий Петрович изобразил самого себя, в образе кающейся грешницы — Валерию Михайловну. Картина «Христос и грешница» была приобретена лично императором. За это же полотно Чесноков-Богданов, помимо денежного вознаграждения от императора, получает еще и звание академика от Петербургской академии художеств, где и преподает вплоть до 1916 года.

Заслуги А. П. Чеснокова-Богданова как педагога Академии поистине огромны. К своей преподавательской деятельности Аркадий Петрович относился так же, как и к своему творчеству — добросовестно, отдавая преподаванию все свое время и все силы. Он был и строг, и ласков с учениками. Строг, но справедлив. Ласков, но требователен. Цель же была одна — привить воспитанникам любовь к искусству и научить их этому искусству. Неудивительно поэтому, что многие ученики от чистого сердца дарили своему любимому учителю подарки, что послужило поводом для очередных грязных инсинуаций в адрес Аркадия Петровича — будто бы это были не подарки, а вымогаемые им взятки. И еще более грязным инсинуациям подверглась дружба Чеснокова-Богданова с некоторыми из своих учеников.

Надо сказать, что Аркадий Петрович никогда не опускался до полемики со своими так называемыми «оппонентами». Лишь однажды, мимоходом, со свойственным ему юмором художник заметил в одном частном письме: «Фланируешь по Невскому с пылким молодым человеком — вот ты уже и гомосексуалист. Резво скачешь с мальчишками и девчонками, участвуя в их зажигательных проделках — вот ты уже и педофил. Степенно прохаживаешься под ручку с пожилой дамой, — ну и кто ты после этого, как не геронтофил?! Выйдешь поздним вечерком из кладбищенских ворот — и вот уже готово обвинение в некрофилии. Выведешь свою лучезарную Лауру (*прозвище суки Чеснокова-Богданова*) на вечернюю прогулку — сразу же за этим выводом следует другой вывод: ты зоофил. О, времена!.. О, нравы!.. Только и остается, что общаться с аквариумными рыбками, да и то при задернутых шторах».

Самым любимым учеником А. П. Чеснокова-Богданова в Академии был А. Н. Саркомов, творческие и человеческие качества которого Аркадий Петрович высоко ценил. Об этом говорит хотя бы такой факт: в качестве дипломной работы Саркомов представил на суд преподавателей свое историческое полотно «Первая встреча Игоря и Ольги». Картина получилась удачная, но «мертвая», в ней не хватало завершающего мазка, чтобы она «оживала». И Аркадий Петрович своей волшебной кистью сделал этот мазок. После чего «Первая встреча Игоря и Ольги» по праву заняла свое достойное место среди его исторических работ. Саркомов же впал в отчаяние, пытаясь утопить это отчаяние в вине (традиционный для России способ борьбы с отчаянием), и после очередного многодневного запоя наступил летальный исход. «Безмерно жаль беднягу Саркомова, — с грустью писал А. П. Чесноков-Богданов, — из него со временем мог бы получиться неплохой художник».

В своей преподавательской деятельности А. П. Чесноков-Богданов большое внимание уделял искусству написания картин, считая это основой основ искусства живописи. «В создании картины, — неоднократно внушал мастер ученикам, — самое главное — это написать картину, а краски и все остальное можно купить в лавке».

Аркадий Петрович старался привить ученикам прежде всего любовь к работе, лишь потом следовали его наставления по самому искусству. «Написать картину — это работа, — говорил он не раз и не два, — а вот продать ее — это искусство».

К слову сказать, в искусстве продажи своих полотен Чесноков-Богданов преуспел более чем. В Аркадии Петровиче гармонично сочетались на первый взгляд несочетаемые в творческой личности черты — талант художника и практическая сметка. И это нисколько не умаляло его ни как художника, ни как человека. На прямые обвинения всякого рода посредственностей от искусства в том, что художник ведет себя, как матерый дельца, копируя десятки раз свои работы и продавая копии в разные места, Чесноков-Богданов всегда невозмутимо отвечал любимой строчкой любимого поэта: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». К продаже своих «рукописей» (читай — картин), Аркадий Петрович относился столь же ответственно, как и к написанию их. «Он умел торговаться, — с нескрываемым восторгом писал о Чеснокове-Богданове П. М. Третьяков. — Умел не уступить ни копейки. Даже я, человек практической сметки, тертый калач, и то бывало диву давался, как он умело выторговывал у меня за свои маленькие полотна большие деньги».

Несмотря на то, что педагогическая работа отнимала у А. П. Чеснокова-Богданова все его время и силы, он каждый год отправлялся в многомесячные путешествия по России. В своем пейзажном творчестве А. П. Чесноков-Богданов тяготел к северу («На Белом море»), с не меньшей силой любил он и юг России («На Черном море»). Привлекала художника и величавая ширь российских рек («На Волге», «На Дону», «На Каме», «На Оке» и др.).

Но судьба готовила Чеснокову-Богданову новый удар. Врачи поставили Аркадию Петровичу страшный диагноз. Жить замечательному художнику оставалось считанные дни. Все домашние молились за его здоровье. Все надеялись на чудо. И чудо произошло, молитвы помогли. Но все же А. П. Чеснокову-Богданову пришлось расстаться с жизнью. К счастью, не со своей. Страшно даже представить, скольких безусловных шедевров лишился бы мир, покинь его замечательный художник в столь неурочное для себя время.

Аркадий Петрович вспоминал те страшные дни: «К счастью для меня, но к несчастью для нашей Мышки (домашнее прозвище младшей дочери художника Сони), болезнь моя неведомыми путями и перепутьями перешла в ее маленькое хрупкое тельце. О, если бы Господь дал мне право выбора — стать ли мне равным по таланту Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэлю или же спасти Мышку, я, не раздумывая ни мгновенья, выбрал бы жизнь нашего кудрявого ангелочка. Но, увы... Бог наградил меня творческим даром, равным по силе дару трех гигантов Возрождения, но отнял у меня мою любимую дочурку. Искусство требует жертв...»

А. П. Чесноков-Богданов увековечил Соню на своем знаменитом полотне «У постели обреченной дочурки». А следом был создан другой шедевр мастера — «У постели умирающей жены». Дело в том, что Валерия Михайловна не смогла перенести смерть дочери и покончила с собой, приняв яд, словно романтическая героиня XVIII века. Последние часы жизни отравившейся жены Чесноков-Богданов отобразил не только талантливой кистью художника, но и своим не менее талантливым пером прозаика: «Бледно-прозрачное, как лунный камень, лицо, слабые руки на складках чистого белья; странно сверкающие глаза и грустная улыбка. В приоткрытую форточку сочится сладкий весенний ветерок, в комнате удивительно свежий воздух. Белые нарциссы на столе — цветы запоздалые...»

Как и многие другие выдающиеся творческие личности, А. П. Чесноков-Богданов нашел забвение от жизненных невзгод в искусстве. Он неустанно работает: ищет новые принципы конструирования жизненной среды, тяготеет к музыкальному звучанию колорита, пишет картины в несвойственной ему стилистике «лубочного гротеска». В 1913 году Чесноков-Богданов создает свою этапную работу «Мясная лавка». На красочном полотне мы видим, как два мясника разделявают «тушу» третьего. Кровь широкими и обильными ручьями стекает с разделочного стола на пол. А за приоткрытой дверью «мясницкой» стоит у прилавка продавец, взвешивая покупателям куски парного мяса. Этот предельно простой сюжет превратился под кистью художника-провидца в яркое поэтическое обобщение. Главное в картине — это



предчувствие чего-то грандиозного. «Мясная лавка» была воспринята как символический образ грядущей России. «Так вот почему я написал “Мясную лавку”!» — воскликнул художник, когда узнал о начале мировой войны. После событий 1917 года, впрочем, он повторил то же самое.

К 1917 году А. П. Чесноков-Богданов «земную жизнь прошел до половины» (ему было 44 года, а закончил он свой жизненный путь в 85 лет). Многие современники (да и потомки) упрекали Аркадия Петровича в том, что он в своем творчестве советского периода якобы шел на некий компромисс. На самом же деле, это был никакой не компромисс, а художественное видение: мастер именно так, а не иначе понимал свой путь в искусстве. «Я художник, живущий взволнованной эмоциональной жизнью современности», — писал о себе Чесноков-Богданов. Обостренным слухом истинного творца вслушивался он в шум времени, запечатлевая этот шум на своих бессмертных полотнах. В годы гражданской войны в работах А. П. Чеснокова-Богданова явно звучит грохот тачанок, ржание лошадей, свист сабель («Кавалерийская атака в 1918 году», «Кавалерийская атака в 1919 году», «Кавалерийская атака в 1920 году» и др.). В годы индустриализации с его полотен слышится гул заводских и фабричных цехов. «Даешь тяжелую индустрию!» — так назвал он свою картину 1927 года. В годы коллективизации на полотнах художника колосятся и шумят пшеничные поля («Богатый урожай», «Пшеница колосится», «Колосится пшеница»). В годы же культурной революции с картин мастера доносится тихий шелест перелистываемых страниц («В сельской библиотеке», «В городской библиотеке», «В районной библиотеке»).

В конце 30-х годов XX века А. П. Чесноков-Богданов в своих работах отражает жизнь поэтически, а не критически. Эстетические вкусы эпохи полностью совпадают с эстетическими вкусами художника. Даже труд на полотнах Чеснокова-Богданова не грязен и не изнурителен, а приятен и легок. Таковы его картины 1937-1938 годов — «Исправительно-трудовой лагерь» и «Ударники лесоповала».

Начало 1940-х годов было, пожалуй, самым счастливым периодом в жизни А. П. Чеснокова-Богданова, как в творческом, так и в личном плане. В июне 1941 года Аркадий Петрович повстречал свою новую любовь — Елену Даниловну Сокольскую.

Елена Даниловна была очень красива. Но не поверхностной, внешней красотой, а красотой внутренней, душевной, что неизмеримо ценнее (для тех, кто понимает, конечно) красоты внешней. Внешне же она была неказиста, маленького роста, слегка горбата, с явно выраженным косоглазием и дефектом речи. Купаясь в детстве в Оке, она попала под пароход, потому хромала на обе ноги; в отрочестве, спасая лошадей из загоревшейся конюшни, она получила страшные ожоги, оставшиеся у нее на всю жизнь. Обнаружились у нее и крупные щербины на лице — последствия перенесенной в юности оспы. К искусству Елена Даниловна не имела никакого отношения, но была добрым и отзывчивым человеком. А. П. Чесноков-Богданов ее очень любил, впрочем, как и она его. О большой любви этой маленькой женщины свидетельствует хотя бы такой красноречивый факт. Когда наступили суровые годы Великой Отечественной войны, Елена Даниловна делала все возможное и невозможное, чтобы ее Аркашечка не замечал тягот военного времени. И Аркадий Петрович их не замечал. Более того, А. П. Чесноков-Богданов даже не знал, что идет «война народная, священная война» — Елена Даниловна не сообщила ему об этом. Дабы не травмировать тонкую и ранимую душу художника, она прятала от него газеты и выключала радио, чтобы он не читал и не слышал сводок «от Советского информбюро». Поэтому годы с 1941 по 1945 с полным правом можно назвать самими умиротворенными в жизни и творчестве А. П. Чеснокова-Богданова. Супружеская чета жила в глуши, на берегу лесного озера под названием Тихое, на даче Аркадия Петровича, которую он приобрел еще в 1912 году. Ничего не отвлекало художника от его творческого предназначения. Целыми днями бродил Чесноков-Богданов, слушая тишину на берегах Тихого озера, в прохладном сумрачном лесу или на росистых полях и лугах.

В жизни природы А. П. Чеснокова-Богданова всегда привлекали переходные состояния — от зимы к весне, от весны к лету, от лета к осени, от осени к зиме. Любимым месяцем художника был март. Чеснокову-Богданову как-то по-особенному был близок краткий момент начала расцвета природы, ее пробуждение после

долгой зимней спячки — когда земля еще под снегом, но то тут, то там обнажаются влажные темные островки, потому что весеннее солнышко уже не просто светит, но и пригревает; когда начинают журчать первые ручейки, и это журчание сплетается в пока еще прохладном воздухе с первыми весенними трелями птиц.

Если любимым временем года художника была ранняя весна, то любимым временем суток для него был вечер. Множество раз А. П. Чесноков-Богданов обращался в своем творчестве к теме вечера, когда только-только начинают сгущаться сумерки, в небе появляется бледная луна, отражаясь в спокойной глади озера, а чуть позже высыпают звезды. А какие элегичные и поэтичные названия давал мастер своим полотнам. В 1942 году он пишет картину «Задумчивое озеро», весь 1943 год работает над полотном «Задумчивый лес». Настоящей же жемчужиной этого его творческого этапа явилось незабываемое полотно «Задумчивые поля». Эту картину художник завершил 9 мая 1945 года, в этот же самый день он записал в своем дневнике: «Только что в мастерскую приходила Леночка и сказала, что закончилась война. Какая война?..»

Наступили мирные дни. Страна залечивала свои раны. Но беспокойное сердце художника и тут не знало покоя. Чтобы не мешать стране, А. П. Чесноков-Богданов отправляется в долгое заграничное путешествие. Из этой творческой командировки он привез такие ныне широко известные полотна, как «Бангкок. В притоне курильщиков опиума» (1946), «Париж. В публичном доме» (1947), «Монако. В игорном зале» (1948). Даже не специалисту сразу видно, что эти работы писались Чесноковым-Богдановым с натуры. На всех картинах явственно виднеется колоритная фигура самого художника. Ради правды искусства, ради точности мазка живописец с головой окунулся в тлетворную атмосферу разгула и разврата, но, как истинный художник, вышел из нее еще более обновленным и одухотворенным — создав свои бессмертные творения, которые говорят страстное «нет» разгулу, разврату и тлетвору.

В 1948 году А. П. Чесноков-Богданов вернулся на родину, где его ждал новый удар судьбы: Елена Даниловна без видимых на то причин покончила с собой. Основанием для самоубийства (как считал сам Аркадий Петрович) послужила долгая разлука с любимым мужем, которую не смогло вынести любящее женское сердце. Художник записал в своем дневнике: «Какой-то странный рок тяготеет над всеми моими женами. Все они почему-то кончают с собой. Помнится, Леночка мне как-то сказала: “Даю тебе слово, Аркашечка, что уж я-то точно с собой не покончу”. Но слова своего не сдержала. Вот и верь после этого женщинам».

Похоронив жену, А. П. Чесноков-Богданов совершил длительную творческую поездку по местам былых сражений, в ходе которой сделал множество зарисовок и массу этюдов. Результатом этой поездки явилась самая большая работа мастера (одиннадцать на семнадцать метров), посвященная Великой Отечественной войне — «Маршал Г. К. Жуков». Запечатлев для истории прославленного полководца, не менее прославленный художник изобразил в образе маршала самого себя. Эта творческая манера стала своеобразной визитной карточкой художника. Вспомним хотя бы его картину «Христос и грешница», где сквозь черты Христа проступают одухотворенные черты Аркадия Петровича, или другое его не менее известное полотно — «Даешь тяжелую индустрию!», где во внешнем облике чумазого машиниста, высушившего голову из окошка паровоза, угадывается сам автор.

О своей излюбленной творческой манере Аркадий Петрович в частности писал: «Истинный художник никогда не копирует жизнь (иначе он не художник, а фотограф), он создает новую реальность, отображает на своих полотнах образ времени, если хотите — образ эпохи». На картине «Маршал Г. К. Жуков» мы видим на лице художника (оно же — лицо маршала) отблески пожариц, слезы вдов и матерей, удовлетворение от ратного подвига солдат-освободителей. Суровые, плотно сжатые губы маршала как бы говорят гневное: «Нет войне!» (Кстати сказать, «Нет войне!» является первоначальным названием этой картины.)

Следом за «Маршалом Г. К. Жуковым» А. П. Чесноков-Богданов пишет свое знаменитое полотно на историческую тему — «Куликово поле», в основу которого положено предание о поединке двух богатырей перед Куликовской битвой — Пересвета и Челубея. Художнику удалось создать психологически яркие образы противников и передать напряженность их поединка. В лицах как Пересвета, так и Челубея привычно узнается лицо самого Чеснокова-Богданова.



С конца 1940-х годов у А. П. Чеснокова-Богданова появляется сюжет, который становится чуть ли не на целое десятилетие основным в его творчестве — это охота. Всем известно, что замечательные русские писатели И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, С. Т. Аксаков увлекались охотой. Немало заядлых охотников было и среди художников. Но Аркадию Петровичу и тут не было равных. Чесноков-Богданов всегда точно знал, где любое время дня и ночи и в любую погоду находится дичь. В этом он никогда не ошибался, — и когда другие охотники возвращались домой, даже не повидав желанной дичи, его ягдташ всегда был переполнен. Однако следует отметить, что А. П. Чесноков-Богданов не принадлежал к большинству охотников, видевших в любимом занятии лишь спортивную забаву. Во время охоты ярко проявлялось его чуткое понимание природы. Вспоминая и рассказывая о том или ином своем охотничьем дне, Аркадий Петрович всегда говорил о природе, о ее состоянии, а сам процесс охоты и ее трофеи отступали на второй план.

И еще немаловажный штрих к портрету художника — у него была широкая душа, любящая все живое на земле, потому неустанно страдающая от несовершенства этого мира. И это было очевидно всякому, кто хотя бы раз видел, как Аркадий Петрович разделявал туши и тушки убитых им на охоте животных и птиц. Очевидец вспоминал: «Руки его были по локоть в крови, глаза — печальными, так же печальна была и его улыбка, которая блуждала на губах художника».

Из так называемого «охотничьего цикла» следует отметить такие полотна мастера, как «Меткий выстрел», «Мертвый заяц», «Прямо в глаз» и другие.

Уже на закате своей жизни А. П. Чесноков-Богданов посетил свой родной городок Малые Грязи, постоял у могилы родного отца, посидел на могиле родной матери. За то время, что Аркадий Петрович не был на малой родине, Малые Грязи неизмеримо разрослись и были переименованы в Большие Грязи. В доме, где некогда родился великий художник, теперь располагался музей его имени. На самом видном месте, за ленточкой и под стеклянным колпаком стояла его люлька, некогда им расписанная.

В музее состоялась встреча знаменитого земляка с новым поколением большегрязевцев. Со смехом вспоминало новое поколение дремучесть своих предков, которые чуть было не лишили жизни маленького Аркашу, посчитав его кисть бесовской. Смех смехом, но из тех местных жителей, что позировали художнику в летний его приезд, ни один не дожил до осени. Что тут же дало повод недоброжелателям художника обвинить его в смерти своих земляков. Хотелось бы ответить этим горобвинителям, что нелепо связывать массовое отравление грибами с полотном А. П. Чеснокова-Богданова «Мои земляки». Испокон веков местные жители собирали в лесах грибы и регулярно ими травились. И то, что на картине изображены все впоследствии отравившиеся, конечно же, простая случайность, а не мистическая закономерность, как это тщились представить злопыхатели.

А вскоре после посещения художником родных Грязей его самого посетила последняя любовь. Замечательный художник мог бы с полным правом повторить строчки не менее замечательного поэта:

О, как на склоне наших лет
 Нежней мы любим и суверней...
 Сияй, сияй, прощальный свет
 Любви последней, зари вечерней!

Последнюю любовь художника звали Оленька Воронцова. Когда они поженились, Оленьке едва минуло девятнадцать; казалось, все очарование молодости воплотилось в этой хрупкой, изящной девушке. Она была поистине «гением чистой красоты», совершенно необыкновенным, трепетным и прекрасным существом, от которого в буквальном смысле исходил лучезарный свет. Потому-то художник любовно и называл свою юную жену «мое солнышко». Увы, недолго пришлось Аркадию Петровичу греться в лучах своего «солнышка». Оленька так и осталась навеки девятнадцатилетней. «Вечно живая» — так назвал свой шедевр Чесноков-Богданов в память о своей жене.

Создавать этот шедевр художник начал еще при жизни Оленьки. Очевидец и давний друг Чеснокова-Богданова вспоминал: «Аркадий был захвачен этой работой.

Он творил истово, азартно, забывая есть и пить, спать и гулять. Вся его сущность творца была преисполнена лишь одним страстным желанием — не только перенести на полотно прекрасные и нежные черты своей очаровательной жены, но и добиться того, чтобы от портрета исходил такой же лучезарный свет, как и от оригинала». И Чеснокову-Богданову это с блеском удалось: на полотне Оленька смотрится как живая, вся в сиянии собственных лучей. В то же самое время сама Оленька после написания полотна в буквальном смысле *погасла*, словно бы художник забрал весь ее свет в свою картину. С последним же взмахом чесноковско-богдановской кисти Оленька и вовсе упала замертво. Или, выражаясь фигурально, положила свою юную жизнь на алтарь искусства. Но это, конечно же, не вина Аркадия Петровича, как пытались представить сей прискорбный случай злопыхатели, утверждавшие, что художник якобы писал свою обнаженную жену в плохо отапливаемом помещении, часами не давая ей пошевелиться и согреться глотком горячего чая. Наоборот, А. П. Чесноков-Богданов сделал для любимой жены самое большое, что может сделать большой художник для своей модели — он обессмертил ее образ.

Правды ради, впрочем, отметим, что — да, действительно, Аркадий Петрович не давал своей модели согреться горячим чаем, но он это делал исключительно для того, чтобы она не отвлекалась на пустяки. Зато теперь тысячи и тысячи благодарных зрителей имеют возможность греться в лучах «вечно живой» Оленьки, как некогда грелся в них и сам Аркадий Петрович.

Скончавшаяся Оленька, как водится, была похоронена на третий день после своей кончины. А. П. Чесноков-Богданов, по уважительной причине, не смог присутствовать на похоронах жены, ему было необходимо положить на полотно несколько завершающих мазков. Что впоследствии дало повод все тем же злопыхателям обвинить художника в черствости и бездушии. На самом же деле это был самый настоящий творческий подвиг художника во имя святого искусства. «Ни дня без мазка!» — вот девиз мастера, творившего исключительно для вечности.

В то же самое время горе А. П. Чеснокова-Богданова не знало границ. Разделить это горе к Аркадию Петровичу приехала его старшая дочь от второго брака, Антонина Аркадьевна.

Антонина Аркадьевна была, что называется, дочерью своего отца — такая же добрая и благородная, чуждая мелочности и склочности. Аркадий Петрович безмерно любил Антонину Аркадьевну и всегда нежно о ней заботился, как и она о нем. Хотя злые языки и утверждали обратное: будто бы Аркадий Петрович и Антонина Аркадьевна терпеть друг друга не могли, и дочь будто бы приехала не для того, чтобы разделить горе отца, а для того лишь, чтобы шантажировать его неким письмом, которое она нашла на груди своей покойной матери. Все это, конечно же, беспардоннейшая ложь, никак документально не подтвержденная, не говоря уже о том, что никакого письма после смерти Антонины Аркадьевны обнаружено не было. Сама же Антонина Аркадьевна была обнаружена в Тихом озере на следующее утро после своего приезда. Что опять же дало повод очернителям распуścić грязный слух — будто бы Антонину Аркадьевну утопил Аркадий Петрович, а компрометирующее его письмо уничтожил. Столь нелепое утверждение не выдерживает никакой критики. Как старый человек (Аркадию Петровичу к тому времени шел уже девятый десяток), удрученный кончиной своей жены и не умеющий плавать, мог утопить здоровую, полную сил женщину?..

Обе эти невосполнимые потери — смерть любимой жены и трагическая гибель не менее горячо любимой дочери — не могли не отразиться на душевном и физическом здоровье А. П. Чеснокова-Богданова. Но опять, как и в прошлые годы, Аркадий Петрович нашел забвение от горестей жизни в высоком искусстве. И искусство буквально возродило его. К художнику словно бы вернулась молодость — он стал бодрым, подвижным, жизнерадостным... Последние годы для него стали самыми плодотворными, с полным правом их можно назвать «золотыми» в творческой судьбе мастера. А. П. Чесноков-Богданов обрел даже не второе дыхание (второе дыхание он обрел после смерти второй жены), но — третье. Именно в этот период художником были созданы такие его шедевры, как «Веселый вдовец», «Снова жизнь», «Дочь-утопленница» (второе, менее известное название «Дочери-утопленницы», — «Не рой другому яму»).

Но таков уж был этот уникальнейший человек, что жить только лишь для самого себя он не мог, ему обязательно нужно было о ком-то неустанно заботиться, кого-то нежно и трепетно любить. И художник завел себе собаку, дав ей кличку Зинаида (в честь своей любимой художницы Зинаиды Серебряковой). Они так крепко сдружились, что минуты не могли обходиться друг без друга — вместе ходили на этюды и на охоту, вместе ели и даже вместе спали. Что дало повод наветчикам уже после кончины художника распустить сплетню столь гнусную и столь нелепую, что озвучивать ее здесь не имеет никакого смысла.

К сожалению, и это счастье оказалось недолгим. Судьба в очередной раз нанесла Чеснокову-Богданову безжалостный удар. Зинаида вскоре взбесилась, и Аркадий Петрович был вынужден пристрелить свою любимицу из охотничьего ружья.

И вот этот удар судьбы А. П. Чесноков-Богданов, который к тому времени был совсем уже старым человеком, не смог перенести. Его крепкое доселе здоровье пошатнулось и стало быстро ухудшаться: начало серьезно пошаливать сердце, заболела правая почка, за ней и левая, в щитовидке образовались узлы, в желудке — полипы, началась атрофия дисков зрительных нервов, следом появились ревматоидный полиартрит и церебральный арахноидит, позже к ним добавились дискоидная красная волчанка и дисциркуляторная энцефалопатия, не говоря уже об артрозе и варикозе... Словом, обнаружилась целая кадрили болезней. Но истинный художник всегда остается художником до самого конца. В случае же с А. П. Чесноковым-Богдановым это можно понимать буквально — он творил до последней минуты своей жизни и умер с кистью в руке.

Последние годы творчества А. П. Чеснокова-Богданова были неразрывно связаны с кладбищенской темой. От всех его полотен этого времени веет вечным покоем. Все эти картины чем-то похожи, на них мы видим кладбища, похороны, мужчин и женщин в гробах. Лица у покойников тоже очень похожи, и это не случайно — художник демонстрирует свой идеал умершего: нежный овал лица, выразительные глаза, угадывающиеся под закрытыми веками, приветливая улыбка на устах. Художник как бы говорит нам своими картинами: «Разве смерть и могила — это конец? Нет, это не конец. Смерть — это продолжение жизни. Смерть — это возвращение в отчий дом».

Заканчивались 50-е годы XX века, а вместе с ними заканчивалась и жизнь А. П. Чеснокова-Богданова, полная неустанных трудов, творческих обретений и житейских утрат. Занавес жизни замечательного художника опустился 19 июля 1958 года, и душа его, покинув брненное тело, белокрылой чайкой пролетела над Тихим озером и растаяла в небесной синеве. Земля — потеряла. Небо — нашло.

* * *

Подведем краткий итог:

По-разному складываются творческие судьбы художников, как при жизни, так и посмертно. И определяющую роль здесь играют, увы, не талант и не высокие душевные качества, а жизненные обстоятельства, прихоти судьбы, счастливые или несчастливые случаи... Творческий путь А. П. Чеснокова-Богданова был не столь тернист, как, скажем, путь Винсента ван Гога или Нико Пиросмани. Еще при жизни Аркадий Петрович вкусил заслуженную славу, имел множество высоких званий и наград, картины его вошли в собрания Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, других ведущих музеев.

Когда А. П. Чесноков-Богданов только начинал творить, его уже причисляли к художникам, «известным своим дарованием». Когда его жизненный и творческий путь закончился, А. П. Чеснокова-Богданова называли «величайшим из русских живописцев». Но все течет, все меняется, и нынешнее поколение искусствоведов не испытывает к А. П. Чеснокову-Богданову былого пиетета, оценивая его творчество гораздо скромнее: «Эпигон, подражатель, художник средней руки, приспособленец, рвач...»

Ну что же, подождем, когда подрастет следующее поколение искусствоведов и даст свою оценку творчеству этого незаурядного художника и человека. Какой она будет — покажет время, которое в очередной раз расставит все по своим местам.

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

Главы из повести

Глава 1.

Сколько раз я видел в кино студентов, внимательно изучающих и копирующих прекрасные изгибы тела сидящей перед ними обнаженной натурщицы. Конечно, прекрасными они становятся только на бумаге, обычно же выставляют на всеобщее обозрение какую-нибудь дурнушку. Поэтому молодые парни и могут так спокойно рисовать ее прелести, не отвлекаясь на посторонние мысли. Девушки тоже равнодушно взирают на сидящую перед ними резиновую куклу, не опасаясь, что после урока она уведет с собой кого-то из их однокашников.

Все они спокойны и сосредоточены. Для них это работа, за которую они получают оценку от преподавателя, а в будущем — деньги от заказчика. Неизвестно откуда появившаяся девушка — просто натура, она и называется так — натурщица. Через час она оденется, получит свой небольшой гонорар, уйдет, зависнув на вечер в каком-нибудь кафе в компании престарелого и вечно пьяного портретиста, продающего остатки своего таланта, зазывая прохожих на экспресс-позирование, или такого же седого и длинноволосого поэта, непонятно чем зарабатывающего на жизнь и выпивку.

Студенты тоже скоро соберут свои работы, предварительно дав высохнуть краскам. Хотя нет, рисовали они сейчас грифелем или углем, так что уйти можно еще скорее... Они возьмут за руки своих подруг, которые не успели взревновать к возникшей и так же быстро исчезнувшей нимфе, и пойдут гулять по мостовым, поскольку денег на стакан дешевого вина в кафе у них нет.

Обычно она рыжая. Рыжая, кудрявая, с толстым лицом и обвисшей грудью. Ноги у нее некрасивые — толстые и кривые. Талия... какая талия? Нет никакой талии, есть прямоугольная доска, переходящая сверху в плечи. Вот плечи — ничего! Даже соблазнительны, если не видеть всего остального.

Она много пьет. Не оттого что в жизни произошло какое-то несчастье. Просто так было всегда. Когда ей исполнилось четырнадцать, умер отец. Мать много работала за небольшие деньги. Два брата. Старший сидит в тюрьме, младший еще подросток, но когда вырастет, тоже сядет. Еще маленькая сестренка, совсем маленькая.

В шестнадцать она стала подрабатывать натурщицей. На панель не пошла, решила, что это слишком. Но тут она тоже торгует своим пока еще молодым телом, пусть и не очень красивым. Больше никаких возможностей нет. С умом, талантами и умением работать дело обстоит еще хуже, чем с красотой. Пройдут годы, и чем зарабатывать тогда — непонятно. Замуж вряд ли кто-то возьмет, репутация не та. Жить одним днем, утром позировать, вечером — в кабаки... Банальщина!

В другом фильме все было иначе, никаких соплей и слюней по поводу несчастной судьбы бедной натурщицы... Да, рыжая и бесстыжая! Да, некрасивая, но с пивом потянет. Ей нравится такая жизнь, она не представляет себе чего-то другого.

В третьей ленте вообще нет никаких подробностей. У натурщицы эпизодическая роль, она появляется в какой-то момент и тут же отходит на второй план, где ей и место.

А здесь вообще ничего такого нет. Никогда мы не рисовали натурщиц. Пока не рисовали, потом обязательно будем. Вернее, мы и сейчас делаем портреты, но совершенно пристойные, изображая своих же соседей по парте.

Еще мы пишем пейзажи. Это я люблю больше всего: выезжаем группой на природу или в центр Москвы, где, пытаясь не заметить новостройки, воткнувшиеся между старыми особняками, в которых ныне расположились посольства африканских стран, мы рисуем осыпающуюся лепнину, потрескавшиеся колонны и фигурные оконные рамы. Сотрудники посольств нас уже знают. Один раз даже пригласили к себе на чай. Вот так, без виз и документов прошли на территорию далекого государства, название которого я не помню и сейчас. Нонсенс! Но бывает...

Бывает, мы уезжаем за город на электричке. Сначала гогочем в вагоне, распуговывая остальных пассажиров и отбивая у гопников желание пристать к кому-нибудь из нас: громкие возгласы превращаются в языческое оберегающее заклинание, и к нам никто не решается подойти. Потом мы вываливаемся, словно горошек из опрокинутой консервной банки, на перрон, топаем через лес на опушку, ставим мольберты и открываем пиво. Хорошо, если на горизонте видны маковки какого-нибудь собора или стены отреставрированного наспех особняка.

Я люблю подмосковные рощи. Но остальные мои симпатии не соответствуют тексту известной патриотической песни. От Красной площади я не в восторге. И бой кремлевских курантов заставляет меня ежиться, как от скрипа.

Вот Александровский сад мне нравится. Это территория нежданной свободы. Тут можно ходить по газонам и пить пиво, приобретенное из-под полы у старушек-спекулянок. Менты взирают на это спокойно. Тут мы катались по травке с Ульянкой, никому до нас не было дела, все наслаждались летним вечером, а десантники с криками отмечали свой праздник. Менты, естественно, стояли в сторонке и наблюдали за происходящим с внушительного расстояния. Попробовали бы они сунуться, это не панков в подворотнях отлавливать!..

На занятиях в студии, где вместо обнаженной натурщицы мы изображаем какой-то скучный натюрморт, Ульяна стоит справа от меня. Обычно между нами вписываются еще двое. Во-первых, это Яха, Яков Александрович, считающий себя непризнанным гением, авангардистом, вечно изобретающий новые подходы в живописи и оригинальный взгляд на них. Вообще-то он псих (но совершенно безопасный, очень добрый) и наркоман, постоянно жрущий какие-то таблетки и утверждающий, что под их действием в его сознании рождаются какие-то образы. Видел я эти образы — чушь полная! Например, синяя спираль, которая, как утверждает Яха, под действием каких-то принятых колес начинает вращаться, постоянно меняя угловую скорость.

— Попробуй, — твердит мне он, — откроешь для себя совершенно иные возможности!

— Нет, — отвечаю, — я люблю мир таким, каков он есть. Он слишком ярок и разнообразен, чтобы искать чего-то еще.

— А как же тогда «Черный квадрат», которым ты бредишь? — идет в наступление Яха.

— Дурак ты! — просто и безапелляционно разбиваю я его аргументы.

Следом за Яхой стоит Лариса, Ульянкина подружка. Не понимаю, как они сошлись. Лариса угловатая, в широких темно-синих джинсах, которые ей не идут и не могут пойти никому, настолько они безобразны. Прическа — нелепое каре. Темные волосы, толстые губы, рисует плохо, закатывает истерики, дура...

Наконец, Ульяна! Стройная, высокая, нежно, но строго оглядывающая мир вокруг себя, подмечающая недостатки и стремящаяся тут же их исправить. У нее очень красивые ноги. Но мини не носит, только прямые юбки до колена. Ее стиль, как и взгляд — строгий, но нежный. Ульяна всегда серьезная, даже тогда, на травке у крем-



левской стены, скрыться от Ульяновских глаз можно было только во время поцелуя. Строгость позволяла нежности проявить себя.

Я не смог бы нарисовать ее и не смог бы поставить ее на место натурщицы. Она не такая. Судьба той рыжей — не Ульянина биография. Ульяна не пьет вина, даже самого лучшего, не говоря о том, что подают в кабаке. И когда она снимает с себя одежду, я думаю не о работе.

Ульяна пишет стихи — кстати, неплохие, хотя в поэзии я разбираюсь плохо, так что мое мнение здесь очень предвзято. Ей идет оранжевый цвет... глаза серые, блондинка.

А дальше, за Ульяной, я и не смотрю.

После занятий я провожаю Ульяну домой, но так бывает не всегда. Иногда мне приходится ей врать — она думает, что одна у меня, но это не так: она непревзойденная, но не единственная. Я ее обманываю, мне стыдно, но только в тот момент, когда вру. В другое время я забываю о ней, но всегда о ней помню. Как это объяснить, я не знаю, но это так.

Вся моя жизнь состоит из ответов на подобные вопросы. Мы всегда стремимся найти одно решение, но одного решения нет, их даже не два — и я не знаю, сколько именно.

Хотелось бы, чтобы их было четыре, тогда мир можно привести к какой-то системе. Я выбрал для себя эту систему — это квадрат, «Черный квадрат» Малевича. У квадрата четыре угла и четыре стороны. Они все равны, так что нельзя выбрать из них что-то одно.

Наверно, каждый угол неповторим, в каждом есть что-то свое. Скорее всего, сам Казимир Малевич это знал, иначе не стал бы рисовать простую геометрическую фигуру. Конечно, знал... Главное, не верить бреду интерпретаторов. Я и сам во всем пытаюсь найти какой-то смысл. Не верьте мне, пожалуйста.

Глава 2.

Репродукция картины не сравнится с оригиналом. Мой брат никогда не понимал, в чем же разница между изображением в альбоме и полотном, висящим в раме на стене музейного зала. Видеть цвета может не каждый. Я не говорю сейчас о страдающих дальтонизмом, речь идет только о восприятии.

Мне было шестнадцать или семнадцать лет. Тогда я уже мог назвать себя знатком и ценителем рок-н-ролла, который слушал с раннего возраста. Выбрать любимое направление и субкультуру, к которой, как мне тогда казалось, нужно обязательно принадлежать, я не мог.

В итоге я стал хиппи. Вернее, хиппи я так и не стал, так как совершенно не понимал, какими они должны быть. Но мне нравилась их музыка, прикиды, идеология — смесь пацифизма, буддизма, христианства, анархизма и всего подряд, в чем я не разбирался, однако сами эти слова казались мне очень умными и отвечающими на какие-то жизненные вопросы.

Никто, конечно, меня не понимал, ни в школе, ни дома. Компанию таких же, решивших поиграть в шестидесятые, я в конце концов нашел. Мы любили собираться в дачном домике, который отдали нам на откуп чьи-то родители, коим было лень самим выращивать петрушку на грядках. Мы называли железнодорожную станцию Сеятель «Сизтлом», вместе прятались от гопников и пели нестройными голосами под гитару какие-то песни, которые я и тогда считал дурацкими.

Илмаре была самой загадочной девушкой в нашей компании. Я не знал ее имени, записанного в паспорте, который она прятала в джинсовом *ксивнике*. Наверное, она была единственной настоящей хиппи среди всех нас. Ксивник не был расшит бисером, на нем не было каких-то замысловатых и глупых цветочков и солнышек. Илмаре не носила никаких бус и амулетов, перетягивала вьющиеся белокурые волосы *хайратником* только для того, чтобы они не лезли в глаза. На ее руках красовались только две фенечки, подаренные людьми, по-настоящему ей дорогими, которых она

вспоминала, перебирая, словно розарий, бусины бисера, часто двигая губами, как будто твердя молитву.

— Посмотри на этот цвет, как ты его назовешь? — Илмаре погладила указательным пальцем узор на своей фенечке.

— Красный, — не задумываясь, ответил я.

— Нет, этот цвет — агрессивный! Когда я вижу его, то начинаю бояться... однако его можно приручить. Тогда он будет защищать тебя, как он защищает меня на этой фенечке.

— И от гофов защитит? — выдавил я из себя, пытаясь сплавить воедино страх и усмешку.

— Конечно. А вот этот цвет ты назовешь белым, но он — ядерный. Он означает все... и не означает ничего.

— А зеленый цвет, как ты его назовешь?

— Позитивный, — бодро и с улыбкой пропела Илмаре, бросив на меня свой хитрый взгляд.

— Синий?..

— Депрессивный!

— Но почему?

— Цвет листы, цвет жизни, — ты смотришь на него и думаешь о том, что произойдет, о том, что все будет хорошо. А это, — она ткнула пальцем в синюю бусину, — цвет моря. Оно бескрайнее, навеивает тоску и грусть.

— Но разве море — синее? — не унимался я.

— Нет, оно — депрессивное!

— Хорошо, а как называется желтый цвет?

— Параноидальный! Не из-за того что стены психушек красят в этот цвет, обычно они ядерные... Просто этот цвет беспокойный, он рождает тревогу.

— А коричневый и серый ты назовешь говенным и повседневным? — я попытался пошлить, но Илмаре оставалась серьезной.

— Перестань. Коричневый — брутальный, это очень злой, жестокий цвет, он груб, опасайся его. А серый... — Илмаре потянулась за кружкой, — Прости, пересохло в горле... Серый — концептуальный цвет. Все думают, что он безликий, плоский, но на самом деле в нем многое сокрыто.

— Илмаре, но ты ничего не сказала про черный.

Моя собеседница вздрогнула и посмотрела на меня испуганными глазами.

— Смотри, — продолжал я, — есть такая картина — «Черный квадрат». Она же должна что-то означать, ведь это не просто...

Договорить я не успел. Илмаре в ужасе вскочила на ноги и вылетела из комнаты. Я бросился за ней, но она выскользнула из дачного домика и скрылась за деревьями.

Илмаре прожила с нами до конца лета. В сентябре мы, оставаясь хиппи на словах, вернулись в родительские дома, вновь стали ходить на учебу. Мне оставалось проучиться в средней школе один год, чтобы потом вырваться на свободу и уехать в Москву, а там постараться поступить в какой-нибудь институт, где готовят художников. Я не хотел идти в архитектурную академию в Новосибирске, просто потому что хотел убраться из казавшегося скучным города.

Илмаре исчезла из нашего поля зрения. Одни говорили, что она отправилась автостопом на Карпаты, другие утверждали — на Тихий океан.

Я часто спорил тогда со своим братом о том, что настоящая картина не сравнится с репродукцией. Хотя я и сам не понимал этого, спорил просто из принципа.

Но возможность оценить то настроение, которое возникает при просмотре картин, конечно, была. В Новосибирскую картинную галерею я наведывался довольно редко. Художественное училище, куда я хотел поступить, но не стал, повинуясь своей лени, находится рядом. Конечно, если бы я учился там, то посещал бы выставки и работал в музее почти каждый день.



В галерее уже много лет выставлены картины Николая Рериха. Его учение, конечно, глупость, но так я думаю сейчас, а в те времена я играл в хиппи, поэтому пытался заставить себя увлечься восточной эзотерикой. В эзотерике я, слава богу, так ничего и не понял, обилие индийских божеств и каких-то сверхъестественных сил вызывало интерес, но не выстраивалось в стройную систему, без которой невозможно создать картину мира или картину, которую потом повесят на стене музея.

Главное, на что обращаешь внимание у Рериха — небо. Оно совсем не бесконечное, какое мы привыкли видеть в наших равнинных краях, оно четко ограничено треугольными очертаниями горных склонов. Треугольники Рериха тогда впечатляли меня гораздо больше, чем квадраты Малевича. Черный цвет, которого боялась Илмаре, совсем не пугал меня, но он никак не подходил для неба. Небо у Рериха на всех картинах разное. Для каждого полотна он смог подобрать свой неповторимый оттенок. Все картины закрыты стеклом, в нем отражается мое лицо, и я оказываюсь в Гималаях.

— Какая разница между репродукцией и самой картиной? — недоумевает Женька, мой брат. — Все равно ты видишь там одно и то же.

— Понимаешь, в репродукции ты не чувствуешь духа, настроения, — стараюсь я хоть что-то сформулировать.

— А что такое этот... дух?

Этого я объяснить не мог.

Через несколько лет я вспомнил эти разговоры, оказавшись в Париже, и отправился в Лувр, чтобы найти там «Мону Лизу». Пробравшись через толпу туристов с фотоаппаратами, я заглянул ей в глаза, хотя близко к полотну подойти было нельзя. Но наши взгляды встретились, и я был уверен, что Джоконда смотрит именно на меня.

Вспомнилась старая шутка: «Ученым удалось разгадать тайну улыбки Джоконды! Она — дура!» Когда смотришь на репродукцию, то видишь глупую, дегенеративную физиономию, начиная верить статьям о дискуссиях психиатров, пытающихся поставить Моне Лизе диагноз.

На самом деле все совсем не так. Она улыбается и вовсе не осуждает всех этих туристов с фотоаппаратами. Она не обижена на них, на тех, кто пришел посмотреть не на творение Леонардо, а на картину, которую они видели на репродукции в книжке. Она настоящая, можно сфотографировать, а потом рассказывать коллегам и друзьям, что видел настоящую Джоконду. И фотографию показать, ткнув пальцем ей в лицо. А она просто улыбается.

Глава 3.

«Город мой велик и прекрасен!» — наверное, так было бы правильнее начать свое повествование. Даже здесь, в Москве, беседуя с местными и съехавшимися со всех концов планеты однокурсниками, я настаиваю на том, что Новосибирск — лучший город земли, а Сибирь — самое благодатное место во всей вселенной. Это город, который появился в нужное время и в нужном месте.

Когда-то у меня был пес. После того как он родился от неизвестного бродячего отца и матери из приличной интеллигентной семьи, ему пришлось некоторое время жить с многочисленными братьями и сестрами в доме хозяев своей родительницы. Пока шел переполох из-за вываленного всей ораве корма, Элвис, который тогда еще не получил этого громкого и прекрасного имени, шнырял к миске, выхватывал оттуда самый большой кусок и лакомился им в сторонке.

Новосибирск вел себя на протяжении своего существования точно так же. Он появился на месте деревни на берегу Оби, когда строители Транссибирской железнодорожной магистрали выбирали место для будущего моста. На какие только ухищрения не были готовы купцы из близлежащей Колывани, чтобы построить переправу у себя и получать барыш от контроля над новым торговым трафиком! Но инженерам удалось проявить способности к более эффективному ведению дел и они пере-



кинули железнодорожные пути через реку в самом удобном месте. Так все происходило и дальше, город больше обращал внимание на законы географии, чем на интересы тех, кто открыто рвался к кажущейся близкой выгоде. И получал от этого свою прибыль... Как и Элвис в детстве!

После Гражданской войны Новосибирск стал компромиссным вариантом для новой столицы Сибирского края, а во время Великой Отечественной — безопасным местом для эвакуации из еще не скованного блокадой Ленинграда и других городов, находящихся близко к фронту. В город приехали новые люди. Это была интеллигенция, инженеры, квалифицированные рабочие... Этим я и хвастаюсь порой. Сибиряки — обладатели лучшего генофонда, потомки ссыльных политических или вольных переселенцев. Нам присущи предприимчивость, самостоятельность.

Таким предприимчивым оказался и сам город. Во время войны здесь разместили целые заводы, перенесенные с западных границ, так и оставив их тут после Победы.

Потом приехали ученые. Глобальные проекты лучше пишутся в тишине, вдали от суеты мегаполиса, среди сосен и белок. Так появился Академгородок. Тут опять собрались лучшие люди, и это стало причиной нашего, а может, только моего личного гиперснобизма. Если выстроить цепь рассуждений, то выходит, что сибиряки — лучшие, новосибирцы — лучшие из сибиряков, а академовцы — вообще бэст-оф-бэст. Ну а я — среди них!..

Только не вышло из меня ученого, я и в школе еле натягивал четверку по физике и тройку по химии. У меня другое призвание, другие интересы: я умею видеть пространство, замечать все его детали, умею складывать эти мелочи в систему.

Находясь в Академе, я не люблю Новосибирск. А здесь, в Москве, я думаю только о нем, даже порою плачу по утерянному. Мой Академ — самое прекрасное место планеты... и одновременно — самое ужасное. Это город возможностей, но возможностей нереализованных. Это город мечты, но мечты бесплотной и бесплодной.

— Константин Алексеевич, вы говорите, что время объективно и не зависит от нашего сознания, — провоцирую я нашего лектора по философии.

— Совершенно верно, время — это промежуток между событиями.

— Какой промежуток?

— Временной!

— Как же время может быть временным промежутком? Это же тавтология...

— Тавтология есть истина, к ней нечего добавить!

— Но если ничего не происходит, то и времени нет...

Я люблю свой город, я люблю Городок. Но только на расстоянии. Хорошо, оказывается, там, где меня нет; там же, где я есть, всегда плохо. В моем городе ничего не происходит, он застыл во времени и пространстве, я же хочу жить, я хочу, чтобы вокруг меня было движение.

Да, я сноб. Каждому человеку нужно чем-то гордиться, но что делать, если гордиться пока нечем?... Я горжусь своим городом, хотя имею ли на это право? Сам я ничем его не прославил и не прославлю никогда. Если я стану знаменитым, то все оvationи заберу себе, а про Новосибирск и Академгородок просто забуду. Мои соседи на меня обидятся, они будут вспоминать, каким я был простым и неказистым. Это интервью покажут в документальном фильме обо мне. Фильм продемонстрирует телеканал «Культура»...

Как и любой сноб, я говорю всем, что не смотрю телевизор. Как и любой сноб, я заявляю, что смотрю только канал «Культура» и новости на Euronews. На Euronews есть хорошая рубрика — анонсы культурных событий в европейских городах. Сегодня в Амстердаме открывается выставка, а в Дрездене — премьера спектакля. Где-то пройдут кинофестивали, не такие, как в Каннах или Венеции, а маленькие, артхаусные, для своих. Я тоже «свой», но на фестивале присутствовать не смогу, я далеко. К тому же там никто не знает, что я тоже из «своих», что я тоже понял бы, что хотел



донести до зрителя режиссер. Причина одна: я потерялся в этих проклятых сибирских просторах, которыми восхищаются те, кто никогда здесь не был.

Когда-нибудь фильм обо мне продемонстрируют на телеканале «Культура»... А пока на «Культуре» идет обсуждение чего-то интересного, но, с точки зрения новосибирских газетчиков, незначительного. Полуторамиллионный город не может избавиться от комплекса провинциальности. Я понимаю, что такое может быть, например, в Китае. Множество городов, названия которых мне неизвестны, в несколько раз превосходят Новосибирск по количеству жителей. Но это в Китае, там другая логика, другие «законы физики», другая жизнь.

В программе Виктора Ерофеева обсуждается смысл сновидений, в новосибирской прессе — рассказ о том, как пенсионеры из Первомайского района поют романсы на сцене ДК. Еще что-то о решениях местных властей, о том, когда отключат горячую воду, о расписании электричек для садоводов... Новосибирск — маленький Китай: население огромно, но город остался деревней. А пенсионеры я зря обидел. Они не виноваты, что не умеют петь. Если бы журналистом был я, то пришел бы на концерт в клетчатой кепке и с шарфом до колен. Они бы очень удивились, так как и не думали выносить свои посиделки на публику. А я бы заявился и, изображая английский (какой угодно, но лучше английский, ведь кепка клетчатая, как и сумка, с которой я приехал в Москву, но об этом позже) акцент, превратил бы для читателей их танцы с гармошкой в районном ДК во вручение премии «Грэмми», например. Правда, читателям это не нужно, им комфортнее здесь, среди деревянных домиков, над которыми возвышается кирпичный дом культуры. Но я бы раскрутил этих старичков, как раскрутили критики «Черный квадрат»...

Нет, это не я сказал, это кто-то другой говорит от моего имени. Наверное, у меня сегодня плохое настроение, а может, я пьян. Главное — не то, что Малевич сделал, а что *задумал* сотворить. У художника была идея. Не нужно быть гением. Понять, кто гений, а кто — нет, не удастся никому, каждый будет рассуждать с позиций своего вкуса, опыта, знаний. Просто надо быть храбрым, пойти против течения. Чернота была яркой, она была необычной и новой! И он заставил видеть, заставил думать, что что-то видишь... Заставят ли думать эти певцы? Кого-то заставят, но не меня. В общем, я говорю много и не по делу, но основная мысль вот в чем: главное — среда.

Они счастливы, их много здесь. Художники, музыканты, поэты, для кого не осталось свободных мест в ток-шоу на «Культуре», чьи сборища не анонсируют на Euronews.

Я люблю ходить на выставки в наш Дом ученых, место, где собирается весь академгородковский бомонд. Тут по полгода висят одни и те же картины, других и не надо! Никто из местных журналистов не хочет писать об этом в новостях, просто можно сюда зайти и посмотреть на Монмартр. Был ли художник на Монмартре? Наверное, не был, но он видел его во сне, а это важнее. И я хочу увидеть его. Думаю, что и Монмартр хочет увидеть меня, просто он этого пока не знает.

Женька вышел из комнаты. Наконец-то этот добровольный затворник проголодался, решил попить чаю, чтобы потом опять засесть за компьютер.

— Я тут думал о твоих планах уехать в Москву, — говорит он, дожевывая свой бутерброд. Для него существует только фаст-фуд, так как он считает, что прелесть еды заключена в ее количестве. Когда мы с компанией выбираемся в какое-нибудь кафе, он всегда делает выбор, сопоставив вес блюда в граммах и цену в рублях, вкус и степень изысканности его не интересуют. — Зачем тебе это нужно? Живешь, как будто в стародавние времена, теперь вообще нет расстояний.

— Ты думаешь, что фотография равноценна настоящему виду, а репродукция картины — оригиналу? — отвечаю я ему заезженными аргументами.

— Какая разница? Можно просто сфотографировать, вот тебе и картина.

— Это примитивный реализм, а если мы возьмем абстрактную живопись?... — Я пытаюсь возражать, хотя сам пока не понимаю, о чем говорю.

— Фигня это все, — отвечает Женька, дожевывая свой бутерброд, — нет тут ничего гениального. Возьми, например, своего любимого Малевича, — что там есть кроме черного квадрата? Тавтология, масло масляное...

— К тавтологии нечего прибавить, — возражаю я. — Наверное, в этом и есть истина...

— Где истина? В черном квадрате? Возьми любой графический редактор и рисуй сколько угодно квадратиков, треугольничков и кружочков, а потом залей их каким угодно цветом. Знаю, ты возразишь, скажешь, что у Малевича не было компьютера. Что ж... не повезло парню, рано родился! — Женька делает еще один бутерброд, наливает в кружку заваренный на четвертый раз чай и встает из-за стола.

— Жень, в том заварнике есть свежий, зеленый с жасмином, — пытаюсь остановить его я.

— Вот это — твоя непоследовательность, — издевательским тоном отвечает он. — Квадрат любишь черный, а чай пьешь зеленый. Нехорошо, брат! Кстати, эта заварка разбодяжена на четвертый раз, Малевич тоже набодяжил четыре «Черных квадрата», так что я обедаю в соответствии с твоими эстетическими пристрастиями. Счастливо, я пошел работать, — Женька исчезает за дверью.

Новосибирск — это черный квадрат, неподвижное движение, здесь ничего не происходит, время остановилось.

Глава 4.

Цвет бывает сильным и слабым — до этого я дошел сам. Я ничего не придумывал, просто мне всегда так казалось.

Бабушка научила меня читать, когда мне было года три, и уже в детском саду воспитательница часто уходила по своим делам, вручая мне книгу и рассадив других детей вокруг, чтобы я занял их внимание во время ее отсутствия. Пластмассовые буквы, из которых я складывал слова, были разноцветными, но мои представления об их оттенках существенно отличались от мнения дизайнеров фабрики игрушек. Гласные в том наборе были бледно-розовыми, а согласные, как и положено, синими, но тоже какими-то бледными. Мне же всегда буквы представлялись окрашенными каждая в свой собственный, индивидуальный цвет.

Буква «А» должна быть красной, как и положено гласной. Красный — главный, первый из всех цветов. Главная площадь Москвы — Красная, главный проспект Новосибирска — тоже Красный. Конечно, проспект был назван из идеологических соображений, а топонимика площади и вовсе не имеет отношения к цветовой палитре. Но ее имя переводится на иностранные языки не как Beautiful Square, Belle Place или Schönpfatz, нет, — пишут они у себя там Red Square, и весь мир думает, что площадь такая же красная, как знамя, вино, раки и моя буква «А».

«Б» — обязательно синяя, как и должно быть согласной. Наверное, уже в ранние годы у меня было какое-то чутье не только к цветам, но и к иностранным языкам. Видимо, я предполагал, что с этой буквы начинаются слова «blue», «bleu» и «blau». Примерно то же самое произошло и с окрашенной в зеленый цвет «В», с которой начинаются «vert» и «verde». Можно понять и желтую букву «Г» — «gold», но только люди, не сведущие в избранном мной ремесле, готовы назвать золото желтым, перепутав эти два совершенно разных цвета.

— Знаешь, я вижу совсем иначе, — говорит мне Женька. — Цвет один и тот же, а расположение букв меняется. Сначала они выстраиваются в линию, а потом начинают закручиваться в спираль.

— Наверное, потому что ты программист, а я — художник.

— Ты тут, знаешь ли, не первооткрыватель, — продолжает Женька. — Буквы окрашивал в разные цвета Артюр Рембо, правда, он обращал внимание только на гласные звуки. Набоков, будучи еще маленьким, тоже объявил «неправильными» разноцветные кубики с буквами. А Кандинский слышал мелодию цветов. Его полотно действительно звучат, ведь правда?



— Откуда ты все это знаешь? Как ни зайду к тебе в комнату, постоянно сидишь за компом, но о чем ни спросишь — все читал, все видел, — недоумеваю я.

— Информатика ум в порядок приводит, не то что твои бесформенные пятна на холсте или на листке бумаги, вырванном из тетрадки, — усмехается Женька. — Кстати, такими же я вижу и цифры: от одного до двенадцати — по кругу, как на циферблате, потом — вертикальная линия до двадцати, горизонталь, опять вертикаль, — и так далее, лесенкой. А ты видишь цвет цифр?

— Нет. — Я чувствую поражение в каком-то идейном бою между «физиками» и «лириками».

— Потому что ты художник, а я — программист! — триумфально завершает Женька.

Лет в двенадцать я увлекся вексиллологией, без ошибки мог определить, где флаг Сент-Винсента и Гренадин, а где — Соломоновых Островов. Но здесь я оказался таким же бунтарем, как маленький Набоков. Глядя на российский флаг, я недоумевал, почему красная полоса расположена ниже синей. Синий цвет сильнее, тяжелее и тверже красного — если поставить красную полосу вниз, то вся конструкция должна рухнуть. Немецкий флаг тоже неправильно выполнен. Самая слабая полоса, желтая, находится в основании, а черная — на вершине. С вертикальными полосами обычно проблем не возникает. На итальянском и французском флагах цветные полосы защищают слабую белую.

А потом я стал взрослеть, начал слушать рок-н-ролл. Женька, хоть и младше меня на два года, тоже заболел этим. Получив резолюцию родителей «делайте что хотите», мы решили расписать стены в комнате. Несколько хипповых лозунгов, вроде «All You Need Is Love!» и «Give Peace A Chance», стали основой композиции, потом мы достали с полки плохо изданную рок-энциклопедию, страницы которой были не сшиты, а как попало склеены, потому что постоянно вываливались из книги, и принялись выписывать на обои имена групп и исполнителей.

Писал Женька, я же подавал ему нужный фломастер, так как мы условились, что только я знаю, какой цвет подходит для музыки и образа того или другого коллектива. Синий цвет преобладал, потому что я всегда считал его своим любимым. Названия величайших групп Женька писал более крупным шрифтом. Огромными синими буквами на засаленных обоях теперь красовались The Beatles, Pink Floyd, Deep Purple. Хотя, по логике своего имени, «Дипы» должны быть пурпурными, но у меня была своя логика.

— Стой! — кричал я Женьке и протягивал ему красный фломастер. — Разве могут быть синими The Rolling Stones... они будут красными, хотя Джеггер оранжевый, а Ричардс — желтый.

Такая же история произошла с Cream, которые остались красными, несмотря на зеленого Клэптона. Зелеными оказались Grateful Dead и Jefferson Airplane; коричневыми — Led Zeppelin; оранжевыми — Jethro Tull.

Мы сидели среди исписанных стен и слушали рок-н-ролл или, выпив пива тайком от родителей и спрятав пустые бутылки внутри расстроенного пианино, горлалили:

Кто не любит Jethro Tull,
Тому бог ума не дал!
Кто не слушает Pink Floyd —
Гнать поганую метлой!

Третьим нашим братом был пес Элвис, который получил это имя, несмотря на желание родителей дать ему более привычную для русских дворян кличку. Мы с Женькой настояли на своем, пообещав самостоятельно его выгуливать, кормить и воспитывать.

Наши прогулки обычно проходили на поле, раскинувшимся недалеко от дома на окраине Новосибирска между городом и Академгородком. Я вел Элвиса на поводке через пролесок, потом мы переходили дорогу, и я отпускал своего пса бегать. Он знал о приближающейся свободе и начинал подпрыгивать и игриво рычать, еще



находясь на привязи. После того как я отстегивал карабин поводка от ошейника, Элвис носился среди полевых цветов и ковыля, заставляя меня постоянно отслеживать его перемещения и каждый раз по-новому и с разных ракурсов смотреть на одни и те же детали пейзажа.

На краю поля располагался овраг. Отвесные стены и вертикальные песчаные столбы напоминали изображения Гранд-Каньона из того самого атласа, откуда я вырезал изображения флагов, чтобы потом разложить их на столе.

Я мечтал о том, чтобы на этом поле был устроен грандиозный рок-фестиваль вроде Вудстокского. Слово «Вудсток» — зеленого цвета.

Глава 5.

Я тогда был совсем юным, учился не то в третьем, не то во втором классе. Из какой-то телепрограммы — кажется, это был вопрос знатокам в передаче «Что? Где? Когда?» — я узнал о существовании картины «Черный квадрат», написанной Казимиром Малевичем. Что за чушь?.. Как можно простой квадрат называть картиной? К тому же он черный! Этот цвет может скрывать в себе только зло, страх, враждебность, грубость, гибель, ложь, боль и безнадежность.

Потом я стал взрослеть, у меня началась переоценка ценностей. Если в прошлом я верил, что «Черный квадрат» — простенькая поделка, несложная в исполнении, то потом мне хотелось взбунтоваться и объявить его какой-то вершиной каких-то неведомых мне творческих процессов, о которых я не имел ни малейшего представления.

Женька всегда оставался скептиком, он признает только разум, обязательно подумает, взвесит все «за» и «против», перед тем как что-то сказать вслух. Насчет «Квадрата» он всегда был осторожен. Может, потому что не хотел показывать свою некомпетентность, может, для того чтобы не провоцировать конфликт, а может, просто потому что он мой брат.

Друзья были радикальнее, а еще радикальнее были родители, ведь они могли обосновать свою позицию высотами жизненного опыта:

— Что ты здесь ищешь, что хочешь увидеть? — усмехалась мама. — Он просто решил поиздеваться над такими как ты. Мечетесь между четырех углов, а никакого смысла тут нет! Если взглядеться во что угодно, пристально и внимательно взглядеться, то что угодно и можно разглядеть, было бы желание. А если воображение хорошее, то вообще легко получится. К тому же все эти художники и поэты ведут богемную жизнь, что-то нехорошее употребляют. Я надеюсь, ты не собираешься стать художником?..

А ведь когда-то она сама отвела меня в изостудию, но, конечно, для того чтобы я не болтался без дела на улице.

— Нет, не собираюсь, — отвечал я.

— А кем ты хочешь стать?

— Пока не знаю.

Женька дожидался, пока мама уйдет, и хлопал меня по плечу:

— Не дрейфь! Главное не то, что там получилось, а то, как он это делал. Он же первым придумал «Черный квадрат». Тогда ничего такого не было, а он пришел, всем показал — и оно появилось.

Женька был еще мал и мог позволить себе детскую непосредственность, которая поддерживала мой подростковый мятежный дух. Сам он избежал тинейджерских метаний, когда немного подрос. Мама всегда оставалась спокойной за него, в отличие от меня. Женька никогда не пытался курить, никогда не пробовал алкоголь. Он всегда был ироничен.

— Что ты долбишься в открытую дверь! Какая разница, что это такое: вид сверху на черный табурет, негры ночью грузят уголь, что-то еще — какая разница?!.. А ты еще придумываешь, что это вечное одиночество, безысходность, черная дыра... Ты сам ищешь эту безысходность, думаешь, что это круто... а это тупо! В общем, кто как видит, каждый имеет право на все что угодно.



Я рос, влюблялся, получал отказ, снова влюблялся. Иногда я приходил домой после разговора с очередной пассией, которая сообщала мне то же, что и предыдущая: «Ты хороший, но не люблю!» Я запирался в комнате, пытался для приличия, для отчета перед самим собой выдать слезу. Не получалось: я рыдал, но где-то в глубине своего сердца, демонстрируя всем окружающим полное равнодушие. Мои любимые девушки отворачивались и переводили разговор на другую тему, как только я пытался начать рассуждать о «Квадрате». А я постоянно возвращался к нему, хотя мне и говорили, что на свидании нужно вести себя иначе. Но иногда беседа все же получалась.

— Я бы на его месте изобразила черный круг, — говорила она. Не помню, как ее звали, их было много. — Это уже всеобъемлющий символ. Посмотри, он вмещает в себя весь мир, а квадрат — это какой-то участок, кусок, отрезок.

Угроздило же влюбиться в умную. Она быстро понимала, что я не смогу поддержать диалог даже на эту тему, и уходила. Потом я видел ее с кем-то, кто вообще не интересовался живописью. Зато он был чем-то лучше меня.

— Потому «Квадрат» и не может быть кругом, — возражал я ей. — Круг — символ бесконечности, а бесконечность не может быть черной. Черный — символ конца, но бесконечного конца... В общем, я запутался, но истина где-то рядом.

Продолжить свои объяснения я уже не мог, больше мы не встречались.

— Не живопись это вообще! Нет тут ничего гениального! — восклицал очередной собеседник. Собеседник, так и оставшийся безмянным, ничем не отличающийся от остальных. — Тебя убедили в том, что это что-то из ряда вон выходящее. А если это будет зеленый треугольник или оранжевый овал? Кстати, нормально будет смотреться. Попробуй перевернуть, какая разница. Я в детском саду лучше рисовал, а в школе вообще достиг высот мастерства...

— Вот тебе хороший способ. Возьми сразу несколько кистей, каждую обмакни в свой цвет. Потом зажми их между пальцами и начинай. Когда надоест, замажь краской ладонь и ставь отпечатки. Получится шедевр. А ты — «Малевич, Малевич...»...

— Главное — найти покупателя, богатого выпендрежника, которому некуда девать деньги, чтобы ему хотелось выглядеть интеллектуалом, а не простым гопником... Или нарисовать простой пейзаж, где кажется, что вот-вот перешагнешь через раму и окажешься там!..

— Многие думают, что абстракционисты ничего не умеют, техникой не владеют. Но это не так. Кандинский шел на природу, открывал мольберт, писал пейзажи, тем самым наработывал настроение, а потом возвращался к себе в студию и изображал это настроение. Это гораздо интереснее. Пейзаж, портрет, натюрморт можно просто сфотографировать, но как изобразить чувство?.. Только абстрактно...

— Малевич просто решил выделиться. Нарисовал черный квадрат и привлек внимание. Поползли слухи, кто-то написал статью, кто-то — книгу, а кто-то попытался повторить: сделал такой же квадрат, а критики сказали, что у него не получилось...

— Теперь можно сделать так. Сфотографировать оригинал на цифру с большим разрешением и проследить закономерность расположения цветов. Тогда станет ясно, что именно хотел сказать Малевич. Только придется изобрести способ перевода с невербалики в вербалику. А это отдельная тема...

— Дело не в квадрате, а в его цвете. Если бы он начертил желтый квадратик, то никто бы его гением не считал. Это магия цвета, он это понял. Гениальность Малевича не в том, что он что-то нарисовал или начертил, а в том, что такая бредовая идея пришла ему в голову. Но главное, что желтый получает смысл только как сочетание других цветов, а черный — он самодостаточен, да и не цвет это вовсе...

— Был Малевич, но был и писатель Андерсен, написавший сказку о голом короле...

— Его работы не только сродни философии Шопенгауэра, богоискательству декадентов, но и дают нам, простым обывателям, замечательное единство формы и содержания.

— Жаль, что мы так плоско мыслим, ведь это проекция черного куба...

— Нарисуйте унитаз — все будут молчать. А про «Черный квадрат» не перестают говорить. Значит, это было злободневно... актуально тогда, злободневно и сейчас...

— Это метафора максимальной четкости и при этом — полной беспросветности мира. А главное, что беспросветен мир внутри человека...

— Это уникальный пример прорыва в искусстве. Что такое черный квадрат — не картина, а просто черный квадрат?.. Ничто! Как можно из «ничего» сотворить шедевр? У Малевича это получилось. Он сам не хотел и не ждал такого успеха, просто решил нарисовать пустоту, сотворить ничто. Он сделал, что хотел, а дальше все закрутилось само собой. «Квадрат» теперь живет сам по себе; я где-то читал, что Малевич считал его формой жизни...

— Это пошлость. Ее повторит и ребенок, и сумасшедший! Все эти разговоры — чистая коммерция. Почему мы не любим попсу, но любим «Черный квадрат»? Ведь это одно и то же...

— Может быть, это не беспросветность, а свет в конце туннеля... Только это негатив...

— Любое произведение искусства — это не блуждания разума, не мысли, а эмоции. Что-то его мучило в тот момент, что-то радовало. Он изобразил свои чувства в виде черного квадрата. Вот здесь мы и убеждаемся в истинности поговорки «чужая душа — потемки». Не надо лезть в душу к Малевичу!..

— А что он курил перед этим? Художники — люди богемные, в те времена любили трубочку опиумом набить... Впрочем, нет, ничего он не употреблял, просто был ударен на оба полушария. Был в бреду, что-то намазюкал, а сам к утру уже не помнил, что именно. А потом всякие очкарики делают умный вид и о чем-то рассуждают...

— Вам больше сказать нечего, кроме того, что он хотел этим заработать? Не судите по себе! Такие вещи не продают, между прочим. Больше того, их не обсуждают. От вашего сотрясения воздуха ничего не изменится...

— Есть один критерий, который позволит отличить великое произведение искусства от поделки. Может ли простой человек это повторить? Повторите «Последний день Помпеи», повторите реквием Моцарта, повторите «Божественную комедию». Это шедевры, а их авторы — гении. А «Черный квадрат» может изобразить любой школьник...

— Одни возмущаются, другие в восторге... Это искусство, которое не понять среднестатистическим. Для меня «Черный квадрат» — индикатор «свой — чужой». Но смотреть на него опасно. Втягивает...

— Человек создавал картины на протяжении всей своей истории. Сначала были наскальные рисунки, потом — фигуры на амфорах, затем — иконы, потом мастерство росло и росло. Дальше развиваться было уже некуда. «Черный квадрат» — завершение процесса, конец истории...

— Важно не то, что это «Черный квадрат» Малевича, а то, что это — «Черный квадрат». Если бы не Малевич, то кто-то другой догадался бы его нарисовать. Время требовало его появления...

— «Сеятель» Остапа Бендера гораздо сильнее...

— Кстати, хороший кот должен быть именно черным. Иначе он вообще не кот, никакой магии, никакой таинственности. «Черный квадрат» — магический символ, никому не дано разгадать его смысл...

— Боже, это же консистенция зла! Убери это с моих глаз и со своих тоже убери! Одна аббревиатура «ЧК» чего стоит...

— Почему ты заикнулся на «Квадрате»? У Малевича есть много других полотен, своя манера — как и у Бурлюка, Петрова-Водкина, Бенуа и остальных. Почему его манифестом стал именно «Черный квадрат», а не «Корова и скрипка» или «Англичанин в Москве», например? Не было ответа в рамках истории живописи, он нашелся в истории дизайна. «Черный квадрат» — буква «А» в дизайне...



— Интересно то, что споры о «Квадрате» уже не зависят от самого «Квадрата». Он уже перестал быть значимым. Размышления интересны, они наводят на другие мысли, а сам «Квадрат» давно уже умер. Повод мог быть другим, простота и примитивность нужны именно для того, чтобы забыть о предмете разговора. Несоответствие уровня мастерства, сложности исполнения и накала обсуждений интереснее, чем сам «Квадрат». Даже если кто-то сожжет оригинал, шум не утихнет...

Мне нечего делать здесь, я поеду в Москву, там все иначе. Я видел москвичей на канале «Культура», я хочу оказаться там, наверное, их мнение будет не таким глупым, как те, что я слышал до сих пор.

У меня уже есть билет, а пока я пойду спать, уже поздно.

Глава 6.

Пять утра, они уже не спят. «Сибиряк» проезжает по ближайшему Подмосквовью. Еще темно, но окна домов светятся, там все давно проснулись. Мы проезжаем мимо перрона станции Мытищи. Минут через двадцать перрон заполнится местными, которые будут воевать за лавку в электричке. В Новосибирске никто не согласится добираться от дома до работы больше часа, а для Москвы это обычное дело. Сутки здесь, наверное, длиннее, чем в других городах. Сама карта Москвы напоминает циферблат часов. Один час — Мытищи, три часа — Реутов, шесть часов — Щербинка, полдевятого — Одинцово, одиннадцать часов — Химки. Пора москвичам так и говорить: «На выходные ездил в Полвторого... Четыре Часа славятся своей гопотой».

Ярославский вокзал, как и все остальные вокзалы, место всеобщей ненависти и нищеты. Я выхожу из вагона, словно из тюремной камеры. Сорок шесть часов в тесной вонючей коморке на верхней полке со снующими мимо или запершимися в своем купе надзирателями-проводниками кажутся пожизненным сроком, к которому меня приговорили за то, что я родился так далеко от центра мировой культуры. Центр мировой культуры встретил меня пристальными взглядами ментов, навязчивыми предложениями уехать неизвестно куда на такси и грязными лицами завсегдаев вокзала, которые здесь живут, никуда не уезжая, нарушая тем самым исконное предназначение этого заведения. Хотя кто о нем вспоминает, стоит только переплыть из этого людского моря в другое, бурлящее в метро или на улице.

Сумка с необходимым минимумом вещей обязательно должна быть в клетку, лучше красно-зеленую. Это бренд, свидетельствующий о том, что я вроде бы приличный человек, который не ездит в плацкартном вагоне, а летает на самолете. Очки, аккуратная прическа, клетчатая сумка... Да, запах после двух суток на верхней полке от меня исходит не очень приятный, но я никого не приглашаю вставать близко, хотя в московском метро иначе не получается. Кстати, имеют ли свой цвет запахи? Странно, что я никогда не думал на эту тему...

Я попал в город-часы, город, в котором постоянно что-то происходит. Здесь все не так, здесь можно ходить в театр имени Моссовета, сидеть и хлопать в ладоши в студии телеканала «Культура», бродить по Третьяковке и часами смотреть на «Черный квадрат». Да, он здесь, я впервые увижу вживую то, что раньше разглядывал только на репродукциях в альбомах.

Но озираться по сторонам нельзя, иначе в тебе угадают провинциала. Провинциал — самая тяжелая доля, я тащил на себе этот груз почти двадцать лет, но теперь я здесь, теперь все самое ужасное позади: после небольших формальностей в приемной комиссии института я получил направление в общежитие и примерную инструкцию, как туда добраться. Встречай, Москва, своего блудного сына, я вернулся домой!

Обычно я подолгу изучаю указатели в метро. Людская толчея на «Новокузнецкой» создается искусственно. Казалось бы, можно повесить указатель прямо около лестницы, ведущей в центр зала с «Третьяковской», и тогда поток спешащих пасса-



жиров сразу будет разделяться надвое, каждый поймет, на какой перрон он должен перейти. Но указатель висит поодаль, надо пройти к нему, потом вернуться и только после этого направиться в нужную сторону. Либо надо страдать дальновзоркостью, либо быть коренным москвичом и помнить траектории своих перемещений наизусть. Я долго изучаю список станций по обе стороны от разделяющей их на табличке черной линии. Линия пока не переросла в квадрат и не перерастет никогда. Очень скоро я стану москвичом и выучу наизусть все переходы в метро, разноцветный паук его линий перестанет меня пугать. А пока мне нужно добраться до общаги и поспать после всех своих столичных марафонов.

— Здравствуйте, молодой человек, вы теперь будете здесь жить? — Я не понимаю, в чем я немедленно тону — в ее глазах или в обволакивающем голосе. — Это очень хорошо, что вы поселились здесь, я живу в соседней комнате. Меня зовут Настя, всегда рада, если заглянете на чашку чая.

— Здравствуйте... спасибо... вы тоже заходите, — слова выдавливаются с большим трудом.

Голос пропал, в горле ком. Она смотрит на меня, словно выжигая огнем то, что мгновение назад было лесом или тем самым полем, где мы гуляли с Элвисом. Боже, как описать то, что творилось со мной тогда?!.. Не могу подобрать слова, мысли путаются в голове.

— Молодой человек, вам говорили, что у вас очень красивые глаза? — вновь я услышал голос Насти.

Пелена начала рассеиваться, я увидел девушку, словно в каком-то дурацком аниме. Там глаза рисуют в половину лица, а эмоции и мимика совершенно не похожи на человеческие. В этот раз неестественно вел себя я, жесты напоминали взмахи матроса с семафорными флажками.

— Нет, мне не говорили, хотя, возможно, мои глаза действительно красивы, но они никак не смогут достичь уровня красоты ваших глаз...

Я несу какой-то бред! В таких случаях положено говорить комплименты, вот я и пытаюсь это сделать, но лучше бы молчал. Наверное, она смеется про себя, продолжая смотреть влюбленными глазами... Влюбленными?! Когда же она успела? А я уже успел, но передо мной богиня, а перед ней — всего лишь я...

Я закрыл за собой дверь, упал на нижний ярус двухэтажной кровати и моментально уснул.

В дверь постучали часа через три.

— Привет, меня зовут Яха, Яков по паспорту. Мы теперь соседи. Ты уже занял нижнюю койку... это классно, я буду наверху, люблю высоту! А ты в какой манере пишешь?.. Я хочу взять зрителей абстракцией. Реализм — это хорошо, но скучно. Я домосед, никогда из Подмосковья не выбирался, живу в Чехове, это на юг... А ты откуда?.. — услышал я тираду, лишённую логических переходов. Яха хотел рассказать обо всем и сразу, он, видимо, считал, что времени у него мало, поэтому говорил быстро и глотая целые слоги и слова.

— Новосибирск.

— Это далеко! К вам дофига на поезде ехать, наверное, часов шесть! — Он серьезно так думал, человек, который никогда не выбирался дальше границ Московской области, да ему это, скорее всего, и не было нужно... Я сразу вспомнил новосибирскую богему, довольную тем, что она живет далеко от «внешнего» мира, что ее никто не трогает. Думаю, он такой же. Но парень нормальный, так что уживемся...

— Надо выйти, прогуляться, Москву посмотреть... Ты со мной?

— Конечно, пойдем, потом пива купим, ага? — Яха угадывал мои мысли.

К тому, что вагон метро тебя не выпускает, а выплевывает, я еще не привык. Начинать обзор Москвы с Красной площади — глупо, так делают только наивные туристы, которые остановились тут проездом на один день. Это мне не подходит, я собираюсь тут остаться надолго, так что мне пора начинать изучать местные закоул-



ки. Но выкинуло нас из вагона именно на «Боровицкой». Пройдя по Александровскому саду, мы все же решили не поворачивать в сторону площади, а направились на Тверскую, гнездо разврата, корысти и роскоши!..

Они сидят в кофейне, я вижу их через окно. Они просто болтают с друзьями, читают какой-то журнал, смотрят в никуда и о чем-то думают. Счастье, наверное, заключено именно в этом, а не в том, чтобы добиваться чего-то великого... Заглянем правде в глаза. Я стану художником, обо мне напишет хвалебную статью какой-нибудь пузатый критик, а щупленький студентик наваяет курсовик о том, как я повлиял своей манерой на манеру такого же придурка... Но никто и ничего обо мне не напишет; я закончу академию, получу синий диплом, устроюсь куда-нибудь на работу. Я буду дизайнить на заказ, получать зарплату и нормально жить. Обзаведусь семьей, женюсь на этой... забыл имя... на той, которую видел сегодня в общаге... вспомнил — на Насте! А что, неплохой вариант... Она нежная, заботливая, у нас с ней будут дети. Двое, не больше... Мальчик и девочка... или две девочки. Мы с Настей часто будем ходить в кофейню и всегда садиться за один и тот же столик. Официанты нас запомнят, будут здороваться, а мы будем отвечать им кивком и улыбкой. Каждый вечер нас будут встречать вопросом: «Вам как обычно?» — прекрасно зная наш ответ.

Конечно, зачем менять устоявшиеся привычки...

— Слушай, может, тоже зайдем? — Яха прервал мои воспоминания о будущем.

— У меня нет денег.

— Я угощу сегодня, а потом — ты меня.

Я не хочу становиться великим художником, я просто хочу кофе. С большой высоты больнее падать.

На кофе наша прогулка не закончилась. Как и предполагалось вначале, взяли пива, посидели во дворике рядом с общагой, потом выпили еще. Охранник мог и не пустить, но сегодня дежурил нормальный парень, он протолкнул нас по одному через турникет проходной, тихо выматерился и приказал добежать до своей комнаты и рухнуть в койку. Мы поднялись на свой этаж, Яха открыл дверь и исчез в темноте, и я уже собирался последовать за ним, когда чья-то рука сжала мое плечо. Я обернулся и увидел Настю.

— Здравствуй, мой Маленький Принц, — прошептала она.

Глава 7.

На вступительных я мало думал об учебе. Все прошло легко, творческий этап не был слишком сложным — по крайней мере, мне так показалось. Я продемонстрировал профессуре свои работы, они понравились, хоть и не были очень уж профессиональными...

— В маляры бы идти твоему Малевичу! — еще дома твердил мне сосед каждый раз, когда мы усаживались с ним на лавочке перед подъездом.

Мы никогда не были друзьями, но поболтать ни я, ни он не отказывались. О Малевиче я говорил часто, переводя разговор на обсуждение «Черного квадрата» с любой темы.

— Закат! — протягивал я, отхлебывая из пивной бутылки и глядя в небо.

Я мог начать разговор с чего угодно, все зависело лишь от того, что в данный момент было перед глазами. Точно так же я мог восхищаться облаками, речной зыбью, проходящими мимо девушками или припарковавшимся рядом автомобилем.

— Согласись же, что красиво, Вовчик!

— Без базара! — отрезал Вовчик, отхлебывая.

— Клево, когда небо красное!

— Базара нет! — Вовчик был лаконичен, а его словарный запас позволял одним и тем же словом выражать целую гамму чувств: восхищение, презрение, пиетет, восторг, отвращение и даже гнев.

* * *

Девушка подошла к столу, приложила указательный палец к щеке и стала скользить взглядом по разложенным на преподавательском столе билетам. Наконец она остановила свой выбор, протянула руку и прочитала вслух текст, напечатанный мелким шрифтом на листке.

— Вы можете не повторять написанное, вопрос мне известен, меня будет интересовать ответ, — издевательским тоном проговорил преподаватель. — Просто назовите номер билета — и все! *Пока* все! — он опять ухмыльнулся.

Она развернулась и пошла искать место в аудитории, чтобы подготовиться.

— Далеко не уходите, я все равно увижу шпаргалки!

— У меня ничего такого нет...

— Ну ладно, я пошутил, — снова ухмыльнулся молодой ассистент и уткнулся в газету, содержание которой не соответствовало теме сегодняшних бесед с абитуриентами.

Не тратя времени на подготовку, я отстрелялся, получил заслуженную четверку и вышел в коридор, просидев там не меньше часа, прежде чем увидел, как легкой походкой, словно сбросив с себя тяжеленный груз, из комнаты вышла незнакомка, за которой я недавно наблюдал в аудитории.

— Привет, как сдала?

— На пять! — ответила она, немного опешив от моего напора.

— Слушай, пойдешь с нами, мы хотим погулять по Москве, посидим где-нибудь...

— Кто это «мы»? Я и с тобой-то в первый раз разговариваю.

— Ладно, Ульяна... Никто куда не собирался, я тут никого не знаю, кроме своего соседа по комнате. Я просто приглашаю тебя посидеть в кафе. Мы же будем учиться вместе, нам надо подружиться, — ляпнул я в конце, не понимая, зачем сделал это.

— Мы будем учиться вместе, только если все сдадим. Так что кафе подождет... А откуда ты знаешь мое имя?

— Услышал на экзамене.

— Кафе подождет, — вновь отчеканила Ульяна. — Буду учиться. Как-нибудь после экзаменов.

Я поймал ее на слове:

— Но после экзаменов — ага?

— Ага, если тебе так удобнее. Если тебе не трудно, говори со мной на нормальном языке!

— Будь по твоему, Ульяна, однако все обещания я понимаю буквально, так что послезавтра после экзамена буду ждать тебя здесь, ага? Ой, извини, вырвалось... Это проклятое «ага» теперь мешает мне жить, но я буду с ним бороться, даю слово!

— Я тоже понимаю все обещания буквально, так что у тебя есть два дня на окончательную победу над своим «ага». До встречи!

Она на мгновение сжала мою руку, потом помахала мне и растворилась среди измотанных экзаменом абитуриентов.

* * *

Яха и Настя двигались стремительно, казалось, что они расталкивают всех, кто встречается на их пути. Они идут немного впереди, а я плетусь, отставая от них на пару шагов, отрешенный от мира.

— Стой! Красный!

Это Настя. Она крепко держала меня под руку, не позволяя ступить на проезжую часть, где автомобили в один момент превратились в табун, сметающий со своего пути случайно оказавшихся пешеходов.

— Что с тобой, дружище? Перезанимался? — Яха пощелкал пальцами у меня перед глазами.



* * *

Вовчик обычно много болтал, думая, что я его слушаю. Он мог рассказывать обо всем, что мне было безразлично, оставалось только кивать головой.

— Ты видел солнечное затмение? — спросил я его однажды.

— Видел... Вот ты сидишь дома, никуда не вылезает, а меня в детстве батя везде возил. Представь — поле, мы едем на машине, а тут уже днем начало темнеть... Мы остановились, вышли. Тут солнце стало прятаться. Батя посмотрел на него без темных очков, вскрикнул от боли, потом побежал в машину, уткнулся лбом в руль — так и сидел. Я понял, что надо с очками, тоже в машину полез. Батя протянул мне дискету — помнишь, раньше были такие, пятидюймовые?.. Мы разломали ее, вытащили какую-то круглую фигню, через нее и смотрели. Сначала была какая-то светящаяся кромка, а потом все погасло!.. А-а, я понял, к чему ты клонишь... Да, это был твой «Черный квадрат»: раньше было много разных цветов, а потом их все закрыло черным.

Он замолчал на какое-то время.

— И это клево! — добавил Вовчик.

* * *

Я подмигнул каменному Пушкину, а он остался равнодушным, но смотрел на нас с Настей и Яхой по-доброму, без осуждения. Когда-то он пугал нас каменным гостем и медным всадником, а теперь сам встал на их место.

Мы шли мимо витрин и людей. Ульяны с нами не было.

Глава 8.

В музее, куда я направился в это воскресенье, две выставки. По стране возят экспозицию Марка Шагала. Название точно не помню, но что-то связанное с Библией. Сегодня коллекцию привезли в Москву, через некоторое время она отправится дальше. Вторая выставка — какие-то буддийские сокровища. Под одной крышей должны сойтись Запад и Восток, изображая примирение.

— Вы знаете, куда шагал Шагал? — так мы однажды приставали к девушкам на Чистых прудах. Они этого не знали и не хотели знать, они просто гуляли и мечтали, чтобы к ним подошли познакомиться нормальные парни, не замороченные всяким псевдоинтеллектуальным бредом, а не подвыпившие художники, не способные сводить их в кафе, так как денег хватит только на коктейль в «Макдоналдсе».

Сегодня я сам шагал к Шагалу. Билеты купил на обе выставки; вопрос о том, куда пойти сначала, был труден, но решил быстро. Логика была проста: вдруг на вторую выставку не останется времени. Хотя экспозиции работали до вечера, а залы небольшие, но все же...

Чем характерен Шагал — у него нет ничего лишнего. Хотя, конечно, это можно сказать и о других великих художниках. Посмотрите, разве можно что-нибудь добавить к «Кувшинкам» Моне, хотя бы одну кувшинку? Наверное, нет. Их там ровно столько, сколько должно быть, и расположены они именно там, где надо. Женька бы это не понял, он задал бы простой и глупый вопрос: а почему нельзя их поменять местами? Хотя ему я, наверное, смог бы объяснить, он программист, так что знает, что такое требуемое количество в нужном порядке. По крайней мере, я мог бы сравнить это с дефрагментацией диска.

К Рафаэлю добавлять можно. На картине «Афинская школа» изображено больше двух десятков философов. Пифагор уже умер, а Аверроэс еще не родился. Я бы добавил туда оппонентов Сократа. Где Тимей, где Критий, где Федр с Федоном?.. Получилась бы интересная композиция: все нападают на Сократа, Сократ забрасывает их неопровержимыми аргументами, а дева в сторонке уже готовит цикуту. Аргументы Сократа можно изобразить на облачках с текстом. Получится комикс от Рафаэля... Оригинально!

* * *

На семинаре по философии у нас молодой преподаватель по имени Костик. Работает он первый год, сильно волнуется, перед семинаром обязательно выпивает для храбрости. Он ходит между рядами, держась за парты, на переменах прислоняется к стенке и стоит так до самого звонка.

— Вы ознакомились с произведениями Аристокла Афинского, более известного под именем Пла-а-атон-н, — растягивая гласные и согласные, произносит Костик. — Ну и как?! — спрашивает он, застенчиво шурясь, улыбаясь и оглядывая аудиторию в надежде увидеть поднятую руку.

* * *

Платон шагает рядом с Аристотелем, отвернувшись от своего учителя Сократа, который занят спором с Алкивиадом и Антисфеном. Он не обращает внимания даже на красавицу Гипатию. О Гипатии я узнал когда-то из детской энциклопедии. Из античной ученой составители попытались вырастить пионерку-героя. Ребятам дошкольного и младшего школьного возраста подробно рассказывали о том, как озверевшие христиане напали на ученую и заостренными краями раковин вырывали куски мяса из ее тела. Примерно так дошколятам и октябрятам пытались привить атеистическое мировоззрение. Конечно, им было еще рано смотреть на изображение библейских сюжетов у Шагала, иначе случилось бы самое страшное для идеологов тех времен: маленькие дети посмотрели бы на рисунки старого еврейского художника и поняли бы их.

Буддийскую выставку я пробежал за двадцать минут. Красиво, изящно, много деталей, чувствуется мастерство, но не то...

— Как вам выставки, какая понравилась больше? — спросила сотрудница музея на выходе.

— Буддистам не хватает простоты, — ответил я. — Простота многое в себе содержит. Взять, к примеру, «Черный квадрат» Малевича... — начал я было, но, махнув рукой, попрощался и вышел на улицу.

И снова о «Кувшинках». Наверное, они просто совершеннее людей. В отличие от философов, они не задумываются о смысле своего бытия, поэтому их ровно столько, сколько и должно быть на этом пруду.

Глава 9.

— Начать лекцию о живописи непросто! — вдруг взорвался профессор, несколько секунд до этого молчавший и словно с испугом в первый раз разглядывавший студентов. — Наверное, проще быть поэтом, «говорить словами о словах». А как описать словами образы? Что более универсально — слово или образ? Конечно, мы обязаны сказать, что образы полнее слов... Кстати, что такое любовь? Поэт может описать чувство так, что мы прочитаем и скажем: «Да, это любовь, это страх, это восхищение, а это — безразличие!» А что можем сделать мы, художники?... Я называю вас художниками, коллегами, ведь в душе вы уже стали живописцами... А что такое душа? Вот этого поэтам не понять, хотя они поминают ее в каждой строке. Душу нельзя проговорить, но можно представить, а для этого и существует живопись.

Я внимательно слушал, хоть и чувствовал себя невыспавшимся. Вчера я никуда не ходил, ни с кем не встречался, не выпил ни грамма алкоголя, не переполнял свою голову излишними впечатлениями. Я провел весь день спокойно, предпочитая одиночество веселым крикам за стеной, пьяной физиономии Яхи и настойчивым попыткам Насти схватить меня за руку и стянуть с койки, дабы увлечь в неведомое путешествие по коридорам общежития, пока Настя не сдалась и не заснула у меня на руке. Она просто заснула, а когда проснулась утром, то не поняла, почему оказалась в моей кровати одетая.



— Почему, почему... — передразнил я ее. — Потому что сегодня первое сентября.

— А что, первого нельзя?

— Еще — потому что ты выпила.

— Когда я выпью, меня легче затащить в постель.

— Ты же и так спала в моей постели.

— Но я же не спала с тобой.

В общем, получилось все именно так, как получилось. Утром я развел кипятком растворимый кофе, покрутил в руках пакет с печеньем, решив не открывать его, одним залпом выпил горячий утренний напиток и вышел за дверь. Я не помню, как мама собирала меня первый раз в первый класс, но сейчас мне показалось, что думал я тогда примерно о том же: чего-то боялся и на что-то надеялся.

Небо сегодня было ясное, солнце припекало, гулявшие вчера однокурсники явно мучились головной болью. Я же внимательно прослушал приветственную речь ректора в институтском дворе, в которой не было ничего интересного, и занял свое место в аудитории, где должна была состояться первая лекция.

— Вот еще одно отличие слов от образов. Представьте, что перед вами белоснежный лист бумаги или кусок холста, натянутый на подрамник. Вот этот момент, когда мир еще не сотворен, но все во власти творца... Что вы можете сделать? Нанести один мазок, одну линию, просто брызнуть краской — и вот уже движение, уже целый мир! Теперь мы в ожидании... А как поступит литератор? Станет ли тетрадь другой после того как он напишет первую букву, даже первое слово, первую строку? Нет, ведь он ищет законченную мысль, а у живописца мысль закончена в каждом образе, а после начинается другая. Нам не нужно подбирать слова, исправлять ошибки...

Профессор на миг замолчал, а я посмотрел на сидевшую рядом Ульяну. Она была словно загипнотизирована, широко раскрыла свои серые глаза и смотрела вперед, но не на преподавателя, а будто бы сквозь него, как если бы видела, чьим орудием и репродуктором стал лектор.

Я осторожно прикоснулся к ней и погладил по руке. Она не обратила сначала внимания, а потом отдернулась, не отводя взгляда от профессора.

— Классно, да? — попытался я заговорить с ней шепотом, не найдя ничего более умного.

— Тс-с! — прошипела она, приставив пальчик к губам.

Профессор в это время молчал, задумавшись и блуждая вдоль доски. Через миг он вновь прервал тишину громким возгласом:

— Забудьте слова, забудьте то, о чем я говорю вам сейчас. Просто берите кисти, краски и не думайте ни о чем! Мысль будет только убивать ваши образы. Зачем думать и что-то дополнять, убирать, исправлять... Вот они, краски! Вот они, контуры! Вот они... — профессор задумался. — Видите, я не могу подобрать слово, сбился. А в образах сбиться нельзя... Я вам расскажу одну историю. У меня есть маленький сын, тоже, наверное, будет художником... Однажды я написал небольшой натюрморт, просто развлекался, хотел убить время. Оставил его, ушел в другую комнату, а парень взял кисти и что-то там наляпал сверху. Я вернулся, увидел это, опять взял краски... Его мазня вполне подходила под задуманное мной. Я продолжил линии, где-то наложил другой цвет. В итоге получился новый образ, не хуже предыдущего. Кстати, забудьте о категориях «лучше» и «хуже». Это не для нас, нам позволено все! Нравится вам такой образ жизни?..

— Да-а! — нестройными голосами ответила аудитория...

Прозвенел звонок, мы с Ульяной вышли в общем потоке в коридор.

— Мне здесь начинает нравиться.

Я опять сморозил очевидную глупость, а Ульяна ничего не ответила, лишь пожала плечами.

В студию нас ждет другой преподаватель, намного моложе лектора, который даже в свои зрелые годы не утратил юношеского бунтарства и способности стать

отцом маленького сына. Этот препод долго не обращал на нас внимания, прилаживая на мольберт чистый лист ватмана.

— Ну что, устали от теории? — обратился он к нам. — Ничего, сейчас перейдем к практике, к тому, что вы, наверное, уже успели полюбить, если оказались здесь. Я тоже тут учился и слушал лекции, но практические занятия мне всегда были интереснее и милее... Итак, мы собрались тут не для того чтобы молотить языком, а чтобы начать работать! — он обернулся к мольберту. — Передо мной палитра, она пока чиста, сегодня утром на кафедре мне выдали совсем новую. Здесь будут намешаны краски и цвета. Какие — это вам решать, вы будете хозяевами,демиургами. Ладно, что-то я разговорился, пора начинать...

Белый лист сорвался с мольберта и, шелестя, упал на пол.

— Хорошая примета! — весело заметил преподаватель. — Если картина упала, то ее купят! Так вот, я продолжаю... Есть всего три цвета: красный, желтый и синий, все остальное — их сочетание. Если смешать все цвета, то получится белый...

Чушь! Малевич смешал цвета и получился черный! Теория и практика друг другу противоречат.

Сегодня первое сентября. Я влюбился. Она блондинка, носит оранжевое, у нее серые глаза.

Глава 10.

С утра казалось, что день потрачен зря. Прогулка по Третьяковской галерее, конечно, была впечатляющей, но я все же решился задать работникам галереи дурацкий вопрос, который звучал еще глупее из уст широко раскрывшего глаза и разводящего руками очкарика:

— А где здесь «Черный квадрат» Малевича?

Я приготовился к тому, что меня примут за продвинутого ценителя современного искусства, но седовласая служительница музея посмотрела на меня свысока и, усмехнувшись, ответила:

— «Черный квадрат», молодой человек, находится не здесь. Поезжайте на Крымский Вал, в ЦДХ, именно там находится Третьяковка, которую вы ищете.

— А здесь тогда что?

— Здесь Третьяковская галерея, там — тоже Третьяковская галерея. И дом-музей Васнецова, и музей-квартира Васнецова, и музей-мастерская Голубкиной, и дом-музей Корина — все это тоже Третьяковка...

Я снова отправился к метро, добрался до «Октябрьской», пробежал по улице и напротив парка нырнул в подземный переход. Приятно сидеть или бродить среди картин, пусть даже типовых и интерьерных: ты смотришь на них, они смотрят на тебя — вы на равных. А те полотна, что висят в галереях, уже кем-то убиты. Может, самим художником, может, галеристами или аукционщиками, но все это так похоже на мясные ряды на рынке. Картина жила в мастерской, автор кормил ее новыми красками, ухаживал, лелеял ее... а потом снял со стены, отправил на убой, на продажу. А здесь они еще живые, им еще предстоит украсить чей-то дом...

Я вынул из кармана новенький студенческий билет и сунул его в окошко администратора. Девушка по ту сторону стекла молча покрутила его перед собой и выписала контрамарку. Эй, мое имя вам еще не известно?.. Скоро обо мне все узнают (или узнаете только вы, ведь я буду торговать картинами в переходе неподалеку)!..

Я бежал сквозь залы в поисках «Черного квадрата». Он там, за стеклянной дверью... Я войду и увижу его! Наверное, я упаду на колени или меня хватит инфаркт. Сейчас я иду не на выставку, не в музей, а в храм — «Квадрат» и висел когда-то в верхнем углу зала, там, где традиционно помещали иконы.

В зале был полумрак — никакого умысла администрации в этом не было, просто решили сэкономить на лампочках. «Квадрат» располагался не на стене, а на колонне посреди зала, он снова играл роль иконы. Полотно было закрыто стеклом, в котором я увидел свое отражение. Еще полчаса назад я представлял, что упаду перед



«Квадратом» на колени, но сейчас мне этого делать не хотелось: в нем не было ничего особенного.

Я долго, будто в пустоту, смотрел на картину... А потом развернулся и ушел домой.

Глава 11.

Я ребенок восьмидесятых, самого конца этого серого и скучного десятилетия. Как и все парни моего поколения, я был влюблен в Наташу Гусеву. Наташа появлялась в нашей жизни раз в год, когда на летних каникулах школьников радовали «Гостей из будущего». Никакой видеотехники у родителей простых советских школьников тогда не было, мы полностью зависели от желаний и планов начальников Центрального телевидения. Нам оставалось только ждать — и мы ждали: целый год, влюбляясь поочередно в своих одноклассниц, соседок по подъезду и случайно встреченных где-то девчонок, мы жили будущим, в которое летом входила одна и та же гостя. И начиналась неделя абсолютного счастья... Каждое утро мы, забывая о том, что на каникулах принято спать до полудня, поднимались пораньше, чтобы отправить родителей на работу и устроиться перед телевизором. «Конец света» неумолимо приближался, в пятницу нас ожидала последняя серия. Алиса прощалась с одноклассниками, уходила в наполненную ярким светом комнату, дверь за ней наглухо закрывалась, а тонкий девичий голосок умолял прекрасное далекое будущее не прожвлять излишнюю жестокость к дальнейшей судьбе.

Вплоть до вечера я ходил отрешенный, ронял все из рук и не хотел есть. Пришедшая вечером с работы мама строго спрашивала, почему я не пообедал, а потом с улыбкой смотрела на меня, понимая, что ее сын влюбился...

Потом мы выросли, влюблялись снова, но смотрели уже другие фильмы, а Наташу Гусеву заменила милая Софи Марсо. Фильм был старый, снятый раньше «Госты», зато героиня была немного постарше...

Кстати, вон та девушка, обернувшаяся и посмотревшая на меня, очень похожа на Софи в том самом фильме: и черты лица, и взгляд... Я приглашу ее позировать, напишу с нее портрет Софи Марсо. Никаких контуров, все будет немного смазано... А ее зеленая кофточка, она так гармонирует с красной блузкой ее подруги — это сочетание несочетаемого!

— Гуля, поторопись! — звонким голосом окликнула мою будущую модель девушка в красной блузке.

— Бегу! — ответила она, уткнувшись взглядом в пол, на ходу застегивая сумку.

Проход был довольно широкий, но мы все же столкнулись в дверях.

— Простите, я вас не видела, — начала было оправдываться она.

— Ничего страшного, Гуля! — ответил я.

— Мы знакомы? — слегка испуганно спросила она.

— Почти! Я ведь уже знаю, как тебя зовут. Красивое имя... такое необычное.

— Татарское... оно означает «цветок граната».

— Никогда не видел цветы граната, но я нарисовал бы их.

— Ты художник?

— Только учусь, но в будущем ты обо мне услышишь, обещаю!.. Ты сможешь позировать мне?

— Ты же собрался рисовать цветок.

— Но ты и есть цветок!

— Спасибо, нам пора идти... может быть, увидимся.

Гульнара и ее подруга исчезли в дверях.

Я уже знал ее имя, знал, где можно ее найти. Над алгоритмом поиска я трудился весь следующий вечер. В университете восемь факультетов, восемь деканатов, я знаю имя, но не знаю фамилии...

— Здравствуйте, мне нужно передать информацию о стажировке одной из ваших студенток. Я знаю имя, но не знаю фамилии... Не могли бы вы помочь мне ее найти? — этой фразой я начинал разговор с секретаршами деканатов.



Я побывал в деканатах пяти факультетов из восьми. Мне повезло: грубо послали только в трех. В двух согласились помочь, показали личные карточки студенток с именем Гульнара, которое оказалось не таким уж и редким. Теперь в памяти моего телефона был номер девушки в зеленой кофточке, так и не улыбнувшейся мне.

Когда я стал еще старше, я присоединился к поклонникам Одри Хэпберн и противникам Мэрилин Монро. Всецело поддерживая фракцию «одринистов», я ругал «мэрилинщиков» за пристрастие к вульгарности. Милая Одри просилась на портрет: выразительный взгляд, четкие очертания губ и подбородка, прическа с непослушной прядью. А Мэрилин нарисовать нельзя — если ты не Энди Уорхол, конечно!

Глава 12.

— Вас что-нибудь интересует молодые люди?

Хозяйка маленького магазина, продающего какой-то элитный чай, готова была включить все свое обаяние, чтобы обменять товар на последние деньги малообеспеченных студентов.

— Мы просто показываем другу Москву, он приехал из Новосибирска.

— Зачем ты сказал, что я из Новосибирска? — возмутился я «разоблачением».

— Не стесняйся, здесь все такие, все откуда-нибудь приехали, — улыбнулись мои экскурсоводы.

Дашка — коренная москвичка в энном поколении, что само по себе удивительно. Она любит Москву. Живет Дашка в переулке у Патриков. Мы часто выбираемся туда, смотрим на плавающих лебедей и гогочем над бездарно сработанными чугунными картинками на тему крыловских басен у памятника великому интерпретатору сюжетов Эзопа. Особенно нас веселит слоновья задница, на которую равнодушно глядит искоса уродливая Моська, повернувшаяся в сторону гуляющих вокруг пруда прохожих, демонстрируя свою усталость от бесконечно повторяющегося повествования и своей роли в нем.

Дашка любит Москву, а я не говорю ей правду о том, как сам отношусь к этому городу. Теперь я уже знаю: Москву нельзя любить, Москвой можно только пользоваться, прекрасно понимая, что она тоже пользуется тобой.

— Ты любишь Москву? — спрашивает меня Яха.

— Да нет...

— Почему? — недоумевает Яха.

— Как можно любить камень или асфальт?..

Дашка любит ходить на выставки и на концерты, разгуливает по ночам и не боится, что к ней пристанут гопники. В городе, где все что-то ненавидят, она любит. Любит своих кошек, любит подолгу смотреть в окно и о чем-то думать, не сразу откликаясь, если кто-то ее позовет. Любит оставаться одна, хоть дома, хоть в большой компании — уходит в сторону и молчит. На Патриках, когда шумная тусовка собирается вокруг одной из лавочек, распугивая старушек, Дашка спускается к пруду, фотографирует лебедей, бросает им крошки на воду и даже о чем-то разговаривает с ними.

Еще она любит песни неизвестных бардов и мечтает жить в Индии или в Китае. В ее комнате на стенах развешаны разноцветные шелковые лоскутки, буддийские амулеты, картинки, с которых улыбаются толстопузые китайские чиновники, африканские маски. Каждый входящий в комнату напоминает о своем появлении звоном колокольчиков, которые он задевает лбом. Дашка часто надевает какие-то бесформенные юбки, сотканые из мешковины, расшитые тесьмой рубахи, вплетает в волосы разноцветные ленты, украшенные бисером. Она носит очки, специально подбирая большие оправы, чтобы выглядело немного забавно и ни в коем случае не по-деловому, не в офисном стиле. Чтобы было еще смешнее, она иногда засовывает под очки палец и чешет глаз или протирает стекло изнутри, оставляя там свои отпечатки.

Летом Дашка уезжает подальше от городского шума, появляясь в Москве лишь на несколько дней, чтобы покормить лебедей на Патриках. Она предпочитает быть потерявшейся маленькой девочкой в большом мире на фоне горных пейзажей или в



лесных дебрях, слушая шорох огромных березовых листьев и стрекотание кузнечиков. Она исходила пешком и объездила на велосипеде Подмоскowie, надолго убегая от родителей, которые, в общем-то, о ней и не беспокоились лет с четырнадцати. Мама и папа просто всегда ей верили, они знали, что Дашка путешествует не одна, что всегда рядом есть кто-то, кто сможет за нее постоять. Став постарше, она уже смело разъезжала автостопом и на электричках-«собаках» по стране, добиралась до Алтая и Байкала (проезжая, кстати, мимо Новосибирска, но даже не подозревая о том, что мы когда-нибудь познакомимся). Она ездила на юг, забираясь подальше в компании бездельничающих хиппи, и на север, в Карелию, с такими же длинноволосыми бродягами, бегущими от цивилизации.

В Карелии со своим очередным другом она однажды забрела в запретную зону, поблизости от финской границы. Пограничники привели их под конвоем на свою заставу.

— Мы за бугор не собирались! — выпалил Дашкин попутчик.

«Дурак, тебя же еще ни о чем не спросили!» — подумала Дашка. Пограничники посмеялись, посадили скитальцев в тепловоз идущего из Финляндии товарняка и дали в дорогу две буханки хлеба, сразу же съеденные оголодавшими путниками. Парень ел жадно, оставив Дашку совсем голодной, и сошел на одной из промежуточных станций. Она же поехала дальше и больше не вспоминала о нем...

— Это твоя работа? — спросила она меня, показывая на висящий на стене лист ватмана, где плясали несколько разноцветных акварельных квадратиков, пытаясь вырваться из прямых линий и углов.

— Нравится? — ответил я вопросом на вопрос.

— Нравится, оригинально... Твои квадраты... они как люди. Я угадала?

— Именно так! Наверное, они приятели, они даже разговаривают между собой. Посмотри, они все разноцветные, каждый думает о своем, каждый что-то чувствует. Красный, он возбужден и чем-то недоволен... или он пьяный — видишь, вот-вот упадет. Синий спокоен, он думает о том, что не касается больше никого. Зеленый прячется за синим, он испугался красного, тот готов полезть в драку. А желтому просто скучно, потому он и стоит отдельно, вдалеке от всех остальных, в углу. Он вообще не хочет быть на этом листе, жмется к краю и мечтает о том, чтобы выпрыгнуть отсюда. Но он слишком слаб, желтый цвет — цвет слабых и стеснительных.

— Молодец, ты классно рисуешь квадраты... А можешь нарисовать кошку? Просто кошку, о которой ничего потом не нужно будет говорить, все и так будет понятно.

— Могу, но разве интересно то, к чему нечего добавить? Я люблю, конечно, классику, академизм, барокко, но обо всем этом нельзя ничего сказать, там и так все понятно — содержание в нем есть, а формы нет. А в авангарде все наоборот: есть только форма, но нет содержания, его ты придумываешь сам. Или наоборот, есть только содержание, но нет формы... Тьфу, блин, запутался! В общем, эти квадраты прекрасны... Смотри на них и восхищайся... но если хочешь, то можешь критиковать, я не обижусь... — я улыбнулся и покраснел, как тот квадрат, с которого мы начали осмотр и рассуждения.

— Я же говорила тебе, нарисуй кошку! Она будет пушистой и мягкой, будет смотреть с картины и просить молока.

— Как же я дам ей молока?

— Нарисуешь. Я хотела тебя еще спросить про эти квадраты. Почему нет черного? Он был бы обречен на успех! — Дашка ухмыльнулась. — Малевич нарисовал, теперь все о нем вспоминают.

— Черный квадрат одинок, ему не нужна компания. Все эти красные, желтые... зачем они ему? Он сам все знает, все видит, а эти просто болтались бы у него под ногами.

— А у квадрата есть ноги?

— У черного — точно есть! У него есть все, — я же говорю, что ему никто не нужен. Мы смотрим на этих разноцветных, а им до нас нет дела. А черный квадрат

смотрит на каждого, кто подходит; мы думаем о нем, а он думает о нас... А эти думать не умеют, они придурки, ни на что не способны!.. Ты права, лучше я изобразю кошку.

Я начал говорить тихим голосом, но теперь почти кричал, а мои глаза наполнились слезами. Я вдруг понял, что я бездарность, что никому не нужны мои квадраты, что я просто пытаюсь повторить то, что до меня многие делали тысячу раз. Изобразить квадрат непросто, это под силу только Малевичу, но никак не мне.

Я протянул руку, сорвал свои квадраты со стены и разорвал ватман пополам.

— Зачем ты сделал это? — закричала Дашка, и все пришедшие на выставку студенческих работ обернулись на нас.

— Я породил, я и убью, — пожав плечами, ответил я.

Внезапно накотившаяся истерика так же внезапно прошла, мне стало хорошо уже оттого, что я могу так просто обращаться с собственными творениями. Я хозяин, я могу делать все, что захочу, не это ли самое приятное на свете...

Я глупо улыбнулся всем собравшимся, взял Дашку под руку и вывел ее из институтского коридора, превращенного сегодня в выставочный зал. Мы вышли на улицу и долго молчали, бродя по опустевшим к вечеру переулкам.

— Здесь я тебя оставляю, — нарушила молчание Дашка. — Я пришла, это мой подъезд. Спасибо за выставку, за то, что проводил... и не расстраивайся, картина классная. И вообще, мне все очень понравилось.

— Можно поцеловать тебя?

— Да!..

...Гульнару, мою Эвридику, я с тех пор не встречал. Она уехала куда-то подальше, туда, где никто ее не знает.

С Дашкой, моей Медеей, все понятно. Ее ожидает, наверное, судьба Илмаре. Она ездит автостопом, плетет феньки, увлекается чем-то индийским.

Ульяна, моя Хлоя, больше ничего не боится. Даже если молодой препод намекнет ей на то, что нужно убрать несуществующую «шпору».

Настя — моя Ариадна, подающая руку в темном лабиринте, указывающая путь к свободе, к самому себе. Она умеет разговаривать со своей судьбой. Она сильнее всех.

А у меня все в порядке. У меня есть мой черный квадрат. Мой черный квадрат — четыре стороны, на которые мне предлагают идти. Мой черный квадрат — четыре угла, в которые я могу спрятаться... и в которые меня ставят за непослушание. Мой черный квадрат — четыре части, на которые я разорван. Мой черный квадрат — это четыре женщины, которых я люблю. Люблю искренне, каждую по-особому...

Я не вписываюсь в рамки, я хочу вырваться из квадрата, но не знаю, в какую сторону мне идти. Я понимаю теперь мамины слова: «Надеюсь, ты не собираешься стать художником...» Иногда мне становится жаль, что стал. Но стал же!

Я смотрю на «Черный квадрат» Малевича и вижу в нем свое отражение. «Черный квадрат» — это зеркало, каждый видит в нем только то, что есть он сам. Если он видит в нем только черный квадрат, это значит, что сам он — не более чем черный квадрат.

Когда-нибудь и я напишу свой черный квадрат. Это будет только мой квадрат, не похожий на другие. Мои линии, мои углы.

Мои и только мои.

Михаил ЩУКИН

«БЕЛЫЙ ФАРТУК, БЕЛЫЙ БАНТ...»*

Судьба гимназии и гимназисток

5. Согласно «Важнейшим правилам...»

Многое, очень многое было унесено ветром времени, который буйствовал безудержно на суровых перекрестках жестокого двадцатого века. Исчезали бесследно семейные альбомы, фотографии, письма, реликвии, которые передавались из поколения в поколение... И оставалась только память, сохраненная детьми, внуками, а порою и правнуками. И ценнее они именно тем обстоятельством, что сохранились...

Жительница Новосибирска Лия Петровна Харченко в своих воспоминаниях так передает рассказы своей матери Валентины Сенченко, которая училась в гимназии.

«В 1910 году, восьми лет, мама поступила в подготовительный класс Первой Ново-Николаевской женской гимназии Павлы Алексеевны Смирновой. Училась легко, без осложнений. Класс был серьезно настроен на получение знаний. Вместе с мамой училась и будущий знаменитый невропатолог города Эсфирь Зеликовна Шамовская, тогда просто Фира.

Порядки в гимназии были очень строгие: все одеты в одну форму — никаких драгоценностей и украшений, никаких различий между богатыми, бедными и средним классом. Ученицы старшего, 7-го класса, имели право выйти замуж. Им разрешалось только одно украшение — обручальное кольцо.

Мама часто вспоминала школьные пикники. Они проводились каждую весну на нынешней улице Дуси Ковальчук, от площади Калинина до улицы Плановой, чаще всего там, где находится сейчас 120-я школа. В этом районе рос прекрасный сосновый бор, солнечный, с большими полянами. Весной поляны покрывались ковром из цветущих огоньков. Детям казалось: весь мир в цветах.

Летом катались на лодках по Оби. Все отлично плавали, редко кто из детей не умел держаться на воде. Брат Николай запросто переплывал Обь в районе железнодорожного моста. Младшие завидовали ему. С собой в лодку дети брали краюшки хлеба, чтобы, вообразив себя индейцами, обмакнуть их в реке и съесть. Река была чистой, как и небо над их городом.

Из изучаемых в гимназии предметов мама больше всего любила историю... Кроме истории, русской словесности, географии мама увлекалась изучением немецкого языка. Чтобы освоить разговорную речь, брала уроки у пленного австрийца, оказавшегося в Ново-Николаевске в период Первой мировой войны. Язык изучила настолько, что могла читать в подлиннике немецкую литературу...

Решением Педагогического Совета от 11 июня 1919 года ученице VII класса Первой женской гимназии был выписан аттестат об ее окончании. В нем говорилось: «В настоящем году Сенченко Валентина показала в предметах гимназического курса нижеследующие познания:

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2013, № 3.



- 1) в Законе Божьем — отличная (5)
- 2) в русском языке и словесности — отличная (5)
- 3) в математике — хорошия (4)
- 4) в географии всеобщей и русской — хорошия (4)
- 5) в естественной истории — удовлетворительная (3)
- 6) в истории всеобщей и русской — отличная (5)
- 7) в физике — отличная (5)
- 8) в математической географии — отличная (5)
- 9) гигиена — отличная (5)
- 10) рисование — (не было)
- 11) французский язык — (не было)
- 12) в немецком языке — хорошия (4)
- 13) в рукоделии — хорошия (4)
- 14) латинский язык — (не было)
- 15) в педагогике — отличная (5)»

Но мы вернемся к архивным документам, к гимназисткам и к их воспоминаниям о гимназии. Наиболее полные воспоминания оставила нам Зинаида Матвеевна Сирыченко [1], которая приехала в Ново-Николаевск в 1914 году, двенадцатилетней девочкой, и здесь, уже в Новосибирске, дожила до столетнего юбилея. Строки эти поистине бесценны, потому что написаны свидетельницей тех далеких лет.

«Я училась в железнодорожной школе (на станции Чулымской. — *М. Ц.*), где и закончила четыре класса. Потом мне наняли учительницу. В 1914 году родители решили отправить меня, как старшую, в Ново-Николаевск, учиться в гимназии... Отец спросил, в какой гимназии хочу я учиться. Я ответила: «В первой». Думала, что первая — самая лучшая. Мама стала возражать, так как родители знали, что плата за обучение в первой гимназии выше. Но отец сказал: «Если дочь хочет учиться в первой гимназии, будет учиться в первой».

Годовая плата за обучение составляла 100 рублей, она вносилась дважды в год, в сентябре и январе. Отец написал прошение в Управление железной дороги, в Омск, с просьбой, чтобы ему помогли оплатить обучение дочери в гимназии. Вскоре он получил ответ, где его благодарили за желание учить детей и предложили присылать квитанции об оплате за учебу дочери. И пока я училась, ему возмещали полностью затраты денег на мою учебу. Мама отвезла меня в город. Осенью того года мне исполнилось двенадцать лет.

Ново-Николаевск был в те годы деревянным: деревянные дома и тротуары, да и топили дровами. Каменных зданий было мало, одним из самых красивых был, конечно, храм Александра Невского. Мы ходили туда молиться Богу.

Помню, там, где теперь стоит здание мэрии, располагался базар. Зимой мороженая рыба — стерлядь, осетрина, нельма — постоянно предлагалась покупателям, но ее брали не все, дорогая была. В изобилии была другая рыба — щука, окунь, карась, чебак. И покупали ее помногу, мешками. Нагреть свой товар продавцам приходилось деревянной лопатой. Рыбные пироги пекли обычно из нельмы, осетрины или щуки... В те годы жители Ново-Николаевска ходили чаще пешком, город был небольшим, окраина его была там, где сейчас стоит Дом офицеров. Были в городе и извозчики, за небольшую сумму можно было проехать весь город. Кое-кто, особенно врачи и адвокаты, имел свой выезд — лошадь, кучера. И у нас кое-кто из гимназисток приезжал на занятия на своем выезде, большинство же приходили пешком.

Первая женская гимназия находилась на углу улиц Гондатти и Кузнецкой. У гимназии было два основных здания: двухэтажное на улице Гондатти и трехэтажное на улице Кузнецкой. В двухэтажном здании располагались подготовительные классы, а на втором этаже, помнится, были жилые комнаты Павлы Алексеевны Смирновой, начальницы гимназии. В трехэтажном здании учились гимназистки с первого по седьмой класс. Столовая располагалась на первом этаже, библиотека — на втором, зал — на третьем. На первом этаже, в коридоре, при входе направо, был кабинет начальницы и рядом кабинет врача, а налево — раздевалка. Кабинет рукоделия тоже был на первом этаже, там стояли швейные машины.

Рядом с основным зданием гимназии стоял дом, где занимались учащиеся двух параллельных классов. (Параллельные классы стали появляться, когда в гимназию стало поступать много детей.) Помню, в таком классе училась моя подруга Нюра Ермакова.

Девочек учиться в подготовительные классы принимали с семи-восьми лет. После двух лет учебы они переходили в обычные классы без экзаменов. У приходив-



ших учиться без подготовки в классах гимназии знания проверяли на вступительных экзаменах. Мне пришлось пройти это испытание, мои знания проверили и сразу зачислили в третий класс...

Хорошо помню, как мы с мамой ходили к начальнице первой гимназии — Павле Алексеевне Смирновой. Она поговорила с нами, показала рисунки форменного платья, которое мы должны были сшить. В те годы форменное платье носили и гимназистки, и учителя. Наши учительницы носили платья синего цвета, а гимназистки — темно-зеленое платье с фартуком. Белый, парадный фартук мы надевали, когда шли на симфонический концерт или на благотворительный вечер. На ногах обычно носили чулочки из льна (черные или коричневые, чаще — черные) и ботиночки, а в теплое время года — белые чулочки и туфельки. Даже зимой в гимназии нельзя было ходить в суконных ботиночках, сапожках, валенках. Обувь мы приносили с собой в мешочках и переобувались в гардеробе, который закрывался швейцаром на ключ до окончания занятий.

С пятого класса разрешалось носить туфельки на каблучках. Девочки укладывали волосы в косы, их носили распущенными или вокруг головы. Банты были темные, белые вплетали по праздникам. Значок нашей гимназии был желтого цвета, овальный, мы обычно носили его на шапочке или на платье слева. На нем было написано: “Первая Ново-Николаевская гимназия”.

На занятия ходили с ученической сумочкой. Старшеклассницы, с 4-5 класса, учебники носили на руке или перевязанные ремешком. Учебники покупали сами. В городе тогда было два книжных магазина — Литвинова, в здании на Николаевском проспекте, где на втором этаже располагалась мужская гимназия, и Булышко, который находился на Обском проспекте. Наша гимназия имела очень хорошую библиотеку. Многие книги, прочитанные в те годы, я брала там... Помню, что прочла тогда произведения Сенкевича, графа Солиаса...

Мама устроила меня на квартиру к старичкам. За жилье и питание мы платили им 13 рублей в месяц. Утром я уходила на занятия, после обеда занималась дома. Иногда моя хозяйка даже уговаривала меня: “Зиночка, сходи погуляй!” А я ей отвечала: “Не могу! Надо делать уроки”.

Учителя у нас были сильные, а требования у них — высокие. У меня отношение к гимназии было благоговейным.

Почтение к старшим у всех прививалось с детства.

До сих пор помню облик Павлы Алексеевны Смирновой. Она была незамужней, одинокой женщиной. Среднего роста. Средней полноты. Ходила прямо, не сгибаясь. Казалось, что она затянута в корсет. Носила парик русого цвета, и потому у нее постоянно была хорошая прическа. Когда я училась в седьмом классе, место Павлы Алексеевны Смирновой заняла Софья Петровна Тыжнова.

Из учителей хорошо запомнила Клавдию Сергеевну Полянскую, которая преподавала нам словесность и историю. Невысокого роста, волосы забирала в пучок на затылке. Седенькая. Лицо — овальное. Курносенькая. С “левыми” взглядами. Мы знали, что она — опальная. Я с подругами (Зоей Андреевой, Марианной и Тamarой Шамовскими, Зоей Стойловой) часто бывала у нее дома. Собирались вместе и читали произведения любимых писателей нашей учительницы: Горького, Чехова, Куприна, Вересаева. Она нас очень любила. Меня иногда ласково называла “Каплунчик” [2]. Жила Клавдия Сергеевна долго, она умерла в середине 90-х годов.

Русскому языку нас обучала Августа Ивановна Никольская. Однажды я написала слово “меч” с мягким знаком. Она подчеркнула мою ошибку трижды и поставила за работу тройку. У нашей Августы Ивановны никто, наверное, пятерок не получал. Клавдия Алексеевна Дьяконенко преподавала педагогику. Уроки пения вел Завадовский, молодой, симпатичный, стройный мужчина. До сих пор запомнила прибаутку: “Завадовский не форси, белы брюки не носи”. Конечно же, произнести такие слова девочки могли только “за глаза”. С Марией Федоровной Рамман мы изучали немецкий язык. Остальных учителей я забыла... Помню врача — Ивана Ивановича Абдрина.

В классах нас было по 35—40 девочек, в нашем — 33. Отношения между одноклассницами были доброжелательные. Запомнилось, что девочки “бомонда” были самыми вежливыми и доброжелательными.

В гимназии царили порядок, дисциплина. Занятия у нас начинались в девять часов утра. Вначале все, и мы, и наши учителя, поднимались в зал на третьем этаже на молитву, а потом расходились по классам. Ежедневно было четыре или пять уроков. Учителей приветствовали стоя. Потом отмечались отсутствующие и начинался урок, с вопроса или объяснения нового материала. Урок длился сорок пять минут, перемена — десять. На большой, двадцатиминутной перемене мы выходили во двор



гимназии. И в это же время можно было при желании сходить в столовую. Там дамы из благотворительного общества готовили для нас бутерброды (четверть французской булочки с маслом, сыром, икрой, ветчиной или с колбасой) и напитки (чай, кофе, какао). Чай можно было взять бесплатно. Бутерброд стоил пять копеек.

Мы изучали разные предметы, иностранный язык учили с первого класса. Занимались и рукоделием: кроили и шили, вышивали, вязали. Спортивных занятий не было. Мне нравились словесность, математика и география.

Уроки танцев преподавали за отдельную плату, их посещали не все девочки. Занятия вел Пигин-Шамрет. Он был средних лет, ходил, как на пружинах. Нас учили танцевать вальс, па-де-спань, па-де-катр, краковяк, лезгинку, тарантеллу, мазурку, польку. Учил хорошо. Потом дома на каникулах я учила танцевать сестру и тетю...

Нашим воспитанием занимались все учителя, но беседы о поведении проводили классные дамы. Обучение по предмету классные дамы не вели. Воспитывали нас не на уроках, а между делом... В их обязанности входило выставление отметок в дневники, наблюдение за поведением девочек на переменах. Приходилось им и контролировать посещение гимназистками кинематографа, чтобы мы не смотрели фильмы, которые нам по возрасту не полагалось смотреть. Помню, когда шел фильм “Марья Лусова”, классные дамы проверяли перед каждым сеансом, нет ли среди зрителей наших учениц. Если обнаруживали, то снимали значок гимназии...

Благотворительные вечера устраивались для того, чтобы помочь нуждающимся оплатить учебу в гимназии. Часто такие вечера мы делали совместно с юношами, учащимися мужской гимназии. Поэтому вечера проводились в зале мужской гимназии или в Торговом корпусе. Билеты на такой вечер продавались заранее. Вспоминается, как мы с подружкой ходили продавать билеты в Офицерское собрание, и двое молодых офицеров согласились купить билеты с условием, что мы согласны танцевать с ними в тот вечер.

На вечерах хорошеньким девочкам поручали продавать напитки, мороженое, цветы и бижутерию. Обычно благотворительная торговля велась в углах зала. Все было дорого. Мне приходилось продавать мороженое. Часто бывало, что подхитивший покупатель оставлял деньги, а товар не брал. На балах мы танцевали разные танцы. Помню, что мазурку танцевали не все, мазурку очень любили танцевать военные. На балах мальчики относились к девочкам очень почтительно. Юноша, приглашая на танец, спрашивал согласие, а получив его, подставлял руку и вел свою даму в круг. По окончании танца провожал ее до места и благодарил...

Концерты в те времена обычно устраивались в кинотеатрах “Гигант” и в заведении Махотина, располагавшихся в центре города, на Николаевском проспекте у Ярмарочной площади [3]. Билеты туда были дорогими, мы же брали дешевые — на галерку. Бегали мы и на симфонические оркестры, которые проходили под руководством Геденова. До сих пор у меня в памяти остался образ танцовщицы, исполняющей танец умирающего лебедя. И очень хорошо запомнила концерт Вертинского, выступавшего в Ново-Николаевске (где-то в 1916 или в 1917 году) во время своей поездки на восток. Его образ — мужчина с очень белым лицом, в черном костюме и с белым кружевным воротником — храню в памяти и хорошо помню его незабываемое “Ваши пальцы пахнут ладаном...”, слишком ярким впечатлением были для меня его песни.

...После окончания седьмого класса выпускной бал мы не организовывали, время было тяжелое. В июне 1919 года нам вручили аттестат в зале гимназии, и все разъехались... И лишь с немногими довелось встретиться спустя долгие годы. Ярким событием моей жизни была встреча в 1967 году с одноклассниками. Помню, Нина Иволина предложила собраться вместе, посидеть, поговорить. На эту встречу смогли ко мне прийти, кроме Нины Иволиной, Шура Елисеева, Зоя Стойлова, Маруся Прохоренко, Валя Трудолюбова, Валя Соколовская и Галя Лебедева, которая еще в пятом классе ушла от нас, так как ее семья переехала в Томск. Все пришли нарядные, наряды были строго элегантными. Лица светились радостью. Мы долго сидели и вспоминали прошлое, учебу в гимназии, рассказывали о себе... Тогда у меня гостила моя сестра Маша. Помню, после ухода гостей она восхищалась: “Какие культурные дамы! Воспитание чувствуется еще то!”»

И еще в одном семейном архиве, новосибирца Германа Владимировича Теплякова, отыскались следы Первой Ново-Николаевской женской гимназии. Дело в том, что бабушка Германа Владимировича, Русина Мария Ильинична, урожденная Артюхина, тоже обучалась в гимназии. Сохранилась и гимназическая фотография, на которой, уже в семидесятые годы прошлого века, внук поставил над головой бабушки крестик, чтобы не спутать ее с другими гимназистками. Согласно рассказам Ма-



рии Ильиничны, гимназистки любили одаривать друг друга смешными, небидными прозвищами. Для своей подруги Марии Артюхиной они придумали прозвище Анихютра, видимо, «переделав» таким образом ее фамилию. Кроме наук, как свидетельствовала Мария Ильинична, большое внимание в женской гимназии уделялось искусству ведения домашнего хозяйства, для чего существовал специальный предмет — рукоделие. Гимназистки пекли легчайшее печенье «хворост» для благотворительных вечеров, учились шить и овладевали еще многими полезными навыками, столь необходимыми рачительной хозяйке семейства.

Мария Ильинична слыла одной из первых красавиц Ново-Николаевска, и это стало причиной целой трагедии: из-за неразделенной любви к ней застрелился молодой телеграфист Анатолий Мурмила. До рокового выстрела он прислал своей возлюбленной прощальное письмо и свою фотографию (высокий, красивый, в мундире) и нарисовал на этой фотографии череп с костями. Мария Ильинична боялась этой фотографии, но хранила ее, пока была жива.

Да, все было как в жизни — и страсть, и слезы, и отчаянье...

Но мы вернемся к архивным документам и к гимназисткам.

Когда прочитываешь личные дела гимназисток, невольно отмечаешь одну особенность: фамилии детей новониколаевской «верхушки», в том числе и самых богатых людей города (Маштаков, Луканин, Коган...) соседствуют с фамилиями крестьянских детей из Каинска, Коченево, Болотного, Ордынского... И это еще одно свидетельство, что гимназия, созданная П. А. Смирновой, была, по сути, очень демократической.

И для всех без исключения существовали одни и те же правила.

Какими они были?

В одном из протоколов заседаний Педагогического Совета находим следующее сообщение: заказаны и скоро будут отпечатаны типографским способом правила поведения учениц, которые необходимо поместить в рамки под стеклом и вывесить в гимназии. Но сами правила поведения разыскать не удалось, поэтому давайте воспользуемся «Важнейшими Правилами для учениц Мариинской Донской женской гимназии». Я уверен, что эти «Правила...» вряд ли сильно отличались от «Правил...» Ново-Николаевской гимназии, ведь в Империи существовали единые требования к учебным заведениям.

Итак, «Важнейшие Правила...». В них тридцать с лишним параграфов, поэтому я сделал из них своеобразную выборку, и предлагаю ее вниманию читателей.

«— Ученицы в учебное время обязаны неопустительно посещать свои уроки, отнюдь не опаздывая на молитву, которая читается за 1—4 часа до первого урока в общем зале и перед началом первого же и по окончании последнего урока в классах.

— Ученицам воспрещается приносить с собою в гимназию не относящиеся к урокам вещи, кроме книг, выданных из гимназической библиотеки для чтения.

— Во время уроков ученицы должны сидеть прямо, хотя бы и прислоняясь к спинке скамьи, но не облакачиваясь и не разваливаясь, и отнюдь не должны ни разговаривать, ни шептаться между собою, ни заниматься чем-либо посторонним, ни отвечать самовольно, без спроса преподавателя, ни подсказывать друг другу, при чем должны давать преподавателю или преподавательнице ответ даже и самый короткий не иначе, как вставая и держась прямо...

— Ученицы между собою обязаны быть вежливыми, дружелюбными и доброжелательными.

— Ученицы должны не только сами воздерживаться от всякого рода проступков, но воздерживать и своих подруг, как в стенах заведения, так и вне оно, должны предупреждать проступки своих подруг советом, предостережением и, наконец, заявлением о том начальству.

— Продажа, покупка и мена вещей всякого рода друг другу или посторонним лицам строго воспрещается ученицам.

— Ученицы обязаны являться в гимназию и вообще находиться вне дома всегда в одежде установленной формы. Положенные для них коричневого цвета платья и черные передники должны быть самого простого покроя, без всякого следования моде. Ношение широких кружевных или шитых гладью воротников, таковых же обшлагов на рукавах платья, замысловатых оборок и всяких украшений на передниках, равно как и ношение браслетов, колец, ожерелий, брошек, металлических цепей, часов и т. п., как отступление от формы, отнюдь не дозволяется.

Всякия подражания моде в ношении волос запрещаются решительно. Волосы должны быть гладко причесаны. Все девицы выших четырех классов и восьмо-



го дополнительного не должны стричь волос. Исключение допускается в том лишь случае, когда волосы острижены вследствие болезни, по предписанию врача, свидетельством которого представляется ученицею начальнице гимназии.

— Ученицы должны быть совершенно правдивы всегда и во всяком случае и относиться с полным доверием и откровенностью к начальству и преподавателям, избегая притворства, лжи и обмана.

— Безусловно воспрещается ученицам гимназии посещать даваемые в клубах балы, маскарады и так называемые семейные вечера, а тем более участвовать в публичных спектаклях, концертах, живых картинах и проч.

— Ученицы, оказавшиеся нерадивыми в учебных занятиях, а равно и нарушающие установленные в женской гимназии порядки и правила, увольняются из заведения по определению Педагогического Совета».

Такие вот «Важнейшие Правила...» существовали в гимназии, и нарушение любого из пунктов-параграфов влекло за собой нерадостные последствия. Но об этом — в следующей главе.

А город жил...

И хотя он развивался, как уже сказано было не один раз, стремительно, он все-таки оставался еще городом провинциальным — в самом добром, хорошем смысле этого слова. Многие жители знали друг друга, ходили в гости, на богослужения в храмы, раскланивались при встречах и вели неторопливые разговоры о житье-бытье.

Новости разносились по городу мгновенно, как в деревне, сразу же попадая и на газетные страницы. Неизвестный нам фельетонист «Обской жизни» живо откликнулся на городские события довольно язвительными рифмованными посланиями. Но лучше все-таки не пересказывать, а предоставить слово первоисточнику:

«Не нравится лицо, а гонят в шею.

Из Сибирского банка уволен служащий перед самыми праздниками (рождественскими. — М. Ц.). Его оставили без куска хлеба... Но выдали аттестат.

На эту тему я шутить не смею.

(Хотя шутить всегда я рад!)

Не нравится лицо, а гонят в шею

И выдают при этом аттестат!

* * *

Не напугаешь — не приманишь.

При исполнении пьесы “От плахи к венцу” будет раздаваться благовест, набат, гром, крики, плач, стоны и, кажется, еще что-то... Просим публику не пугаться.

(Из афиши).

Такие ужасы, хотя и за кулисой,

Должны подействовать на вас,

Тут поседеть не трудно в час,

Когда вы даже совершенно лысый!»

Но не только злобой дня жили новониколаевцы. Были еще и праздники, то же Рождество, и готовились к нему долго и тщательно, а городские торговцы заранее извещали, что имеется огромный выбор елочных украшений, в том числе: блестящие бусы, гирлянды, фрукты, колокольчики, бабочки, орехи, бенгальские огни, чудосвечи, вулканы Лысой горы и Везувия, шутихи, римские свечи, — одним словом, всего много, даже есть дамские маски и полумаски...

Газеты того времени иногда просто умиляют своей провинциальной непосредственностью, которая, как мне кажется, больше всего и свидетельствует о не испорченности нравов. Ну, посудите сами, прочитав это газетное объявление: «Городская управа объявляет, что при Вокзальной пожарной части находится белый приبلудившийся козел».

Хозяева, козла-то заберите, он вам еще пригодится!

А вот этому господину, пожалуй, не до развлечений и не до смешков: «Ищу место дворника, сторожа, кучера. Трезвый и с рекомендацией».



6. «Безусловно, недопустимо и влечет за собой удаление...»

Ах, какой замечательный праздник — Рождество Христово!

Несутся по Николаевскому проспекту лихие тройки, зазывно звенят под дугами бойкие колокольчики, сверкают, искрятся игрушки на елках, пахнущих хвоей, а под елками — рождественские подарки. А еще — гости, визиты, новое платье к празднику... И вздрагивает юное сердце от предчувствия чего-то невероятно красивого и... Трудно словами выразить весь восторг, когда ко всем этим чувствам добавляется еще и возможность отправиться на костюмированный вечер в Офицерское собрание.

Как тщательно выбирала свой наряд Соня Маштакова, дочь одного из самых богатых новониколаевских купцов Федора Даниловича Маштакова, как она примеряла маску, под которой хотела скрыть свое личико, ведь вечер-то — костюмированный!

И все было великолепно! Все было прекрасно!

Да только праздник кончился, увы, очень скоро.

Начались печальные будни, и именно в будни заседал Педагогический Совет женской гимназии, и одним из пунктов его заседания значилось следующее...

«Рассмотрение заявления г. Начальницы Гимназии о проступке ученицы Софии Маштаковой.

Госпожа Начальница Гимназии получила сведения, что ученица 7-го класса С. Маштакова была в военном собрании на костюмированном вечере не в форме и под маской.

Спрошенная по этому поводу С. Маштакова рассказала, что она, действительно, была приглашена в военное собрание на семейный костюмированный вечер, куда и поехала в сопровождении хороших знакомых семьи под маской; зная, что ученицам не разрешается бывать в маскарадах, она думала, что это запрещение нельзя отнести к данному вечеру, имеющему семейный характер, вход на который разрешался только лицам по приглашению.

Справка.

В начале учебного года Начальница беседовала с ученицами старших классов по поводу посещения увеселительных летних садов и объявила, что посещение ученицами каких бы то ни было общественных мест допускается только с особого на каждый раз разрешения начальства, причем во всех общественных местах гимназистки обязаны быть в присвоенной им форме.

Посещение же маскарадов, безусловно, недопустимо и влечет за собой удаление провинившейся ученицы из учебного заведения...

...Принимая во внимание чистосердечное раскаяние Маштаковой и то обстоятельство, что она в течение почти семилетнего пребывания в гимназии не была замечена в каких-либо крупных нарушениях школьной дисциплины, что в данном случае она, действительно, могла быть введена в заблуждение, Педагогический Совет нашел возможным оказать ей снисхождение.

Постановлением Совета Маштаковой выставляется 4 за поведение в третьей четверти и объявляется выговор от имени Педагогического Совета в присутствии учениц 5, 6 и 7-го классов, с предупреждением, что первое же серьезное отклонение Маштаковой от гимназической дисциплины в будущем повлечет за собой удаление ее из гимназии.

Вместе с тем Педагогический Совет постановил выразить родителям Маштаковой глубокое сожаление по поводу того, что они своевременно не удержали дочь от столь несоответствующего гимназическим правилам поступка.

Да, невеселый получился финал... Было, наверное, о чем задуматься и опечалиться Софье Маштаковой, хотя и принадлежала она к «высшему обществу Ново-Николаевска», в котором папаша ее был фигурой весьма и весьма заметной.

Но в том-то и дело, что в гимназии соблюдалось неукоснительное правило — все ученицы в ее стенах были абсолютно равны и все социальные, имущественные различия стирались здесь до самого основания.

Начиная с внешнего вида.

Для всех гимназисток была установлена единая форма и единые правила, нарушать которые никому не позволялось.

Кинематограф, летние сады, маскарады, цирковые балаганы и прочие увеселительные места и заведения находились для гимназисток под строжайшим запретом. Для всех без исключения, как можно убедиться на примере Софьи Маштаковой. Выход «в свет» имел право быть и состояться только с разрешения, полученного от



классной надзирательницы, о чем делалась специальная запись. По этим записям, кстати сказать, можно определить круг тех развлечений, на которые отпускали гимназисток, правда, требуя при этом, чтобы они были в «обязательной форме».

В журнале «Учета сведений учениц 7-го класса» за 1912—1913 учебный год находим следующие записи: «Отпущена на концерт Каринской [4]». «Отпущена на оперу “Пиковая дама”». «Отпущена на оперу “Фауст”». «Отпущена на оперу “Демон”»...

Что и говорить, репертуар вполне достойный.

Но хотелось и «запретного». Особенно хотелось в кинематограф, в этот волшебный мир, где на белом полотне экрана разворачивались любовные драмы с роковыми красавицами и с не менее роковыми красавцами. Но попасть в кинематограф можно было только организованно и отнюдь не на демонстрацию любовной драмы, о чем свидетельствует письмо Председательницы Педагогического Совета П. А. Смирновой, направленное в адрес Ф. Ф. Махотина, владельца первого в Ново-Николаевске электротра:

«Милостивый Государь Федот Фаддевич!

На заседании своем 18-го февраля сего года (1917-го. — М. Щ.) Педагогический Совет 1-й женской гимназии постановил выразить Вам свою благодарность за предоставленную Вами ученицам гимназии возможность посетить сеанс кинематографических картин научного содержания. О чем имею честь сообщить».

Вот как хорошо и пристойно — и в науках преуспели, и никаких соблазнов.

Надо прямо сказать — порядки в гимназии были не просто строгие, а суровые. Так, например, классным надзирательницам вменялось в обязанность наблюдать за своими воспитанницами не только в стенах гимназии, но и за ее пределами. Часть иногородних гимназисток жили на квартирах, которые снимали для них родители. Так вот, как явствует из протокола заседания Педагогического Совета: *«Классные надзирательницы обязаны посещать квартиры учениц, живущих не у родителей, с тем, чтобы знать условия их жизни и обстановки. О всех случаях, выходящих из ряда обыкновенных, классные надзирательницы доводят до сведения Начальницы, которая через Председателя Педагогического Совета сообщает об этих случаях Педагогическому Совету».*

На каникулы иногородние ученицы отпускались лишь после того, как им выписан был специальный билет, на котором стояли номер, печать и подпись начальницы гимназии. Билет гласил: *«Предъявительница сего, ученица 2-го класса Ново-Николаевской женской гимназии Доброхотова Александра отпущена к родителям в с. Верх-Ирмень Томской губернии Барнаульского уезда сроком от нижеподписанного числа впредь по 7 января 1913 года, в удостоверение чего и дан настоящий билет за надлежащею подписью и приложением печати. Декабря 13 дня 1912 года».* Такие же билеты в 1912—1913 учебный год были выданы следующим ученицам: Сизикой Нине — в село Барлак, Рязанцевой Евлампии — в село Болотное, Карвацкой Брониславе — на станцию Каинск, Кобяковой Людмиле — в село Спирино, Лунц Елизавете — в село Коченево. Конечно, список этот неполный, потому как составлен лишь по тем билетам, которые сохранились в архиве.

Согласно существовавшим правилам, гимназисткам запрещалось многое, а жизнь их и учеба были строго регламентированы. Даже погодные условия в этом регламенте были предусмотрены. Так, в декабре 1915 года во все учебные заведения Ново-Николаевска было направлено распоряжение, в котором говорилось:

«Согласно Постановления Городской Управы и Бюро Школьного Комитета доводится до сведения начальствующих лиц учебных заведений города о том, что занятия в училищах должны прекращаться на время сильных ветров и морозов, согласно изданных распоряжений Министерства Народного Просвещения в минувшее время. О дне прекращения занятия учащиеся будут извещаться зелеными флагами на колокольнях храмов и каланчах пожарных обществ».

Хотя, наверное, при виде зеленых флагов на колокольнях и на пожарных каланчах огорчались немногие. И это, пожалуй, единственный случай, когда строгий регламент, сам того не ведая, давал возможность исполнять его с большой радостью.

А во всем остальном — строгость, строгость и строгость.

Фиксировались даже самые малые нарушения. В классных журналах то и дело встречаются записи следующего содержания: «бегала по коридору», «разговаривала на уроках», но чаще всего среди мелких провинностей значится опоздание на



занятия. И в каждом отдельном случае требовалось объяснить причину опоздания. Невозможно без улыбки читать эти объяснения гимназисток. Вот как объясняла свои опоздания ученица IV класса Нина Бархатова, проживавшая на улице Кольванской, в доме № 9. 24 октября 1916 года — поздно вышла из дома, 24 ноября — неправильно шли часы, 9 декабря — заходила в магазин, 15 декабря — тихо шла...

Из нынешнего времени, из наших дней, когда разрешено, кажется, все и вся, невольно может возникнуть вопрос: «Они смеяться-то хоть умели? Они же во всем были ущемленными, несчастные гимназистки!»

Умели.

И смеяться, и радоваться жизни, и веселиться, как свойственно это делать только в юности...

7. «Как одуванчики легки, плывут под плеск напева»

Среди множества серьезных и насущных вопросов, которые рассматривались на заседаниях Педагогического Совета, не менее серьезно и подробно говорилось и о том, как отдыхают и развлекаются гимназистки.

Более того, вопрос этот обсуждался отдельно и имел четкую повестку: «Об ученических развлечениях на 1912—13 учебный год».

О чем же разговаривали строгие члены Педагогического Совета?

Давайте заглянем в протокол.

«Заслушана программа развлечений, выработанная комиссией, состоящей из преподавательниц А. И. Никольской, К. С. Полянкой, М. В. Налетовой и преподавателя И. В. Лебедева:

1. В Рождественские каникулы разрешить постановку одного спектакля ученицами 6-го класса.

2. Один спектакль для учениц младших классов.

3. Спектакль для учениц 5-го класса.

4. Спектакль для учениц 7-го класса.

5. Один литературно-музыкальный вечер — общий для всех воспитанниц.

Педагогический Совет принял программу, изложенную комиссией, и постановил:

1. Все пьесы, предложенные к постановке, должны быть предварительно одобрены Педагогическим Советом.

2. На каждый спектакль должен быть избран ответственный руководитель из членов Педагогического Совета.

3. К участию в спектаклях допускаются ученицы с согласия преподавателей этого класса.

4. Все спектакли должны носить домашний характер и посторонние лица на них не допускаются».

«Не маловато ли развлечений?» — спросит современный читатель.

А это, дорогие друзья, с какой стороны посмотреть. Если «врубаются», как нынче, без всяких «заморочек» электронный механизм, для чего достаточно нажать пальцем кнопку — это один подход. А если подготовить спектакль, распределив роли, выучив слова и прочее — это уже совсем иное. И недаром на том же заседании Начальница гимназии просит Педагогический Совет назначить время для спевков. И Педагогический Совет решает: «Находя неудобным собирать учениц для спевков по вечерам... предложил устраивать спевки от 1—2 ч. дня три раза в неделю».

Три раза в неделю... Даже к вопросам развлечений люди подходили очень серьезно.

А в январе 1913 года тот же Педагогический Совет рассматривает вопрос «Об устройстве для учениц гимназии “елки”». Назначена «елка» на четвертое января и проводится она будет в здании Реального училища, на что уже получено словесное разрешение г. Директора Реального училища. Специальная комиссия в лице преподавателей гимназии составила программу, которая была утверждена, и любопытно, конечно, взглянуть из двадцать первого века на эту программу...

«1. “Боже, Царя храни!” — исполняет хор учениц с оркестром реального училища.

2. “Елка” — исполняет хор учениц.

3. “Катанье с горы”, стихотворение — исполняет ученица Ржевская.

4. *В 4 руки на рояли — исполняют ученицы Коган.*
5. *“Песенки цветов”, стихотворение — исполняют ученицы Редькина, Шамовская, Сенченко.*
6. *“Песня птички” — исполняет ученица Изосимова.*
7. *“Малютка мужичок”, стихотворение — исполняют ученицы Редькина и Ржевская.*
8. *“Белолица, круглолица”, русская песня — исполняет хор учениц гимназии и учеников реального училища».*

Надо сказать, что это не полный перечень программы, часть ее я опустил, иначе бы она заняла слишком много места. Но и этого перечня вполне достаточно, чтобы иметь представление о талантах гимназисток, которые умели читать стихи, исполнять песни, играть на рояле. Добавьте к этому перечню драматические спектакли и «картины из оперь», о которых говорилось выше, и станет ясно, что обучались в стенах гимназии отнюдь не запуганные и потому скучные ученицы, а по-настоящему одаренные молодые девушки, которые уж точно не считали себя несчастными или чем-то обделенными.

Свои таланты гимназистки демонстрировали не только по случаю тех или иных событий и дат, нередко их выступления имели вполне конкретную цель — собрать средства от благотворителей на добрые дела. Для этого требовалось испрашивать разрешение Попечителя учебного округа. И чаще всего такое разрешение давалось.

«Вследствие представления от 30 января сего года (1916. — М. Щ.), честь имею уведомить Вас... что, согласно постановлению Педагогического Совета Ново-Николаевской женской гимназии... я разрешаю ученицам старшего класса гимназии устроить на маслянице в здании гимназии платный литературно-вокально-музыкальный вечер под наблюдением и ответственностью учащего персонала названной гимназии, и с обращением сбора от этого вечера на приобретение пасхальных подарков для воинов действующей армии».

Но чаще всего подобные вечера устраивались для того, чтобы собрать средства на оплату учебы бедным гимназисткам. Размер суммы, собранной за вечер, публиковался в местной газете, а затем решалось — кому именно из бедных гимназисток нужно в первую очередь внести плату за учение. И таковая плата вносилась.

Вот как об этом сказано в протоколе заседания Педагогического Совета.

«Об освобождении учениц от платы за учение.

Родительский Комитет препроводил в распоряжение Педагогического Совета 615 руб. 59 коп., вырученные от спектакля, поставленного в декабре 1912 г., и предназначенные для взноса платы за беднейших учениц.

Постановили:

Из полученных денег внести: за Новицкую, Казанцеву, Серебренникову, Филатову, Красильникову, Бессонову (эта фамилия повторяется дважды, видимо, в гимназии учились сестры. — М. Щ.), Лукьяненко, Куликову, Смородинову — всего 612 р. 50 коп. Остаток 3 руб. 09 коп. по желанию Родительского Комитета постановлено израсходовать на завтраки бедным ученицам».

К благотворительным вечерам все относились благосклонно, в том числе и Городская управа, которая даже сделала своеобразный жест доброй воли в пользу гимназисток, приняв неординарное решение, о чем и известила Начальницу гимназии.

«Городской Управой устанавливается плата за хранение верхнего платья во время концертов и лекций в зале городского торгового корпуса.

Учащимся учебных заведений, посещающим концерты и лекции с разрешения учебного начальства, Городская Управа отведет в своем помещении особые места для бесплатного хранения верхнего платья, с тем, чтобы учебное заведение каждый раз посылало своего служителя для хранения платья.

В случае на то Вашего согласия благоволите уведомить о том Городскую Управу не позже 3-го сего декабря (1916 г. — М. Щ.)»

Жест, что и говорить, был весьма благородный. Ведь для гимназисток побывать в самом лучшем зале города на любом вечере — это уже было событие.

Гимназия была не только учебным заведением, где получали знания, она была еще и средоточием, своеобразным местом, где возникала дружба, сохранявшаяся





затем на долгие годы, где постигались уроки не только словесности и географии, но и уроки жизненные, где вспыхивало неожиданно первое чувство влюбленности...

Позже, уже на закате лет, многие выпускницы, вспоминая свою гимназическую юность, будут называть это время самым благословенным в своей жизни.

Но вернемся к гимназическим вечерам.

К счастью, удалось разыскать два описания таких вечеров. Итак, первое. Январь 1909 года. Из новониколаевской газеты «Народная летопись».

«Светлячки.»

Музыка. Зрители сидят на стульях, расставленных вдоль стен зала. В распахнутые двери пара за парой выходят в костюмах разных наций юные девушки.

Здесь прошли парами великороссы, малороссы, китайцы, поляки, индейцы, римляне, испанцы и пр. и пр. Лица у всех улыбающиеся, взоры искрятся, выражая ют удовольствие.

Мне почему-то вспомнились майские светлячки.

Взвился прекрасно нарисованный занавес, мы услышали игру юных музыкантов, пение и декламацию. Вначале все шло робко, неуверенно, но молодежь скоро овладела собой, звуки голосов, исполнявшие «Горные вершины», и по сей час звенят над нами ясные, звонкие, как песня жаворонка.

Танцы, декламация, неподдельное веселье — вот отличительные черты в веселье молодежи.

Хорошо.

Чувствуется, что заботливая рука руководила, создавая веселье и отдых для молодежи.

Впечатление самое отрадное.

Впрочем, мы отвлеклись и не отметили, где это было. Извиняемся.

Все это мы видели на вечере учащихся Ново-Николаевской женской гимназии.

Должны добавить, что не одна, очевидно, рука руководила столь многосложным делом устройства праздника, а потому от лица родителей приносим благодарность всей корпорации учащихся».

Фамилии своей автор, к сожалению, не указал.

А вот и второе сообщение — из газеты «Обская жизнь» за 1910 год.

«Литературно-музыкальный вечер гимназии П. А. Смирновой. Вечер состоялся 22 января в Офицерском собрании. Хор, соло, дуэты, декламация произвели, безусловно, хорошее впечатление на публику. По лодности это, пожалуй, небывалый вечер в Ново-Николаевске. Танцы шли очень оживленно. Молодежь веселилась от души».

Как уже говорилось, отношение к благотворительным вечерам гимназисток было самым благосклонным. Но случались и досадные промахи, хотя с нынешней точки зрения они воспринимаются с улыбкой. Правда, Павле Алексеевне Смирновой уж точно было не до улыбок.

А начиналось все вполне обычно и безобидно — как всегда. Все необходимые разрешения получены, намечен очередной платный ученический концерт, приглашительные билеты отпечатаны, и ученицы разносят их самым уважаемым людям города.

Но каково же, надо полагать, было удивление Павлы Алексеевны, когда получила она письмо следующего содержания...

«Госпоже Начальнице Ново-Николаевской женской гимназии П. А. Смирновой.

Свидетельствуя свою благодарность за приглашение на платный ученический концерт, устраиваемый 16 сего февраля (1916 г. — М. Щ.) в женской гимназии, имею честь довести до Вашего сведения, Милостивая Государыня, что присутствовать на этом вечере, к сожалению, не могу, так как присланный билет 2 ряда (10 место), за который мною уплачено пять рублей, не соответствует ни моему положению, ни цене билета.

К сему покорнейше прошу сообщить мне фамилии и имена учениц 8 класса женской гимназии, которые с предложением билета вошли в мой кабинет в пальто и в головных уборах.

Что касается билета, то таковой приобщен к делам Комитета.

Сообщая о вышеизложенном, прошу сообщить мне, как Председателю Комитета Начальников учебных заведений города Ново-Николаевска, какое последует с Вашей стороны заключение на мое отношение.

Председатель Комитета Начальников учебных заведений г. Ново-Николаевска, директор мужской гимназии, статский советник Н. Максим».

Какое последовало «заключение» со стороны Павлы Алексеевны Смирновой, остается неизвестным, потому что никакого ответа в архиве обнаружить не удалось, зато нашлось еще одно письмо, правда, не столь строгого содержания, но все на ту же тему. Написано оно было Начальницей Ново-Николаевской женской прогимназии, и гласило:

«Имею честь возвратить Вам, Милостивая Государыня, билет 10-го ряда, предложенный мне ученицами 8-го класса вверенной Вам гимназии, воспользоваться которым считаю для себя неудобным. 2 рубля, переданные мною, прошу считать пожертвованными».

Да-с, времена меняются, а нравы чиновничьего люда остаются непоколебимыми, и когда видишь порою тщеславную суету нынешних чиновников от образования, невольно думаешь, что подобная ситуация вполне возможна и в наши дни, с одной лишь разницей: утруждать себя сочинением писем никто не будет — поручат подчиненным и те «вправят мозги» по телефону.

Долго я раздумывал над этой историей — почему же получился досадный промах? И родился, как мне кажется, вполне правдоподобная версия: метранпаж подвел! Была раньше такая должность в типографии, а пригласительные билеты печатались именно типографским способом. Вот и отпечатали ошибочные цифры на именных билетах. А в суете не обратили внимания и вручили эти билеты гимназисткам, чтобы те доставили их адресатам.

Сомнительно?

Может быть, может быть, но что-то подсказывает мне, что я угадал верно.

И еще почему-то твердо уверен, что вечер удался, прошел на славу, что гимназистки были награждены бурными аплодисментами, и никто из них не пожалел, да, пожалуй, и не заметил, что в зале отсутствуют господин статский советник и госпожа начальница прогимназии.

А город жил...

И среди бесконечного, пестрого перечня больших и маленьких событий происходили события знаковые, о которых стоит сказать отдельно.

Одно из них произошло 2 февраля 1910 года, во вторник, в 2 часа дня. В здании городской управы состоялось открытие «Общества попечения о народном образовании». Вечером того же дня в Общественном собрании состоялся спектакль, сбор с которого поступил «в пользу Общества, на нужды народного образования».

Новое общество не просто провозгласило о своих намерениях — «ни одного неграмотного в городе» — оно деятельно работало на ниве просвещения. И встали в городе двенадцать каменных красавиц-школ, спроектированных знаменитым сибирским зодчим Андреем Дмитриевичем Крячковым, многие из которых до сегодняшнего дня украшают сибирскую столицу, многие новониколаевские ребятишки сели за парты, и учили их учителя, которые получили образование уже здесь, в Ново-Николаевске.

Дни текли своей чередой, радуя и огорчая. Радовались служащие мельницы И. М. Луканина, которые написали целое письмо в газету и «...просят нас выразить благодарность за сделанные им (Луканиным. — М. Щ.) в день его именин ценные подарки (золотые вещи) и награды деньгами, а также за то, что ежегодно в пользу их будет отчисляться, как распорядился И. М. Луканин, 10 % с чистой прибыли».

А вот на заводе Товарищества «Труд» — иные заботы. И об этих заботах также поведала местная газета: «Ввиду ложно распускаемых слухов о якобы приостановленной деятельности чугунно-литейного механического завода Товарищества “Труд” или его ликвидации, покорно просим наших уважаемых заказчиков никаким подобным злоупереждениям не верить, мы работаем, как и прежде, более того, закуплены новые станки, машины и, не считаясь с затратами, приглашены лучшие мастера».

Те, кто распространял «злоупереждения», оказались посрамленными, потому что завод «Труд», самый старейший в Новосибирске, успешно действует и по сей день.

В быстро развивающийся город потянулись столичные деловые люди. И быстро, нахраписто стали здесь обосновываться, извещая о том газетным объявлением обывателей: «“Петербургские номера”, угол Межениновской и Сибирской, бывшие





меблированные комнаты “Лондон”, находятся вблизи присутственных мест и вокзала, теплые, чистые, при номерах образцовая кухня. Также извещаю господ приезжающих, что номера от прежнего владельца В. Ф. Гуренкова перешли в ведение петербургского купца А.С. Шахмаева... Самовары бесплатно».

8. «Честь в стране родной! Слава мне в Руси святой!»

Зима, середина января. Если уж быть совсем точным — 16-е число, по старому стилю. 1917 год. Время движется к полудню. В сторону вокзала станции Обь летят лихие извозчики, неторопливо ползут сани-розвальни, на которых везут грузы, маршируют военные, и в стылом морозном воздухе хорошо слышны громкие паровозные гудки.

А по деревянному тротуару, также устремляясь к вокзалу, торопятся две девочки и оживленно о чем-то разговаривают, перебивая друг друга.

О чем же они разговаривают?

Вскоре, в тот же день, выяснится, и печатная машинка «Ундервуд» торопливо отстукает текст тревожного письма.

*«Его Высокоблагородию Господину Ново-Николаевскому Полицмейстеру
Заявление*

16-го сего января из Ново-Николаевской 1-й женской гимназии в 10—11 часов утра отпросились с уроков домой две ученицы 2-го класса Шестагина и Отрыганьева, но домой не возвратились.

Отрыганьева, 11 лет, брюнетка, волосы подстрижены, одета в черное бархатное пальто “клеи”, серый платок, ранец, покрытый мехом.

Шестагина, 12 лет, шатенка, одета в синее пальто, поношенное, котиковую шапку с ушами и серый платок. По заявлению учениц Шестагина и Отрыганьева, собиравшись бежать на войну.

Сообщая вышеизложенное, Ваше Высокоблагородие, покорнейше прошу принять меры к задержанию учениц.

Начальница гимназии П. Смирнова.

16 января 1917 года».

Заявление это, как видно, печталось столь торопливо, что в нем много ошибок, что было довольно редким явлением в гимназических документах того времени. Девочки пропали — тут уж не до орфографии!

В тот же день полицмейстер налагает резолюцию: *«Экстренно. Господину Приставу Вокзального участка города Ново-Николаевска. Для немедленного принятия мер к задержанию».*

Но по горячим следам беглянок задержать не удалось. Дальше идет переписка приставов Вокзального, Закаменского и Центрального участков, и во всех донесениях значится одно — «за нерозыском». Последнее донесение помечено 27 февраля. Больше никаких документов нет, и остается неизвестным — удалось ли разыскать и вернуть родителям учениц 2-го класса Шестагину и Отрыганьеву...

Будем надеяться, что удалось.

О многом задумываешься, когда читаешь и разглядываешь эти документы. Кем видели себя маленькие гимназистки, собравшиеся бежать на фронт? Наверное, сестрами милосердия? Сейчас уже не узнать и не выяснить, но одно остается непреложным для равнодушного русского сердца: дети жили общей тревогой великой страны, Российской Империи. Уже иные взрослые к тому времени потеряли чувство патриотизма и откровенно смеялись над призывом «За Веру, Царя и Отечество!» А вот девочки не смеялись. Они верили.

И вера эта возникла, конечно, не на пустом месте. Она была воспитана в стенах гимназии.

Весь учебный процесс был выстроен таким образом, что жизнь огромной страны незримо присутствовала в гимназических стенах, присутствовала не формально, а естественно, как дыхание. И старые документы говорят об этом — сухо, бесстрастно, но зато очень убедительно.

Ежегодный акт, проходивший весной, был главным гимназическим праздником. Но в 1912 году эта традиция была нарушена по общему решению... Педагогического Совета.

Какова же была причина нарушения этой традиции?

Обратимся к протоколу, в котором все четко прописано.



«Об устройстве акта.

Педагогический Совет в заседании своем 14 февраля постановил устроить акт весной текущего учебного года.

Имея в виду празднование в августе 1912 г. юбилея Отечественной войны, Господин Председатель предлагает Педагогическому Совету перенести устройство акта на осень, чтобы соединить оба праздника в один.

И далее, после обмена мнениями, принимается решение:

«Для большей торжественности празднования юбилея Отечественной войны отнести устройство акта на 26 августа.

Просить комиссию, которой поручено составление программ акта и юбилея, предоставить их Совету теперь же, чтобы лица, взявшие на себя выполнение программ, своевременно могли бы подготовиться».

В скором времени Педагогическому Совету была представлена «Программа празднования годовичного акта и дня столетней годовщины Отечественной войны».

«Программа выработана комиссией... состоящей из Начальницы гимназии, преподавательницы М. Ф. Рамман, преподавателей И. В. Лебедева и О. В. Калинина.

Празднование начнется торжественным молебном; после краткого перерыва празднование потечет в следующем порядке:

1.

Народный гимн — хор учащихся.

Исторический обзор возникновения и развития гимназии.

Годичный отчет о гимназии.

Раздача наград.

Актровая песнь — хор учащихся.

Реферат ученицы.

Народный гимн — “Боже, Царя храни!”

Реферат г. Ранг на тему: “Школьники у Чехова и Достоевского”.

“Славься, славься!” — исполняет хор.

2.

Реферат г. Полянкой “Историческая оценка празднуемого события и его влияние на дальнейшее развитие России”.

“Певец во стане русских воинов”, Жуковский — прочтет учащаяся.

“Бородино”, Лермонтов — прочтет учащаяся.

“Москва”, Глинка — прочтет учащаяся.

Увертюра Чайковского “1812” — исполняет на рояли учащаяся.

“Боже, люби Царя!” — исполняет хор.

3.

Зал и прилегающие к нему комнаты будут декорированы национальными флагами, цветами, зеленью.

На эстраде предполагается поставить бюсты и портреты Александра I, Кутузова и других героев 1812 года, также украшенные цветами, зеленью и национальными флагами».

В честь столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года специальным постановлением Городской Думы были учреждены две стипендии в Ново-Николаевской женской гимназии в размере 100 рублей каждая, а сумма в двести рублей ежегодно стала вноситься в смету расходов города. Было утверждено специальное «Положение», в котором, в частности, говорилось:

«3. Стипендиатки утверждаются Городской Думой по представлению Педагогического Совета женской гимназии из числа беднейших успешных и достойных по поведению учениц, детей местных жителей.

5. Из стипендиальной суммы вносится плата за правоучение; остальные же деньги выдаются стипендиатке ежемесячно через Начальницу гимназии.

6. Пользование стипендией не налагает на стипендиатку по окончании ею курса никаких обязательств.



7. *В случае преобразования упомянутой женской гимназии в какое-либо другое учебное заведение, стипендии переходят на тех же основаниях и во вновь преобразованное учебное заведение».*

А время летело, не зная остановки, и вот уже на календаре 1913 год. Близится трехсотлетие царствования Дома Романовых.

Здесь уже, похоже, никакой самодеятельности не допускалось. Дата празднования устанавливалась на Высочайшем уровне. И копии с выпиской из «Особого журнала Совета Министров» от 9 декабря 1910 года (все готовилось заранее!) были разосланы, надо полагать, во все учебные заведения Империи. «По вопросу о дне всероссийского празднования трехсотлетия Дома Романовых» Совет Министров пришел к следующему: «Вопрос о назначении дня всероссийского празднования трехсотлетия Царствования Дома Романовых повергнуть на Высочайшее разрешение Вашего Императорского Величества, при заключении Совета, что, по его мнению, таковым днем следовало бы объявить 21 февраля 1913 года — годовщину избрания земским собором Михаила Федоровича на царство. Об изложенном Совет всеподданейшим долгом почитает представить на Высочайшее Вашего Императорского Величества благовозрение».

И резолюция: «На подлинном Его Императорскому Величеству благоугодно было Собственноручно начертать: “21 февраля считать днем главного празднования”».

Ново-Николаевск, как и вся Империя, отмечал праздник. В самом центре поднялась часовня Святителя Николая, осенив своим крестом весь молодой город. Проходили торжественные заседания, в храмах служили молебны. Само собой разумеется, что не остались в стороне и учебные заведения, которые по столь торжественному случаю объединили свои творческие силы. И вот что получилось...

«Ново-Николаевское реальное училище, женская гимназия и частное мужское учебное заведение 2-го разряда

Программа торжественного акта в день празднования трехсотлетнего юбилея царствующего Дома Романовых...

1. *“Боже, Царя храни!” — народный гимн. Исполняет соединенный хор учеников реального училища и учениц женской гимназии при участии оркестра.*

2. *“Смутное время на Руси и избрание на царский престол Михаила Феодоровича Романова” — доклад преподавателя реального училища К. К. Ранг.*

3. *“Слава Дому Романовых!” — кантата; музыка Крескостовского, слова Орловой. Исполняет соединенный хор учеников реального училища и учениц женской гимназии.*

4. *“Русь”, стихотворение Никитина — прочтет ученица 6 класса Орочко.*

5. *“Жизнь Сусанина”, стихотворение Рылеева — прочтет ученик 3 класса (фамилия неразборчива. — М. Щ.).*

6. *“Кто он”, стихотворение Майкова — прочтет ученик частного училища Курницкий.*

7. *“Основание Петербурга”, стихотворение Пушкина — прочтет ученица 5 класса Александрова.*

8. *“Два великана”, стихотворение Лермонтова — прочтет ученик частного училища (фамилия не указана. — М. Щ.).*

9. *“В надежде славы и добра”, стихотворение Пушкина — прочтет ученик 6 класса Кустов.*

10. *“Император Александр II на смотре в Плоэшти в 1877 г.”, из сочинения Гаришина — прочтет ученик 5 класса Дейнман.*

11. *“Боже, Царя храни!” — народный гимн. Исполняет соединенный хор реального училища и женской гимназии при участии оркестра».*

Но и это еще не весь репертуар.

К торжествам было подготовлено и более грандиозное действо, а именно — «Картины из оперы “Жизнь за Царя” в исполнении учеников реального училища и учениц женской гимназии». Сохранился даже текст этих «картин», отпечатанный в виде отдельной брошюры. Давайте ради любопытства откроем ее и попытаемся представить зал реального училища, в котором заняты все свободные места, представим волнение юных артистов и тот волнующий момент, когда раздвинулся занавес и началась «Картина 1-я. Улица села Домнино. Вдали река. Хор крестьян поет:



В бурю, в грозу,
Сокол по небу
Держит молодецкий путь.
В бурю по Руси
Добрый молодец
Песню русскую ведет:
“Страху не страшусь,
Смерти не боюсь.
Лягу за Царя, за Русь!
Мир в земле сырой!
Честь в стране родной!
Слава мне в Руси святой!”»

Молодые, сильные голоса реалистов и гимназисток, наверное, мало кого оставляли равнодушным. Да и не могло быть иначе, ведь в тот момент в стенах реального училища звучали не просто «картины оперы», звучала сама русская история, трагичная и великая, и юные сердца не могли не отозваться на этот зов.

Говорить об этом можно с полной уверенностью, ведь уже на следующий год грянет Первая мировая война, и хотя Ново-Николаевск будет отделен тысячами верст от театра военных действий, он будет тоже жить заботами и тревогами воюющей страны. Не останутся в стороне от этих забот и тревог и юные гимназистки. С самого начала войны, в «Памятных книгах учениц» Первой Ново-Николаевской женской гимназии, в разделе «Заметки об ученице», где раньше появлялись записи об успехах либо неудачах в учебе, о мелких проступках в виде опозданий на занятия, теперь значатся записи уже совсем иного содержания: «Шьет белье раненым из своего материала», «Дана рубашка. Сдана рубашка». Рубашки, надо полагать, выдавались гимназисткам для того, чтобы они обметывали петли для пуговиц, или, может быть, пришивали сами пуговицы. Таким шитьем занимались ученицы 4, 5, 6, 7, 8 классов, то есть все гимназистки среднего и старшего возраста. Собирались подарки для воинов, о чем свидетельствует вот это письмо, полученное в мае 1916 года.

«Начальнику Ново-Николаевской женской гимназии.

Прошу принять от вверенной мне батарее благодарности за присланные к светлomu празднику Воскресения Христова подарки. Передайте наше спасибо также и всем Вашим воспитанницам, которые не забывают нас.

*Командующий батареей, штабс-капитан — (подпись неразборчива. — М. Щ.)
Делопроизводитель, прапорщик — (подпись неразборчива. — М. Щ.)»*

А война все набирала и набирала обороты. В Ново-Николаевске появились беженцы, и это обстоятельство добавило новых забот Попечительному Совету гимназии, которому приходилось хлопотать теперь и за детей беженцев, в частности, и перед городским отделением «Комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий». Комитет этот, судя по документам, существовал отнюдь не формально.

«В Попечительный Совет Ново-Николаевской женской гимназии.

Правление Ново-Николаевского отделения Татьянинского Комитета на заседании своем от 16 марта 1916 года, рассмотрев ходатайство Попечительного Совета Ново-Николаевской женской гимназии от 16 марта сего года о взносе в гимназию платы за правоучение учениц-беженок: Масленниковой, Макувка Ирины, Макувка Янины, Ромашевской и Хват в сумме 375 рублей, единогласно постановило возбудить ходатайство перед Комитетом Ея Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны об ассигновании из средств Комитета».

В скором времени было получен еще один документ.

«Госпоже Начальнице Н-Николаевской первой женской гимназии

Настоящим имею честь уведомить Вас, что пособие в 375 рублей на взнос платы за право учения детей беженцев во вверенной Вам гимназии в 1915—1916 учебном году, согласно ходатайству Попечительного Совета... мной получено и может быть выдано Вам или г. Председателю Попечительного Совета. Председатель Ново-Николаевского городского отделения Комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны (подпись неразборчива. — М.Щ.)».



Вот так и жила гимназия в те трудные военные годы, исповедуя вечные ценности и любовь к Родине, даже не подозревая о том, что в скором времени ценности эти окажутся ненужными, более того, их объявят враждебными, но это уже тема для иного рассказа.

А город жил...

Строился, работал, торговал, рожал детей. Думал о будущем и оглядывался на прошлое.

Ново-Николаевский отдел Петербургского «Общества изучения Сибири и улучшения ее быта» готовился к своему открытию и обещал возбудить интерес к познанию края, исследовать его историю. Гласный поверенный Григорий Жерновков ратовал в печати за воспитание у новониколаевцев «местного чувства» и сетовал, что отсутствует, а если имеется, то в недостаточной степени, особая, сибирская гордость.

Магазины и базарные прилавки ломились от изобилия. И чего только не предлагали бойкие торговцы! Шубы, белье, плуги, керосин, шляпки, обувь, мясо, муку, серебро и золото — на любой привередливый вкус и на кошелек любой толщины.

И нахваливали свой товар, не стесняясь, превознося его достоинства до небес. «Лучше нет мыла — утверждалось в объявлении, украшенном замысловатыми виньетками, — чем мыло, изготавливаемое Н. П. Кондратьевым. Моет оно чисто, экономно, сохраняет белье от износа и готовится благодаря знанию, из рода в род переходящему и никому кроме неизвестному». Как же не купить такое мыло?!

А экипажная мастерская господина Алеева вырабатывала и ремонтировала разные экипажи, зимние и летние, рессорные и полурессорные, ходки городские и крестьянские телеги на железном и деревянном ходу.

А пивоваренный завод Р. И. Крюгера извещал, что пиво данного завода, известное своим отличным качеством, можно приобрести не только на оптовом складе на Вокзальной улице, но и на Николаевском проспекте, на улицах Межениновская, Асинкритовская, Тобизеновская и Кабинетская, а также в гостинице «Россия», в железнодорожном собрании, в буфете станции Ново-Николаевск и заводских пивных лавках.

Вот как размахнулись! Куда ни ступи — везде пиво Крюгера!

А завод Н. А. Адрианова предлагал фруктовые воды, вырабатываемые исключительно на сахаре, а тем, кто не верил, предлагали: желаящие могут проверить это химическим анализом и убедиться, таким образом, в отсутствии какой-либо фальсификации. И скромно извещали, что завод награжден тремя золотыми медалями.

9. «Необходимая ясность изложения»

В январе 1909 года новониколаевская газета «Народная летопись» сообщила своим читателям следующее:

«Вечный памятник.

Такой памятник создан нашим городом 21 писателю и 1 художнику, именами которых названы улицы.

Центральная часть может гордиться 12 именами следующих писателей: Ломоносова, Державина, Карамзина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылова, Кольцова, Жуковского, Достоевского, Некрасова и Писарева, а закамская 9 именами следующих писателей: Толстого, Чехова, Тургенева, Белинского, Лескова, Шевченко, Никитина, Грибоедова, Короленко, и художника Маковского».

Названия этих улиц, пережив все революции, войны, перестройки и реформы, сохранились до наших дней. Мне видится в их сохранении своего рода символ — это великая русская литература устояла под жестокими ветрами двадцатого века. И насколько же мудрыми были люди, которые «поставили» в нашем городе «вечный памятник» не только отдельным писателям, а именно всей русской литературе.

И здесь просто необходимо сказать о том, что Ново-Николаевск был городом читающим, и что первая библиотека, состоявшая из личных книг инженера Г. М. Будагова, прибыла сюда с первым обозом строителей.

Стоит ли после этого удивляться, что изучению словесности в Первой Ново-Николаевской женской гимназии уделялось самое пристальное внимание.

В программах всех вечеров, проводимых гимназией, обязательно присутствует русская классика. Это — незыблемо. То есть ученицы должны были не только наизусть знать стихотворения лучших русских поэтов, но и уметь исполнять их со сцены, вкладывая в это исполнение собственные чувства. Именно декламация, употребим



слово того времени, помогала юным девушкам почувствовать напевность и ритм стихотворного текста, ощущая его во всей первозданной красоте.

Но декламация предназначалась в первую очередь для концертов, благотворительных вечеров и утренников. А вот на уроках словесности, в гимназических классах, шло настоящее, неторопливое и глубинное изучение этой самой словесности. Один красноречивый документ, касающийся этой темы, который удалось разыскать в архиве, называется так: «Программа по словесности для 7-го класса Новониколаевской женской гимназии».

Документ объемный, занимающий девятнадцать страниц большого формата, написанный от руки четким, убористым почерком. Давайте вчитаемся в эти строки и задумаемся над ними...

«1.

а) *Обице направления литературы в эпоху Екатерины II. Распространение философских идей, развитие хвалебной лирики, стремление к самобытности, сатирическое направление. Религиозные, политические и общественные идеи Восемнадцатого века. Вольтер. Руссо. Монтескье. Энциклопедисты. Распространение философских идей в России. Отношение к ним Императрицы Екатерины Великой. Ее сочинения. Воспитательные идеи Императрицы.*

б) *Понятие о словесности. Двойкий способ ее изучения: исторический и теоретический. История и теория словесности. Разделение словесных произведений по происхождению на народные (устные, безыскусственные) и литературно-художественные (искусственные, письменные).*

в) *Понятие о сочинениях. Обице свойства сочинений: тема сочинений, содержание сочинений, план. Требования, которым должно удовлетворять содержание сочинений: единство, полнота содержания, истинность, соразмерность частей. Форма изложения мыслей: монологическая, диалогическая, эпистолярная.*

2.

а) *Комедия Фонвизина “Недоросль”. Имело ли слово “недоросль” иронический смысл в XVIII веке, и кого называли тогда этими словами? Краткое содержание комедии. Какие особенности ложно-классической драмы отразились на пьесе “Недоросль”? Характеристика действующих лиц комедии. Как отражаются в пьесе идеальные стремления XVIII века (взгляды на воспитание, идеи “Наказа”)? Как отразились в этой пьесе темные стороны русской действительности? Общественное и литературное значение комедии “Недоросль”.*

б) *Народные произведения: былины. Понятие о былинах. Почему былины сохранились преимущественно на севере? Сказание о старинных богатырях. Святогор. Вольга Святославович. Микула Селянинович. Происхождение былин.*

в) *Прозаический и поэтический способ выражения мыслей в словесных произведениях.*

3.

а) *Масонство. Причины его распространения на Западе. Основные задачи европейского масонства. Отрицательные стороны его. Что полезного внесло оно в русскую жизнь? Деятельность Новикова, как масона, как издателя сатирических журналов, как основателя “Дружеского ученого общества”.*

б) *Былины о богатырях младших Киевского и Новгородского цикла Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче, Василии Буслаевиче, Садко, богатым госте. Былина “Отчего перевелись богатыри на Руси”.*

в) *Требования, которым должен удовлетворять слог каждого писателя.*

4.

а) *Г. Р. Державин. Обице направление его поэзии. Деление од Державина. Оды: “На смерть князя Мещерского” и “Бог”. Державин как певец Екатерины II. Ода “Фелица”. Ода “Памятник”. Взгляд Державина на поэзию. Особенности лирики Державина. Положительные и отрицательные стороны его личности.*

б) *Исторические песни. Понятие о них. Сходство и отличие их от былин.*

в) *Изобразительность или картинность речи. Средства, способствующие картинности речи (эпитеты постоянные и украшающие). Сравнения. Тропы. Фигуры.*

5.

а) *Сентиментализм и романтизм в русской литературе. Повесть “Бедная Лиза” Карамзина. Краткое содержание повести. Верно ли переданы здесь быто-*



вые условия русского крестьянства? В чем выразилось в ней сентиментальное направление? Что положительного вносила эта повесть в русскую литературу и в чем заключается ее историко-литературное значение?

б) Происхождение книжной словесности на Руси. Святые братья Кирилл и Мефодий. Изобретение славянской азбуки и перевод церковных книг на славянский язык. Крещение Руси. Начало письменности на Руси. Произведения переводной византийской литературы.

в) Речь стихотворная. Виды стихосложения (тоническое, метрическое и силлабическое). Стихотворное ударение. Стопа. Стопы двухсложные и трехсложные.

6.

а) Карамзин. «Письма русского путешественника». Какие страны посетил Карамзин? Предметы интереса Карамзина в разных странах. Об общечеловеческих стремлениях и отношении к вопросам национальности. Положительные и отрицательные стороны сентиментального направления автора. Особенности языка «Писем» и его литературные достоинства. Значение «Писем» для читателей того времени. Карамзин как историк. Предшественники Карамзина и их задачи в области истории. Научные достоинства «Истории» Карамзина... Морально-поучительная тенденция...

б) «Поучение детям» Владимира Мономаха.

в) Деление словесных произведений на поэтические и прозаические. Понятие о прозаических произведениях и поэтических.

7.

а) Романтизм в литературе. Эпоха романтизма. Родство с сентиментализмом. Происхождение романтизма в связи с историческими событиями века. Основные черты западноевропейского романтизма. Заслуги нового направления. Романтизм в России и Жуковский. «Сельское кладбище» Жуковского...

б) Произведения исторические. Летописи. Происхождение летописей. Летопись Нестора. Ее источники устные и письменные. Отличительные черты летописи Нестора и ее значение.

в) Деление прозаических произведений на описательные, повествовательные и ученые. Сочинения ораторские».

Здесь приведена лишь часть «Программы...», всего в ней двадцать один пункт. Круг изучаемых вопросов поистине огромен. Обратите внимание, как эти вопросы построены. Здесь и конкретные авторы, и конкретные произведения, и литературно-философские направления, и собственно литературоведение — все в единой продуманной системе. Читая «Программу...», которая заканчивается изучением творчества Н. В. Гоголя, и охватывает чувство горечи. Почему? А вы загляните в нынешние учебники литературы 8-го, 9-го, 10-го классов, сравните старую гимназическую «Программу...» с пресловутыми изделиями нынешнего министерства образования, и вам все станет ясно без комментариев.

Но вернемся к изящной словесности.

В архиве сохранились несколько сочинений гимназисток. Писались они на листах большого формата, на каждом из которых стояла печать гимназии. Сначала писали черновик, в котором разрешалось делать поправки, зачеркивания, дополнения, а затем — беловик. Оригиналы сочинений, которые сохранились, «называют» нам две темы: «Офицерское общество в повести Пушкина «Капитанская дочка»» и «Московское общество в комедии «Горе от ума» Грибоедова». Что сразу же удивило — на каждое сочинение имеется довольно объемная рецензия преподавателя, который не просто ставил ту или иную оценку, а подробно разбирал сочинение, указывая в нем сильные и слабые стороны. Знание произведения в особую заслугу не ставилось — видимо, это подразумевалось само собой. Больше всего ценилась самостоятельность в анализе, в выводах, иными словами, от гимназисток требовали собственных мыслей. И, конечно, красивого слога. Если такового не обнаруживалось, следовало довольно суровое внушение и соответствующая оценка. Вот одна из рецензий, написанная преподавательницей К. С. Полянской: «Работа довольно грамотная. Содержание исчерпывает задачу темы. Но написана местами таким тяжелым языком, который в значительной степени помешал необходимой ясности изложения. Данную работу нахожу лишь удовлетворительной и оцениваю отметкою три с плюсом».

А вот еще одна рецензия: «Работа написана толково, сжато и без грамматических погрешностей. Самостоятельность мысли присутствует во всем сочинении. Ясный, образный язык свидетельствует о высоком уровне прочтения и осмысления, а потому ставлю отметку — пять».



Эх, Милостивая Государыня, Клавдия Сергеевна Полянская! Вам бы на обучение да нынешних кандидатов и депутатов с вузовскими дипломами и с «тяжелым языком», Вы бы их двойками с ног до головы осыпали!

Да, времена меняются и, увы, не в лучшую сторону.

Я буквально был поражен, когда узнал, какие сочинения писали гимназисты в России в начале двадцатого века «на вольные темы». Вот их перечень:

Младший возраст:

- О том, что видела птичка в дальних землях.
- История постройки дома и разведения при нем сада.
- Великаны и пигмеи лесного царства.

Средний возраст:

- Замирание нашего сада осенью.
- Река в лунную ночь.
- Встреча войска, возвратившегося из похода.
- Лес в лучшую свою пору.
- Дедушкин садик.

Старший возраст:

- Почему жизнь сравнивают с путешествием?
- Родная и чужая сторона.
- О скоротечности жизни.
- Какие предметы составляют богатство России и почему?
- О высоком достоинстве человеческого слова и письма.
- О непрочности счастья, основанного исключительно на материальном богатстве.
- Слово, как источник счастья.
- О проявлении нравственного начала в истории.
- На чем основывается духовная связь между предками и потомками.

Есть о чем задуматься, читая этот список.

И крепко задуматься...

А город жил...

Точнее сказать — переворачивал очередную страницу своей истории, даже не подозревая, что будет начертано суровыми письменами на страницах следующих.

1917 год.

Судя по новониколаевской газете «Голос Сибири», грозные события были означены лишь телеграммами и сообщениями из Петрограда да изменившимся репертуаром кинематографа, о чем едва ли не аршинными буквами извещали газетные объявления:

«Внимание!»

Готовим к постановке сенсационные новости. Гришка Распутин и его ставленники. 1 часть. Грехопадение. 2 часть. За кулисами благочестия. 3 часть. То, о чем молчали. 4 часть. Смерть предателя.

Мало вам этого, господа обыватели?! Тогда еще, на закуску:

«Позорный Дом Романовых и гордость кинематографии, звезда сезона, всюду нашумевшей картины "Сердце, брошенное волкам".

Сильная драма в 5 частях».

А во всем остальном, если судить опять же по газете, наблюдалось тихое течение жизни. Со своими заботами, хлопотами и даже развлечениями. Тот же «Голос Сибири» оповещал: *«Вторник 29 августа (1917-го года. — М. Щ.). Ново-Николаевским спортивным обществом на местном ипподроме устраиваются с небывало обширной программой велосипедные гонки. Участвуют 27 гонщиков с заездом на 10 верст. Оркестр военной музыки. Открыт буфет».* Или иное: *«Граждане! Главный комиссар Ново-Николаевской милиции прапорщик Голобородко обращается к гражданам г. Ново-Николаевска обратить внимание на огромное число бродячих собак, порою не дающих проходу, рвущих и угрожающих личной безопасности. Прошу завести немедленно цепи и намордники, подвергая виновных штрафу. За комиссара милиции Опекунов».*

Заканчивалась первая глава новониколаевской истории, уходила в прошлое, а на пороге городских жилищ уже маячил страшный лик гражданской братоубийственной войны.



10. «И должно быть освобождено к началу учебных занятий...»

Последняя глава нашего повествования будет короткой.

И печальной.

Перечитывая последние документы Первой Ново-Николаевской женской гимназии, помеченные 1918—1919 годами, я сразу же обратил внимание, что на этих документах исчезает подпись Павлы Алексеевны Смирновой. Более того — фамилия исчезает! Как будто в Первой Ново-Николаевской женской гимназии никогда не существовало госпожи Смирновой...

Да куда же она делась?!

Вот ведь, совсем еще недавно Павла Алексеевна изо всех сил отчаянно пытается отстоять свое любимое детище, пишет письма в инстанции, хлопочет о повышении жалованья своим сотрудникам, а еще защищается, как может, от нападков новых властей, которые действуют с революционной решительностью. Чего стоит хотя бы вот это письмо, направленное в гимназию в январе 1918 года новониколаевским уездным комиссаром труда:

«Гр. П. А. Смирновой

Ввиду поступивших к нам многочисленных заявлений служащих Вашей гимназии о неуплате Вами жалованья согласно тарифным ставкам, предлагаю Вам явиться 22 января... в 11 часов утра в Дом Революции (бывший Коммерческий клуб [5]) к Комиссару Труда, чтобы пояснить причины Вашего отказа платить жалованье по ставкам».

Из дальнейшей переписки становится понятным, что речь идет о сторожах и сторожихах, которым «объявлен окончательный расчет и на службе в гимназии не состоят», потому что сторожить... нечего! Из-за нехватки средств второе помещение пришлось оставить. Нет, товарищи, это не довод! А как же с правами трудящихся?!

И — новое письмо. Уже из профсоюза сторожей Ново-Николаевска:

«Правление Союза просит Вас сегодня же прислать ему копию сношения Вашего от 24 января с. года за № 2-м по делу увольнения сторожей гимназии».

Переписка по поводу сторожей занимает довольно много времени и... внезапно обрывается. Почти одновременно исчезает из документов и фамилия Смирновой.

Да что же произошло все-таки с начальницей гимназии?

Лишь с помощью сотрудницы Новосибирского городского архива Натальи Геннадьевны Скорняковой удалось в конце концов разыскать несколько документов, правда, и они тоже не проясняют дальнейшей судьбы Павлы Алексеевны Смирновой, не ставят окончательной точки...

Итак, лето и осень 1918 года. В Ново-Николаевске уже свергнута Советская власть, в Омске действует Сибирское Временное правительство, набирает обороты гражданская война. Но Первая Ново-Николаевская гимназия еще существует, однако начальницей, с 1 июля 1918 года, числится Софья Тыжнова. Какие причины заставили Павлу Алексеевну покинуть свой пост, по своей ли воле она это сделала, остается неизвестным. Сохранились лишь несколько документов, которые я привожу здесь в хронологическом порядке:

«В Попечительный Совет Новониколаевской 1-й женской гимназии.

Вследствие полученного мной сообщения Попечительного Совета гимназии от 30-го сентября 1918 года за № 155, покорнейше прошу Совет разъяснить, до какого времени я, по мнению Попечительного Совета, могу пользоваться квартирой в помещении Гимназии. П. Смирнова».

Председатель Попечительного Совета 11 октября отвечает Павле Алексеевне:

«В ответ на Ваше письмо... Попечительный Совет гимназии доводит до Вашего сведения, что помещение, занимаемое Вами, отведено под классы, и оно должно быть освобождено к началу учебных занятий».

Затем следует письмо Павлы Алексеевны в Попечительный Совет:

«Сим довожу до сведения Попечительного Совета гимназии, что в денежном шкафу Попечительного Совета по проведенному мной в присутствии члена Педагогического Совета Д. И. Кулик подсчету оказались следующие суммы...»

Далее следует полный отчет до последней копейки и просьба:

«Вышеозначенные суммы покорнейше прошу проверить и принять».

Приняли, проверили, написали ответ:

«Присланные Вами два письма относительно занимаемой Вами квартиры и передачи денежных сумм получены, а также получены четыре тысячи пятьсот двадцать три руб. 70 коп. Причем при подсчете денег в пакете, где значились 932 р. 24 к., оказалось 931 р. 24 к.»

Вот какая нехватка — в целый рубль!

И, наконец, последний, по хронологии, документ. От 24 октября 1918 года. Из протокола заседания Попечительного Совета:

*«Об освобождении помещения, занимаемого П. А. Смирновой.
Ввиду того, что занимаемое ею помещение крайне нужно под классы, вторично написать П. А. Смирновой — когда она может освободить его...»*

Где-то между канцелярских строк остается скрытой и неразгаданной причина ухода Павлы Алексеевны с должности начальницы, и с достаточной долей уверенности можно утверждать лишь одно: ей пришлось покинуть свою квартиру, покинуть свою гимназию и выйти в немолодом уже возрасте в суровый и беспощадный мир, где уже бушевала в полном разгаре братоубийственная гражданская война...

Что стало в дальнейшем с начальницей Первой Ново-Николаевской женской гимназии — не известно.

А вот дальнейшая судьба самой гимназии, благодаря сохранившимся документам, видится вполне четкой. В июне 1920 года она уже значится под таким названием — Третья советская школа 2-й ступени Центрального района. А 26 января 1921 года Третья советская школа 2-й ступени Центрального района была закрыта «из-за недостатка преподавателей».

* * *

Так что же? Все закончилось, минуло, как сон, как видение, и следа не осталось? Нет, дорогой читатель, бесследно из подлунного мира ничего не исчезает, все сохраняется и живет в том незримом пространстве, которое называется памятью.

Нашей с вами памятью.

И поэтому будем с благодарностью помнить удивительно светлую и чистую страницу в истории славного Ново-Николаевска, страницу, на которой написаны судьба Первой женской гимназии и судьбы первых гимназисток, и пока мы помним, они будут жить здесь, рядом с нами.

А неравнодушное сердце всегда отзовется и проникнется нежной любовью к прошлому, когда из далекой столетней дали, из давних минувших дней донесется до чуткого слуха звенящий, серебряный смех новониколаевских гимназисток, живших в нашем городе на заре двадцатого века, на заре своей туманной юности.

Он и сейчас звенит.

Вы только прислушайтесь...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сиряченко Зинаида. Я помню... — Новосибирск, «Сибирская горница», 2003.
2. В девичестве З. М. Сиряченко носила фамилию Каплун.
3. Ярмарочная площадь является теперь центральной площадью города. На месте кинотеатров, о которых упоминает З. М. Сиряченко, теперь стоит монументальная скульптурная группа.
4. Мария Каринская — известная исполнительница русских народных песен и романсов. В 1912 году гастролировала в Ново-Николаевске.
5. Коммерческий клуб, Дом Революции — ныне театр «Красный факел».

Алексей ГОРШЕНИН

МНОГОСТАНОЧНИК

К 70-летию Александра Плитченко

Ноябрь минувшего года был отмечен скорбной для словесности сибирской датой — пятнадцать лет назад ушел из жизни один из талантливейших ее поэтов Александр Иванович Плитченко. А в апреле нынешнего ему исполнилось бы 70 лет.

С этой незаурядной личностью у меня было в разное время связано немало. Не раз наши жизненные пути пересекались, а то и вовсе шли одной колеей.

Впервые Александра Плитченко я увидел далеко от родной для нас обоих новосибирской земли — во Владивостоке.

Подходил к концу дождливый октябрь 1964 года. На улице сыро, слякотно, а в помещении идеологического отдела газеты «Тихоокеанский комсомолец» тепло и уютно. Каждую пятницу собиралось здесь литературное объединение, которое посещала в основном учащаяся и рабочая молодежь. Наведывался туда и я — первокурсник филфака Дальневосточного государственного университета. Сам стихов я, в отличие от большинства остальных членов лито, не писал, но в обсуждениях участвовал. Народу обычно приходило чуть более десятка человек, как правило, одни и те же, и все друг друга уже знали.

Но в этот раз среди нас появился новичок. На «огонек» заглянул чернявый матрос, представился Сашей Плитченко и попросил послушать его стихи вне очереди, потому как, объяснил он нам, не часто удается вырваться в увольнение. Служил Саша срочную комендором на крейсере, пришвартованном в самом центре Владивостока, на 33 причале, где традиционно стояли на приколе военные корабли Тихоокеанского флота. Никто не возражал послушать сначала гостя.

И Плитченко стал читать. Я сейчас за давностью лет уж и не помню точно, что именно он читал, но это резко отличалось от тех рифмованных опусов, какие здесь звучали. Руководитель объединения Эдик Поляков аж со стула вскочил. А когда Плитченко закончил чтение, воскликнул:

— Вот настоящая поэзия!

И, забыв о нашем существовании, взялся расспрашивать поэта-матроса: откуда он, публиковался ли где...

Из того их разговора я узнал, что Плитченко — мой земляк и не совсем уж и новичок в поэзии. Еще в седьмом классе в Каргатской районной газете опубликовал первые стихи и рассказы. В 1963 году его стихотворения с напутствием известного советского поэта Егора Исаева появились в «Литературной России», а в 1964-м — сразу в двух «толстых» журналах — в «Сибирских огнях» и «Москве». Одновременно в Новосибирске вышла и его первая (детская) книжечка стихов «Про Сашку». Получалось, что в сравнении с нами остальными здесь, был он едва ли не мэтр. Недаром даже Эдик Поляков, бывавший с нами иногда высокомерно-снихождительным, разговаривает с ним почтительным тоном и чуть ли не в рот заглядывает.

А через несколько дней подборка стихотворений Александра Плитченко была опубликована в очередном номере «Тихоокеанского комсомольца». Чернявого комендора с тех пор я больше не видел, но запомнил, и когда где-то находил опубликованными его стихи, радовался, как встрече с хорошо знакомым. Вместе с тем я и предположить тогда не мог, что через полтора десятка лет мне доведется с ним вместе работать.

В начале 1979 года я стал литературным редактором отдела прозы «Сибирских огней». Ответственным секретарем был тогда Александр Иванович Плитченко, сам еще не так давно заведовавший «прозой» журнала. Меня он, конечно же, не помнил. Да и сам заметно изменился: заматерел, посолиднел, и уже мало что напоминало в нем о том чернявом матросике. Все правильно. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. А за эти полтора десятка лет бывший комендор Саша Плитченко сумел далеко уйти. Вернувшись в 1967 году после службы во флоте на родину, успел он поработать и районным журналистом, и редактором Западно-Сибирского книжного издательства и, наконец, прочно обосноваться в «Сибирских огнях». Его творческий послужной список был не менее впечатляющим. Около десятка поэтических книг, изданных во Владивостоке, Новосибирске и Москве, многочисленные публикации в газетах, журналах, коллективных сборниках. В 1968 году Плитченко приняли в СП СССР. Он стал едва ли не самым молодым в Сибири поэтом — членом Союза писателей.

На ближайших же редакционных посиделках в честь какого-то советского праздника — кажется, Первомая — я сам напомнил Александру Ивановичу о том его визите осенью 1964 года в приморскую «молодежку». Он оживился, загорелся, и мы весь вечер предавались воспоминаниям о Владике, Приморье с его потрясающей природой и удивительными географическими названиями. «Ты послушай, как красиво звучит! — воскликнул Плитченко. — Остров Аскольд, бухта Патрокл...» А я вспоминал стихи из вышедшей в 1967 году во Владивостоке его книжки «Облака, деревья, травы...», значительная часть которой была посвящена морской службе и дальневосточной романтике.

**Бухта пела и чудила, убаюкивала зори,
Грохотала!**

**И высоты зычным голосом
Звала.**

Этот дикий,

дикий,

дикий,

Сумасшедший запах моря!..

— начинался поэтический этюд Плитченко «Бухта Наездник при зойд-весте». И словно воочию слышалась мне причудливая штормовая песнь, издаваемая каменным органом скалистых берегов, ощущался «сумасшедший запах моря». Всплывало в памяти и другое стихотворение:

**В голубом снегу следы оленье,
Ниже синева и сейнера.
Понимаешь? Остров. Отдаленье.
Понимаешь? Время. Не пора.**

**Остров —
Край и света и рассвета.
(Вороны сидят на маяке).
Остров — у декабрьского ветра
Обомшелый камень в кулаке...**

Мне тоже приходилось любоваться первозданной суровой красотой таких островов в длинной череде Курильской гряды, чувствовать то самое «отдаленье», которое становится здесь, на краю света, состоянием души. И мне, прожившему на дальневосточных берегах почти десять лет, это было особенно понятно и близко. О чем я и сказал тогда Плитченко.

Не буду утверждать, что мы тут же подружились, но, скрепленное взаимной симпатией, наше сближение произошло. По крайней мере с тех пор, несмотря на его куда более высокую ступень в служебной и творческой иерархии, Александр Иванович стал для меня просто Сашей. Впрочем, у нас и в возрасте разница была небольшая — всего на три года он старше, но все-таки главной причиной такого либерализма в отношениях между нами был сам факт этакого негласного дальневосточного «братства».

Что касается собственно Плитченко, то в памяти моей он остался человеком по большей части сдержанно-невозмутимым, взвешенным, рассудительным. Я не слышал, чтобы он когда-нибудь повышал голос или кипятился. Он умел держать свои эмоции на привязи и внутри себя. И это было особенно удивительно для поэта — существа уже, вроде бы, по самому своему определению неуравновешенного, неврастенического.

Впрочем, был ли Александр Плитченко поэтом и только поэтом? Да, конечно, он писал прекрасные стихи, поэмы, издавал один сборник за другим и выдвинулся в восьмидесятые годы в число первых поэтических величин Сибири. Но причислять его к «чистым» поэтам все-таки едва ли возможно. Во всяком случае, трудно было однозначно сказать, кто он: стихотворец, прозаик, публицист, переводчик, драматург, литературный критик... Плитченко плодотворно и интересно работал во всех этих жанрах. Занимался поэзией, писал повести, пьесы, критические статьи, эссе, рецензии, публицистические материалы, активно переводил национальных поэтов Сибири. И успевал при всем этом добросовестно и качественно исполнять непростые обязанности ответственного секретаря «толстого» журнала — должности в редакции ключевой, организующей, фокусирующей.

Сам он любил полушутя называть себя «многостаночником». С легкой руки Плитченко пробовали себя в различных жанрах тогда почти все творческие работники «Огней», включая главного редактора. И я в том

числе. Правда, до плитченковской многогранности мне было далеко, и я искренне Саше завидовал. А он, подавая пример, бывало, еще и подталкивал, провоцировал окунуться в ту или иную творческую ипостась.

Однажды на обложке «Сибирских огней» я увидел весьма примитивное «датское» стихотворение, напечатанное к какому-то «красному дню календаря», и сказал Плитченко, что такую бодягу я могу писать километрами. «Ну, так давай, пиши! — обрадовался он. — Из километра несколько метров путных наверняка найдется». Плитченко и В. Коржева, ведущего сибирского критика поэзии, уговаривал на публикацию в журнале его поэтической подборки, зная, что тот «для себя», для «ощущения и понимания процесса», как Виталий Георгиевич сам объяснял, пишет стихи. «Других критикую, требования предъявляю, высокую планку ставлю, а сам...» — не соглашался Коржев. Я тоже не стал рисковать своей репутацией подающего надежды критика ради «нескольких метров путных» виршей.

А вот на творческое соревнование Плитченко меня все-таки увлек. Соревноваться же предложил в моем основном жанре. «Давай, — сказал он мне в разгар предновогоднего редакционного застолья, — кто больше в наступающем году опубликует критических материалов». Вызов я принял, и гонка началась. Сначала мы шли ноздря в ноздю, потом Саша несколько отстал, потом снова меня настиг, но, поскольку я все основательнее переходил на крупные калибры критики — обзоры, литературные портреты, проблемные статьи, которые были моим коньком, постольку я все увереннее уходил в отрыв.

К моему удивлению, Плитченко несколько не огорчился. Даже вроде как и заранее был готов к такому повороту. Сегодня-то я понимаю, что подобным образом он, с одной стороны, подогревал мою творческую активность, стремясь на всю катушку использовать возможности молодого автора (в критическом разделе журнала проблема авторов стояла наиболее остро), а с другой — проводил как бы разведку боем для оценки этих самых возможностей. Зато потом Саша горой стоял за мои материалы, предлагаемые к публикации.

Что меня еще всегда в бытность нашей совместной редакционной сибогневской жизни поражало, так это Сашина страсть к чтению. Список обязательных произведений, которые требовалось прочитать по программам филологических факультетов, был и без того очень внушительным и не каждый из студентов его осиливал, но Плитченко его рамки были тесны, и он выходил далеко за

них. Если бы меня сейчас спросили о его читательских пристрастиях, то я бы не нашел что ответить. По-моему, их просто не было. Создавалось впечатление, что его интересовало все, и читал он обо всем, что попадалось. Но и читал отнюдь не поверхностно. Не «глотал», а впитывал, как губка, и не воду, а рассол книжной мудрости. Чтение было частью его самообразования, а самообразование — главным способом насыщения интеллекта и эрудиции. И в этом отношении из сибирских поэтов конкуренцию ему составить мог, пожалуй, только такой же влюбленный книжечей Виктор Крещик.

Близок «самообразованцу» Плитченко был и Виктор Астафьев. Если не считать двухгодичных курсов ВЛК, едва ли способных заменить полноценное высшее филологическое образование, он тоже «университетов не кончал», однако зачастую был на голову выше многих и многих куда более высокообразованных и интеллектуальных коллег.

Но, отдавая дань книгам, самообучению, Александр Плитченко вовсе не отрицал нормального образования. Если б не армия, он бы, наверное, и пединститут в положенное время окончил. А после флотской службы Саша свое образование продолжил, став теперь заочником Литературного института имени Горького. Учился он в нем, правда, очень неспешно (почитай, с десяти лет). Диплом этого заведения Саша получил только в 1982 году. И не по причине неспособности к наукам, беспробудной лени или, как тоже нередко бывает, сильной занятости столь долго он «грыз гранит наук». Скорей, по расчету, который, впрочем, в своем кругу особо и не скрывал. А расчет состоял в том, что, тем или иным образом затягивая процесс обучения, Саша получал дополнительные возможности (учебные отпуска и проч.) лишний раз побывать в Москве. Не сказать, что он так уж был влюблен в столицу — по крайней мере никогда не мечтал там обосноваться. Но поскольку очень многое тогда, в том числе и издательские дела, замыкалось на столице, то и каждый новый визит в белокаменную был только на пользу дела.

А как раз на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов Плитченко активно «прорубал» столичное «окно». В журналах «Смена», «Молодая гвардия», «Наш современник» публиковались подборки его стихов, в издательствах «Советский писатель» и «Современник» выходили его поэтические книги.

Литературная судьба у Плитченко в ту пору складывалась вполне успешно. В его поэтическом таланте мало кто сомневался,

широкая читательская аудитория его знала и принимала. Мотив благодарной сыновней любви к «родительской земле», где «каждая рошица — мать, каждое поле — отец» был близок многим и многим почитателям поэтического слова. Но иногда и в эту бочку меда попадали ложки дегтя.

Одну из своих книжек (сейчас точно и не помню какую) Плитченко послал известному советскому критику поэзии Александру Михайлову. Думаю, наверное, как и каждый из пишущих, в тайной надежде на положительный отзыв. Тем более что с Михайловым он был лично знаком. Но случилось непредвиденное: Ал. Михайлов о книге отзывался отрицательно, да еще в форме «открытого письма», в котором устроил провинциальному поэту суровую показательную порку.

Другая «ложка дегтя» была связана со стихотворной повестью Александра Плитченко «Екатерина Манькова». После ее переиздания в Москве столичный критик Павел Уляшов разразился в «Литературной России» убийственной рецензией с говорящим за себя названием «Большая схема хомута». Не знаю, чем не понравилось рецензенту поэтическое повествование о судьбе и любви современной сибирской крестьянки, но от творения Плитченко он тоже не оставил камня на камне.

В обоих случаях Саша сильно переживал. Даже обычная его выдержка не спасала. И мы ему в редакции искренне сочувствовали. Я особенно негодовал. Как же так — прислали человеку книгу от чистого сердца с теплым автографом, а он?.. Лучше бы вообще молчал, если не нравится. Я бы, скорее всего, так и сделал из этических соображений, но столичные литературные нравы были совсем иные. Забегая вперед, скажу, что наука эта Плитченко «пошла впрок» — в будущем он и сам не раз действовал по московским лекалам.

Что касается Уляшова, то история имела продолжение. Причем прямо по словице: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком...»

Редакция еженедельника «Литературная Россия» время от времени практиковала выпуск «целевых» номеров о творческой жизни региональных писательских организаций. Один из них предполагалось посвятить новосибирским литераторам. Для сбора необходимого материала в Новосибирск был командирован заведующий отделом критики... Павел Уляшов.

Как постоянный автор «Литературной России», я с Уляшовым был достаточно хорошо знаком и, естественно, приехав к нам, Паша в первую очередь разыскал меня, и я взял на себя роль литературного гида для сто-

личного гостя: свел его с некоторыми нашими писателями, подсказал, у кого какие материалы попросить для целевого номера. А потом привел в редакцию «Сибирских огней». В кабинет Никулькова набежал редакционный народ. Соблюдая иерархию, я представлял сотрудников редакции. Когда дошел до Плитченко, Уляшов заметно растерялся (видимо, не ожидал когда-нибудь лицом к лицу встретиться с отхлестанным им в рецензии поэтом-бедолагой, который, к тому же, окажется еще и ответственным секретарем уважаемого журнала). Плитченко тоже напрягся. И руки сконфуженному московскому гостю не подал. Ну, а в завязавшемся затем разговоре оба — и поэт, и критик — старались друг друга не замечать.

Удивительно, но вечером они мирно беседовали, уединившись в одной из комнат Новосибирской писательской организации. Возможно, Уляшов раскаялся в содеянном и был великодушно прощен, а может быть, Плитченко просто «не попомнил зла», но факт остается фактом.

Главный редактор «Сибирских огней» А. Никульков высоко ценил Плитченко. И как писателя, интересного в любой творческой ипостаси, но не меньше и как редакционного работника высокого профессионализма и ответственности. Вспоминается эпизод, свидетелем которого я невольно стал однажды. Начавшееся в редакции застолье, не помню уж какими судьбами, заканчивалось в моей квартире. Заканчивалось не очень благополучно, поскольку подвыпивший Карпунин стал «катить бочку» на шефа, пеняя ему на какие-то редакционные прегрешения, а под занавес и вовсе обозвал его хреновым редактором. Анатолий Васильевич оскорбленные запил очередной рюмкой и нанес контрудар:

— Редактор я, может, и хреновый, только тебе, Гена, и таким не быть никогда! Уж на кого я могу всецело положиться, так это на Плитченко. Ему и журнал, в случае чего, передам.

Однако обычно прозорливый Никульков на сей раз оказался неправ. В том смысле, что именно Карпунин его на посту главного редактора журнала «Сибирские огни» несколько лет спустя и сменил. Карты так легли, а самому Анатолию Васильевичу злобная жизнь язык показала. Когда смена власти в «Огнях» происходила, Саша Плитченко в журнале уже не служил и на место кормчего не покушался, занимая в это время должность главного редактора Новосибирского книжного издательства.

Издательство к тому времени, на исходе восьмидесятых, из Дома Ленина, где оно

многие годы занимало верхние этажи и получердачные помещения под крышей, съехало в двухэтажное старинное строение на углу улиц Бурлинская и 1905 года, являвшееся памятником деревянного зодчества под названием «Дом скорняка». Здесь было тесно, но достаточно уютно. Особенно в зимние морозы, когда тепло собственной махонькой котельной стараниями истопника А. Шалина (нынешнего председателя Новосибирской писательской организации) мягко обволакивало его внутренности.

Я готовил к изданию свою новую книгу, параллельно составлял сборник Владимира Зазубрина, поэтому в издательстве бывал часто. Плитченко занимал маленькую комнату на втором этаже, куда едва втискивался письменный стол и несколько стульев у противоположной стены, которые никогда не пустовали. К нему «не зарастала народная тропа». В его кабинетике всегда толкся народ. Кто по делу забегал, кто просто поболтать. Эти говоруны (по большей части томившиеся в домашнем одиночестве от скуки пожилые писатели), конечно, сильно отвлекали от дел, но Саша не выпроваживал никого. Он не хуже того Цезаря мог делать сразу несколько дел: терпеливо выслушивать говорунов, вовремя вставляя нужную реплику, работать с авторами, решать вопросы с редакторами, корректорами, художниками, просматривать и подписывать издательские договоры, составлять отчеты и так далее и тому подобное. Он был осью, вокруг которой вращалась вся издательская жизнь, он был ее духом и душой. Во всяком случае, так мне представлялось, когда я оказывался у него в кабинетике.

Впрочем, не со всеми жил Плитченко душа в душу. С директором издательства В. Жигалкиным отношения у него были весьма натянутыми. Совершенно разные были люди. Хоть и писатели оба. И когда в 1989 году появилось Новосибирское отделение издательства «Детская литература» — Плитченко с радостью перешел туда. Опять же главным редактором. При этом оставшись в своем уютном кабинетике, поскольку Новосибирское книжное издательство получило новое помещение на Вокзальной магистрали, а «Детская литература» унаследовала от него «Дом скорняка». Унаследовала вместе с помещением и творческую атмосферу, которую привнес в эти стены Плитченко.

Говорить о деталях и подробностях его работы главным редактором «Детской литературы» не стану — об этом пусть расскажут те, кто трудился с ним тогда бок о бок. Но как у человека со стороны у меня было ощущение, что Плитченко оказался здесь не только ко двору, не просто в своей тарелке, а

именно в той среде и условиях творческой свободы, в которых мог сполна реализовать собственные издательские возможности и замыслы. И поскольку того и другого у него было предостаточно, он развернул бурную деятельность.

Как вспоминает еще один сибирский поэт и друг Плитченко Александр Денисенко, работавший под его началом редактором, закладывая основы Сибирского отделения «Детской литературы», Александр Иванович «мечтал создать литературную “таблицу Менделеева” для будущих серий, циклов, библиотечек, для широкой планомерной работы; наладить выпуск уникальной «Сибирской библиотеки», фундаментального 30-томного фольклорного свода «Лукоморье», открыть городской Дом детского творчества с целой сетью художественных студий для детей, юношества, детским ЛИТО... У него были великие замыслы, у него были высокие цели, многие из которых он успел воплотить в жизнь». Например, быстро ставшую популярной книжную серию «Сказки ученого кота». Одной из осуществленных Плитченко целей стала и детская газета «Старая мельница», возникшая при его непосредственном участии, которую он некоторое время сам и редактировал, да и вообще был, как писалось в одной из новосибирских газет по сему поводу, «душой всего дела».

Наверное, со времен работы в «Сибирских огнях» не чувствовал Саша себя столь легко и свободно. Можно задаться вопросом — почему? Возможно, по той простой, но важной причине, что планета детства была Плитченко во всех отношениях очень близка. Саша очень нежно любил своих сыновей и дочь, как и вообще — детей. Любовь эта и в поэзии его находила отражение. Он ведь, вспомним, и дебютировал-то с детской книжкой — «Про Сашку». И позже не раз к детской теме обращался. А еще хранится у меня составленная Плитченко книжка детского фольклора «Солнышко-колоколнышко» в прекрасном оформлении Светланы Ким. Со вкусом, гармонично подобранные песенки, поговорки, потешки, присказки, с одной стороны, раскрывают богатство внутреннего мира ребенка, а с другой — сами способствуют его накоплению. Не случайно вышедшая приличным тиражом книга эта разошлась почти мгновенно, едва ли не на корню став раритетом.

В общем, появление Плитченко в издательстве «Детская литература» было, как мне кажется, совершенно логично и естественно.

Но Плитченко, наверное, не был бы Плитченко, если бы замыкался только в каких-то одних рамках. Это не только его многожанровой литературной деятельности ка-

салось, но и издательской. Подозреваю, что с подачи Плитченко (или по его идее) возникли вскоре после Сашиного прихода в «Детскую литературу» альманах «Мангазея» и почти одновременно одноименное книжное издательство. А когда «Мангазея» в 1990-х затеяло выпуск книжных серий, «повышающих читательский спрос» — таких, как «Русский криминал» и «Незнакомка» (женские романы), незримое присутствие Плитченко для меня стало совершенно очевидным.

В чем оно проявлялось? Да хотя бы в той фантазии, с какой преподносилась и раскручивалась каждая книга. Завершавшие очередную вышедший том рекламные материалы и анонсы будущих томов серии читать подчас было интереснее самого произведения. Одна мистификация с незабвенной Беатой Поланской чего стоит. Этот мифический персонаж, однажды появившись среди тех же рекламных анонсов, несколько лет, практически до самой кончины Плитченко, неотступно сопровождал «Русский криминал», являясь самой экзотической его «заманухой». В новосибирской газете «Момент истины» в 1996 году даже интервью с таинственным автором под названием «Пани Поланска не курит “Магну” и не издается в Москве» появилось.

В чем была фишка и пикантность этого образа? А в том парадоксе, что «всемирно известная писательница» и «гражданка Вселенной», обладательница ряда престижных литературных премий мира пани Поланска якобы родилась в Барабинске Новосибирской области и издавалась «исключительно в Новосибирске», в издательстве «Мангазея», «которому (по утверждению автора упомянутого интервью) она передала исключительное право на издание своих произведений в России». Здесь же, в Новосибирске, якобы находился и единственный российский фан-клуб Беаты Поланской. Для вящей убедительности его деятельность в подробностях освещалась на рекламно-аннотационных страницах серии «Русский криминал», публиковались «читательские письма» — в общем, создавался весь необходимый антураж.

Надо отдать должное — это был оригинальный, как сказали бы специалисты, маркетинговый ход. Не в последнюю очередь благодаря ему «Русский криминал» разошелся хорошими тиражами.

Саша долго отнекивался, что Беата — выдумка. Но однажды сказал, смеясь: «Не соврешь — не проживешь! И жить не так скучно...»

Он и здесь оставался истинным художником, для которого творчество, помимо всего прочего, — еще и игра. И этот игровой

момент в любой его форме Плитченко охотно поддерживал. О чем свидетельствует хотя бы его участие в перформансе, устроенном молодыми поэтами, художниками, музыкантами, журналистами Новосибирска в начале девяностых под названием «Лента Стебисуса», эпиграфом к которому стали строчки из стихотворения Владимира Берязева:

**Благословенна праздная игра!
Спаситель тоже трогал погремушку,
А рифму, как чудесную игрушку,
Нам дали в час воскресного добра.**

Эту точку зрения своего ученика и младшего товарища-сподвижника Александр Иванович вполне разделял.

Флером такой игры, подчас совершенно фантазмагорической, подернуты и многие произведения самого Плитченко. Причем не только поэтические. По существу, на литературной игре держатся его повести «Дверь на холме», «След мамонта», роман «ЗАГС», где сплелись воедино кондовый жизненный реализм, фантастические видения, доходящая до жесткой сатиры ирония, где всамделишность и придумка словно бы играют друг с другом в пинг-понг.

В 1993 году «многостаночник» Плитченко расширил свой «станочный парк» — его избрали председателем правления Новосибирской писательской организации. Сашина кандидатура, помню, мало у кого из писателей вызывала тогда возражения. Он был старожилом правления — с конца семидесятых годов входил едва ли не в каждый его состав. Писательской организации такой человек, способный в тех труднейших социальных условиях удержать ее от дестабилизации, развала, деградации, как это уже вошло в соседних сибирских регионах, был крайне необходим. Так что результат выборов был закономерен и предсказуем.

Правда, не думаю, что сам Плитченко от такого поворота судьбы испытал особую радость. Скорее, наоборот. Писательское хозяйство досталось ему в плачевном состоянии. Его предшественник, Анатолий Черноусов, упустил из рук, можно сказать, профукал все, что было можно. И в первую очередь писательские помещения. Старое, на улице Каменской, напротив Центрального рынка, городские власти отдали Дому детского творчества, новое, на углу Орджоникидзе и Мичурина отгяпал один из банков (тоже не без участия городских чиновников).

С приходом к руководству Плитченко за это помещение развернулась настоящая битва. Писались письма в различные инстанции, подключалась пресса, призывались на помощь бойцы ОМОНа, с которыми Плитченко и М. Щукин водили в то время дружбу.

Борьба шла нешуточная. На кону была тысяча квадратных метров — весь огромный первый этаж, специально для Новосибирской писательской организации спроектированный и Литфондом оплаченный, в самом центре города — лакомейший кусок, золотая жила для любого обладателя этого помещения. Силы были явно неравными. Отвоевать удалось всего несколько комнат, которые сейчас и занимает Новосибирское отделение Союза писателей России.

К его руководству Плитченко пришел не в самое лучшее время. Страна трещала по швам. Рухнул СССР, а с ним еще много чего. Центростремительные силы набирали обороты и готовы были разнести все и вся. Разорвалось-расколослось единое культурное и литературное пространство, рухнула книгоиздательская система. Союз писателей перестал быть литературным «министерством» и отправился «по миру» самостоятельно добывать себе пропитание. В писательских организациях (как столичных, так и региональных) пошли свары и раздоры. Разводились, отпочковывались друг от друга, боролись за имущество. В такой обстановке очень сложно было удержать писательскую лодку на плаву, а тем более сохранить хоть какую-то цельность и единство. Плитченко это удалось. Хотя, по его собственному признанию, «организация писателей в Новосибирске была на грани исчезновения». Тем не менее она оказалась едва ли не единственной за Уралом, которая избежала в девяностые годы внутри себя серьезных конфликтов, противостояния и тем более раскола по какому бы то ни было признаку. Невольно задумаешься о роли личности в истории...

Возглавив писательскую организацию, Плитченко старался не только сохранить ее, но и приумножить. И, пожалуй, никогда так интенсивно не пополнялись наши ряды. На одном из приемных собраний обсуждали целый десяток (если не больше) кандидатов в СП. Не всем, конечно, это нравилось. Дело, вообще-то, штучное, а тут — считай, целыми взводами!.. Тем более что далеко не каждый соискатель соответствовал требованиям профессионального писательского сообщества. Подобных многолюдных приемов было при Плитченко несколько. Кое-кто не прошел в родных стенах, кого-то «закрыла» Москва. Ну, а в осадке все равно остался целый ряд интересных прозаиков и поэтов. И в первую очередь из так называемых «шестидесятников», с которыми Саша пересекался еще в литобъединении Ильи Фоянкова (А. Денисенко, В. Малышев, Ж. Зырянова, А. Соколов, В. Ярцев, И. Овчинников и др.). Заявив о себе еще четверть века назад, позже по разным причинам они ушли в тень и проявились снова уже в середине восьмиде-

сятых, собравшись под одной «крышей» сначала в поэтическом сборнике «Гнездо поэтов». Всю эту поэтическую команду, став председателем организации, Плитченко и привел в Союз. Думаю, что без его братской поддержки и настойчивости эти ребята, возможно, до сих пор ходили бы в «непризнанных», а кто и просто махнул бы на себя рукой. И снова приходит мысль о роли личности. Теперь уже в судьбах других творческих личностей.

Много Плитченко возился с молодыми. И в «Сибирских огнях», и в издательствах, и в Союзе писателей. А некоторых он сам же «открыл» и «поставил на крыло». Юлию Пивоварову, например. Я помню, с каким с восхищением зачитывал он нам с Геннадием Карпуниным и Александром Романовым написанные детским почерком в школьной тетрадке строчки тринадцатилетней поэтессы, то и дело радостно восклицая: «Нет, ну, талантливая же девочка, мужики, ну, талантливая же!..» А в сентябре 1982 года с благословения Плитченко состоялся поэтический дебют Пивоваровой на страницах «Сибирских огней». Полагаю, что своим «крестным отцом» Александра Ивановича может считать и нынешний главный редактор журнала Владимир Берязев, чьи первые стихи появились в «Огнях» почти одновременно с Пивоваровой тоже с легкой руки Плитченко.

А в девяностых Александр Иванович дал путевку в жизнь еще целому ряду интересных поэтов — Олесе Серовой, Антону Сурнину, Александру Чуванкову... Каждому помог он в издании первых поэтических книжечек, где был и составителем, и редактором и, выражаясь киношным языком, продюсером, изыскивавшим деньги на издание. Но главное, что стал он для каждого из них духовным наставником и образцом верного служения поэтическому слову и родной культуре. В свете всего этого совершенно естественным видится учреждение после ухода Плитченко из жизни литературной премии его имени для юных поэтических талантов, где наградой для победителя становился сборник стихов начинающего поэта.

Когда война за помещение завершилась, и Новосибирская писательская организация прочно обосновалась в отвоеванных комнатах, Плитченко развернул бурную издательскую деятельность. Главная ее особенность заключалась в том, что она не преследовала коммерческих целей. И характер имела преимущественно гуманитарно-просветительский и патриотический.

Задумок, идей, планов было тогда у Плитченко, как всегда, громадье. Конечно, далеко не все, что хотелось, ему удалось осуществить. Просто жизни не хватило. А из того, что успел, без сомнения, самым значи-

тельным и успешным его проектом стал журнал для семейного чтения «Горница» (позже «Сибирская горница»), который по идее Плитченко был учрежден Новосибирской писательской организацией и выходил с мая 1995 года.

Новыми периодическими изданиями, в том числе и литературными, Новосибирск девяностых удивить было трудно. Еще до появления «Горницы» выходил альманах «Мангазее», журнал фантастики и приключений «Мечта» и даже еще один «толстый» литературный журнал (по типу «Сибогней») «Проза Сибири». Но все они оказались недолговечными. Наверное, во многом потому, что рассчитаны были на какую-то узко определенную читательскую аудиторию.

«Горница» же была изданием универсального содержания с краеведческим уклоном и православной окрашенностью. Материалы о родном крае соседствовали здесь с церковными текстами, «детские странички» с рассказами о замечательных людях Отечества и материалами, посвященными устройству семейного очага. Художественной прозе и поэзии тоже было отведено значительное место. Кроме текстов современных авторов, публиковались произведения из литературного наследия Сибири. И в этой универсальности было ее очевидное преимущество. Как и в ориентации на духовно-православные и патриотические ценности.

Подобным универсальным изданием стал и появившийся в 1997 году альманах культуры «Дарование», учрежденный комитетом по культуре администрации Новосибирской области, где освещались разные стороны культурной жизни Новосибирска и области. Автором идеи и редактором-составителем его первого номера также явился Александр Плитченко.

На создании журнала «Горница» Плитченко не остановился. Он ведь и сам был личностью универсальной, и поэтическое мировосприятие не мешало ему мыслить системно и даже подчас прагматично (а без этого в издательском деле и не прожить). На фундаменте «Горницы» (передав журнал в руки Михаила Щукина) Александр Иванович взялся возродить одноименный «издательский дом» для осуществления своих планов теперь уже по выпуску книжной продукции. Свою деятельность новорожденное издательство начало с «Библиотеки журнала “Горница”». Составляли ее книги различного содержания, в том числе и по сибирскому краеведению, интересные, прежде всего, на молодежную аудиторию. За короткое время число выпусков «Библиотеки» перевалило за десяток. И однажды осенью 1996 года, когда мы пересеклись с Сашей в Союзе на Ордоникидзе, он завел со мной разговор:

— Ну, ты, наверное, в курсе, что мы в «Горнице» за краеведческие книжки взяли? Для юных читателей. Чтоб край свой, прошлое его лучше знали. Вот, кстати, только что вышла, — протянул он мне книгу, на переплете которой я прочитал: «История Новосибирской области», а перелистав ее, понял, что это краеведческие очерки для школьников, в которых популярно изложена история нашего края с древнейших времен до наших дней. — Вот хорошо бы нечто подобное сделать и по истории сибирской литературы. Написать этакий «краткий курс», где просто и доступно рассказать ребятам, как развивалась литература в Сибири, какие были и есть здесь писатели. А то ведь плохо нас знают, и будут еще хуже, если мы сами не позаботимся о том, чтобы нас знали и помнили.

— Неплохо бы... — согласился я.

— Может, возьмешься? — сразу ухватился за мои слова Саша. — Ты же давно сибирской литературой занимаешься. Твоя тема.

Занимаюсь, но одно дело писать о творчестве отдельных писателей, размышлять о текущем литературном процессе или писать проблемные критические статьи, и совсем другое — обзор исторический, пусть и краткий. Я еще раз заглянул под обложку «Истории Новосибирской области». Научным редактором ее был член-корреспондент, составителем — кандидат наук и писалась она коллективом ученых-историков из Академгородка. А тут — «возьмешься»...

— Так, может, и к созданию «краткого курса» сибирской литературы тоже ученых привлечь? — засомневался я. — Целый сектор филологии ею занимается. Диссертации пишут, звания получают.

— Привлечь-то, конечно, можно, только боюсь, как бы они все не засушили да читателя нашего юного своим наукообразием не отпугнули. У тебя, я думаю, живее, увлекательнее и доходчивей, чем у них, получится. По прошлым твоим критическим работам сужу...

Уговорил меня тогда Саша. Хоть и страшновато было — дело новое, незнакомое, но решил попробовать. И увлекся. Да так, что работал запоем, и через несколько месяцев книга, которую я назвал «Беседы о сибирской литературе», была готова. В 1997 году она увидела свет. Только очень жаль, что сам Плитченко до ее выхода не дожил. Совсем немного.

А книга пришлась ко двору. Быстро разошлась по школам и гуманитарным учебным заведениям. Я и поныне страшно благодарен Саше за то, что он меня подвигнул на этот труд, с которого, по существу, началась новая страница моей творческой биографии.

И не только за это ему благодарен. Плитченко ведь не только на само издание деньги нашел, но и на гонорар автору. Мне хочется подчеркнуть этот момент особо. Во-первых, потому, что это был последний официальный (по издательскому договору) книжный гонорар в моей жизни. За полтора десятка лет с тех пор я выпустил еще несколько книг на различные гранты, но ни о каких гонорах речи уже не шло, да и на выпуск максимум пятисот экземпляров скудных грантовых денег едва хватало. Во-вторых, для меня, переживавшего тогда очень трудное время, гонорар казался настоящим богатством. Договор тот имел и другое очень важное для меня последствие. Радуясь, что труд мой, как в старые добрые времена, будет оплачен, я вместе с тем понимал, что от гонорара очень скоро останутся лишь воспоминания. А на что жить дальше — не знал. Службы не было, заработков тоже. О чем я Саше с горечью и признался.

— А ты на биржу труда сходи. О пособия по безработице похлопочи, — посоветовал он.

Я сходил. Выяснилось, что на учет ставят не всех желающих, а только тех, кто уволен с работы по сокращению штатов либо ликвидации предприятия, где проработал не менее трех месяцев. И тогда опытный издательский администратор Плитченко составил со мной издательский договор, из которого следовало, что Горшенин А. В. такого-то числа, месяца и года был принят на работу в Новосибирскую писательскую организацию в качестве автора для создания книги «Беседы о сибирской литературе», а такого-то (как раз через три месяца) в связи с завершением оно-го труда уволен. Далее следовала сумма выплаченного конторой исполнителю вознаграждения. С этой бумагой я и отправился в «Бюро по трудоустройству», особо не надеясь на успех. Но договор оказался безупречным юридическим основанием для того, чтобы поставить меня на учет и назначить, исходя из указанной в нем суммы гонорара, весьма даже приличное пособие по безработице, на которое я неплохо просуществовал более года, пока не устроился на работу.

Я привел пример из своей жизни. Но тех, кому Плитченко помог не на словах, а на деле в трудных жизненных ситуациях, было немало. Да и доброе ободряющее слово многим нашим писателям, особенно ветеранам, растерявшимся перед натиском болезненных, часто и просто жестоких перемен в последнее десятилетие двадцатого века, было нелишне. И они его от Плитченко слышали. Вместе с тем Саша считал, что доброе дело все-таки лучше самого благого слова, что для тех же ветеранов книга с их произведениями будет лучшим подарком ко Дню

Победы, нежели дежурные славословия и пустые почетные грамоты. И появляется сборник прозы и поэзии писателей военного поколения «Сибирский фронт».

И созданный им журнал, и издательство при нем, и место обитания новосибирских писателей Плитченко называл одним словом — «Горница» (над входом в помещение писательской организации и сейчас вместо казенной вывески «Новосибирская писательская организация» красуется — «Горница сибирских писателей»). Он любил это слово. Исконно русское, духовное, словно оттуда, с горних высей снизошедшее, обволакивающее теплом и уютом, оно грело Сашу, и он делал все, чтобы в его горнице, несмотря на царившее вокруг социальное ненастье, было светло и уютно, как в «родительском доме», воспетом им в стихах.

В девяностые годы Плитченко так занят был различными издательскими, общественными, писательскими делами и заботами, что на собственное творчество времени ему не хватало. Во всяком случае, у меня было именно такое ощущение. Последняя значительная его подборка «Стихи о событиях природы» была напечатана в октябре 1991 года в «Сибирских огнях». Годом раньше появилась книга поэм «Волчья грива». А дальше — редкие публикации литературоведческого и публицистического характера. Мне казалось, что функционер вытеснил в нем писателя, тем паче поэта, что главный свой «станок» он забросил. И уже после Сашиной кончины, увидев изданную «Горницей» книгу стихов «Матушка-рожь», большую часть которой составляли стихи именно девяностых годов, я понял, что глубоко заблуждался.

Душа поэта не переставала трудиться. Правда, тональность сменилась. Александр Плитченко в творчестве своем всегда стремился говорить только языком любви и добра. Когда-то мечталось ему «сирое — просторнее засеять будущим добром». И не вина поэта, что на склоне его жизни «в укрепившиеся корни вломилось время с топором». Топор времени (так называемых перестроечных реформ и демократических перемен), безжалостно подрубивший многие устои нашего бытия, задел и поэзию Александра Плитченко. Она закрывочила.

**Сине-красно с исподу горят облака,
Уходя к горизонту слоями,
Словно бы перевернутая река,
Катит волнами мертвое пламя.**

**Свет заката такой, что любая краса
В нем предстанет убогою грязью,
И не видно границ, и не видно конца
Человеческому безобразию.**

маяком, наконец, помогающим выжить, не сгинуть в содомной пучине современного бытия, сохранить в себе человека. Негасимым Божественным светом был освещен и «родительский дом» Плитченко, на создание которого положил он всю свою творческую жизнь.

Но существовал в душе поэта Плитченко и свой Бог, которому он истово всегда до последнего вздоха поклонялся, — Слово. Только оно, Слово, в конечном счете, убежден был Плитченко, и способно противостоять «делу распада».

**Ведь живы — не хлебом единым,
Но Словом Божественных Уст,
Превыше миражного, злого —
Свидетельство Отчей любви,
Нетленное светлое Слово:
Не сдайся, надейся, живи.**

**Коль в жизни средь мысленной
ржави —**

**Как в истинном даре святом,
Те строчки меня удержали —
Спасибо уже и на том.**

**И тут не о славе забота,
Для славы о бренном пиши —**

Надежда — стихи эти кто-то Прочтет во спасенье души...

Прочтут. И я уверен, еще не раз будут перечитывать лучшие Сашины стихи, испытывая на себе очищающее влияние его поэтического слова...

...Когда промозглым ноябрьским днем 1997 года в деревянной церквушке в Советском районе (капитальный храм еще не успели возвести) отпевали Александра Плитченко, вовнутрь смогли попасть немногие. Большая толпа окружила церковь, прислушиваясь к доносившимся оттуда звукам. И я удивился, сколько разных людей пришло проводить поэта в последний путь. Кого здесь только не было: и коллеги-писатели, и художники, и артисты, и музыканты, и чиновники, и военные, и журналисты, и ученые, и начинающие стихотворцы, и даже вообще какие-то непонятные личности...

Хотя что тут удивительного? Чем крупнее, ярче, мощнее, талантливее личность, чем многогранней она, тем сильнее ее магнетизм, тем больше самого разного народу притягивает она. Даже уходя из брэнного мира, Александр Плитченко продолжал объединять и сплачивать нас.



ДОРОГА К БОГУ

В последние годы жизни он напоминал Жана Габена. Такой же неторопливый, чуть мешковатый, говорит негромко, но веско, иногда для усиления повторяет фразу.

Жан Габен новосибирского разлива. Александр Иванович Плитченко.

Но таким он стал только в последние лет десять...

Мнения о нем до сих пор неоднозначны. Кто-то так и не может забыть, что в свое время Плитченко не пустил его на страницы журнала или в издательские темпланы (братья-писатели — народ злопамятный), и отзывается весьма нелестно. Кто-то, напротив, перегибает в другую сторону, изображая «Сашу» звездой первой величины на поэтическом небосклоне России, а в духовной жизни — истинным праведником, чуть ли не оплотом православия.

Ну, о творчестве Александра Плитченко разговор особый, а «по жизни» это был вполне земной человек, хотя и очень непростой, себе на уме. Наделенный большим чувством собственного достоинства. С малознакомыми людьми сдержанный, даже несколько высокомерный, с друзьями открытый, иногда до безоглядности. Во всяком случае, именно таким мы его и помним — мы, шедшие рядом с ним, работавшие бок о бок в литературе семидесятых-девяностых годов.

Родился будущий поэт 9 апреля 1943 года в селе Чумаково Куйбышевского района Новосибирской области. Мать фельдшер, отец — руководитель районного масштаба, к сожалению, рано ушедший из жизни. Детство, как водится, трудное, полуголодное. Среднюю школу окончил в Каргате. А дальше он сам о себе свидетельствует.

«Приезд в Новосибирск, три года учебы в пединституте дали мне много — почти всех моих теперешних товарищей. И в это время я много и постоянно сочинял, однако от всего осталось два-три стихотворения.

Они-то, как оказалось потом, и выводили меня на свою тему (а тема лирического поэта — это его жизненный опыт, его жизнь), но все эти три года я стремился удивить товарищей, руководителя литобъединения Илью Фонякова, поразить аудиторию, понравиться девушкам. Писал о городе, которого не знал и не любил, писал о любви, которой не понимал и не видел.

И, может быть, с некоторым запозданием понял, почувствовал, что надо на что-то решиться, изменить жизнь, чем-то пожертвовать и заниматься единственным делом — всерьез.

В шестьдесят третьем году я оставил пединститут, уехал в Каргат к родителям и в том же году был призван в ряды Краснознаменного Тихоокеанского флота. За четыре невероятно трудных и счастливых года были написаны и опубликованы в Новосибирске и Владивостоке три первые мои книги.

Жизнь, письма матери, белый от цветущих яблонь скалистый дальневосточный островок, могучее движение океана, флотское товарищество, равное которому трудно найти... и главное — первое и самое серьезное дело в жизни — охрана рубежей России — все это открыло мне глаза.

Я понял, что не надо и думать, если пишешь, поймут ли тебя, понравятся ли твои стихи, напечатают ли их. Надо стремиться к одному — как можно искреннее, честнее и точнее сказать то, “чем жила и болела душа”. И не строчки рифмовать учиться, а учиться жить среди людей и принимать сегодняшнюю жизнь такую, какая она на самом деле в большом и малом, и, приняв, думать и стремиться к тому, чтобы она стала лучше, а не вгонять сегодняшнюю действительность в рамки своего идеала, не отбирать в ней только то, что тебе необходимо для иллюстрации своих представлений о жизни».

Датирована эта запись декабром 1972 года. Уже год как Плитченко работает в редакции журнала «Сибирские огни» на одной из ключевых должностей — заведующим отделом прозы. Всего же он проработал в журнале тринадцать лет. Здесь происходило его становление как литератора, как личности, но годы эти, к сожалению, трудно назвать в его биографии «звездными».

«Сибогни» тогда считались эпицентром литературной жизни огромного региона — от Оренбуржья до Приморья, тираж переваливал за 60 тысяч экземпляров. В редакции постоянно толклись авторы, приезжие и местные, канючили, искательно заглядывали в глаза, «обмывали» публикации. Работать там было интересно, престижно и удобно: «присутственное» время — с двух до шести. Александр, человек общительный, чувствовал себя как рыба в воде, ему ведь еще и тридцати не было.

В редакции подобралась ребятня в основном молодые, амбициозные, так и рвали постромки, стремясь побыстрее достичь вершины Парнаса. Главный редактор А. В. Никольков благоволил к своим сотрудникам и смотрел сквозь пальцы на ту суету, которую они пытались совместить со «служеньем муз».

Больше, чем с другими, Александр сдружился с Геннадием Карпуниным — оба близкого возраста, оба из деревни, оба поэты, и направленность стихов у обоих «почвенная». Они выглядели неразлучными, Саша и Гена, всюду появлялись вместе — в писательской организации, в издательстве; их так и прозвали — «мальчики».

В те времена без членства в партии нечего было и помышлять о карьере, в этом заключались основные правила игры. У писателей, «бойцов идеологического фронта», проблем с приемом в ряды КПСС не возникало; не возникли они и у «мальчиков» — обоих успешно приняли. Это уже много значило, в любых документах того времени, будь то биографическая справка или послужной список, красной строкой выделялось: «Член КПСС с такого-то года».

Иван Карпович Плитченко, отец Александра, фронтовик, закончивший войну в Кенигсберге, — вот тот был убежденным коммунистом, борцом за идею, искренне верил в светлое будущее и делами своими старался его приблизить. Но в семидесятые годы время идеалистов давно кончилось, и в партию вступали ради карьеры, так что Александр здесь не исключение.

А то, что понятие «коммунист» непременно означает «безбожник», причем воинствующий, — об этом Александр не задумывался, все так делают. И что ему пенять, не он первый, не он последний.

Надо было зарабатывать политический капитал, а тут еще у Карпунина возникли проблемы с жильем, и этот вопрос можно было только в обкоме партии решить. И «мальчики» публикуют в областной партийной газете совместное сочинение «Закон жизни», посвященное рабочему классу вообще и передовикам производства в частности. Там есть такие строчки:

«Иные держатся в сторонке / От этой главной колеи, / Кропают серые стишонки / Про “беды” мелкие свои, / Де, мол, свеча горит, покуда / Окно открыто в душный сад... / И это выдают за чудо. / Ужель не узок этот взгляд? / Ужель иконки ходовые / И лапти исказить должны / Индустриальный лик России, / Индустриальный лик Страны...»

Вот так вот, ни больше ни меньше. Прорекларировали свое «поэтическое кредо» и походя лягнули Бориса Пастернака, Афанасия Фета и других представителей русской лирической поэзии...

Любопытствующие могут познакомиться с этим опусом полностью в газете «Советская Сибирь» за 26 октября 1973 года.

Булгаковский Воланд как-то заметил: «Рукописи не горят». Так вот, старые газеты тоже, оказывается, «не горят». И вообще, слово не воробей, тем более печатное.

Вникая в творческое наследие А. Плитченко, соотнося тематику его стихотворений с внешними обстоятельствами бытия, удивляешься их нестыковке, если так можно выразиться. Редакционная жизнь с ее текучкой и треволениями, свойственными толстому журналу, бытовые обстоятельства и общие проблемы большого города проходили своей чередой, нимало не затрагивая глубинных, сокровенных движений его души, души поэта, которая жила по своим законам и не хотела жить иначе, да просто не могла. Нельзя же, в самом деле, считать серьезной только что приведенную голую конъюнктурщину. А духовная его жизнь глубоко и полно выражалась в стихах о родном крае, о благодарной сыновней любви к земле, на которой он вырос, где «каждая рощица — мать, каждое поле — отец».

Давно известно: если хочешь хорошо писать о деревне, поезжай в город. Плитченко пишет превосходные стихи, цитировать которые можно подряд, целыми страницами. В книгах «Екатерина Манькова», «Дневник», «Родня» почти нет случайных, проходных вещей, и рождается убеждение, что реалии сельской глубинки, неброские, но берущие за сердце пейзажи тронутых осенним золотом березовых колков Барабы вошли в душу поэта как изначальная основа творчества.

В поэзии Александра Плитченко тех лет заметен переключенный мотивы Николая Рубцова, только недавно ушедшего, — те же

щемящие нотки неразрывной, глубинной связи с родимым краем. Странно, что наши новосибирские стиховеды не обратили на это внимания...

А жизнь меж тем шла своим чередом. Семидесятые годы плавно перетекли в восьмидесятые, обещанный коммунизм так и не пришел, приток нефтедолларов поубавился, витрины продовольственных магазинов поскудели, зато пышным цветом расцвела партноменклатура. Лицемерие, возведенное в ранг государственной политики, двойные стандарты, всеобщая безответственность. Брежневщина, глубокий застой...

Плитченко, человек умный и проницательный, все это, конечно, видел и понимал, но приходилось держать язык за зубами. А тут еще афганская война. Природная осмотрительность, инстинкт самосохранения не позволяли ему даже намекать на личное несогласие с тем, что происходило вокруг. Сажать тогда уже не сажали, но очень ловко умели «перекрывать кислород».

Но душа-то болела, томилась, и часто происходили мучительные срывы, благо тогда еще водка была в свободной продаже.

Бунтовала и его муза, стиснутая условностями, и все окаянство бытия персонифицировалось для нее в пресловутой «городской жизни».

Вот стихотворение «Мегаполис»:

**Тучнеешь, поскольку бесплоден.
Бесстыдно забывший родство —
Живешь среди кукол-уродин
И любишь себя самого.**

**Огромный сундук с дребеденью,
Вдыхающий собственный прах,
Смакующий лживое пенье
Своих управляемых птах...**

Сюда же примыкают другие строчки:

**Что это было такое,
Что налетело, нашло —
И среди зноя, покоя —
Холодом душу свело...
Словно из бреда природы,
В солнечной спящей пыли,
Хаоса тяжкие воды
К горлу уже подошли...**

И еще более определенно:

**Жизнь собачья... Такое вдруг
навалится — жуть,
а маленько повоешь —
полегчает чуть-чуть...**

Это все из книги «Слово растений», датируемой 1979-м годом.

За те полтора десятка лет ровно бы черная полоса накрыла культурное простран-

ство России. Ярчайшие личности — поэты, лицедеи, прозаики Божьей милостью, — они в творческом неистовстве подстегивали себя алкоголем, а то и наркотиками, и сжигали, как сигарету с обоих концов, словно бы соревновались друг с другом, кто быстрее сгорит: Олег Даль, Василий Шукшин, Владимир Высоцкий, тот же Николай Рубцов... Александр Плитченко пугающе близко подходил к этой трагической пляеде. К счастью, он сумел вовремя остановиться, удержался на краю, однако здоровье подорвал на всю оставшуюся...

Годы работы в редакции «Сибогней» многое дали Александру Плитченко. Природный талант его ограничился, отшлифовался и заиграл всеми цветами радуги. Завязались обширные связи в столичном литературном истеблишменте, в писательских кругах Сибири и Горного Алтая. В то же время не миновала его и редакционная школа много порядка — интриганства, подсиживания, «стучания». Были в редакции такие «генераторы», они-то и распространяли подобные флюиды, которые постепенно отравляли сложившиеся и, казалось бы, прочные дружеские отношения.

Любая наука, любой опыт, даже со знаком «минус», умному человеку только на пользу. К тому времени как Плитченко все-таки пришлось расстаться с журналом (1983 год), он не только завоевал себе прочное имя как поэт, прозаик, переводчик, но и стал многоопытным литературным деятелем, профессионалом, искушенным и закаленным в подкованных баталиях. В дальнейшей жизни последнее качество особенно могло пригодиться, хотя фигур, равновеликих ему по таланту и масштабу личности, ни поблизости, ни на горизонте не маячило.

Александр Иванович начинает трудиться на ниве книгоиздательства — сначала в Новосибирском книжном издательстве, потом в Сибирском отделении издательства «Детская литература». Главным редактором. А главный редактор издательства — это есть тот самый литературный деятель, мозговой центр, определяющий идеологическую и тематическую направленность издаваемых книг, организатор и вдохновитель литературных сил, то бишь авторов. Выше его — только директор, но у того главным образом финансы, бумага и прочие меркантильные материи.

В Новосибирском издательстве Плитченко вначале не удалось развернуться так, как хотелось бы — темпланы уже сверстаны и на ближайшие два-три года согласованы в Госкомиздате, существовали определенные наработки, словом, колесики вращались. Другое дело — Сибирское отделение «Детской литературы». Там все пришлось начи-

нать на пустом месте, и Александру Ивановичугодились его организаторские способности. И вот странно: те, кто знал и помнил Плитченко по «Сибирским огням», стали замечать, как он посветлел лицом, оживился, воспрянул душой, будто избавился от тяготивших его неприятных забот — вот как благотворно сказались на нем хлопоты о любимом и близком деле, атмосфера доброжелательности, которая воцарилась в коллективе с его приходом. Дальнейшее — из области догадок, это сфера глубоко личная, но как знать, может быть, именно в этот период душа его свободно расправила крылья и, избавившись от стеснения, в котором пребывала столько лет, свободно и широко стала взмывать к истинной вере, к православию.

Люди определенного склада ума понимающе усмехнутся: «Крышу сменил». Но как далеко это суждение от действительности, как оно цинично и поверхностно! Плитченко никогда без крайней нужды не декларировал свою приверженность коммунистическим идеалам, никогда не славословил в адрес «партайгеноссе», в отличие от своих коллег по цеху, — он всего лишь соблюдал правила игры, не более того. Лампада веры не гасла в тайниках его души во все времена.

По роду своей деятельности, а также как студент-заочник Литинститута, Александр Плитченко часто бывал в Москве, иногда брал с собой супругу Эрту Геннадьевну. И столичные их маршруты неизменно начинались не с ГУМа или ЦУМа, а с золотых куполов Загорска, с Троице-Сергиевой лавры. Будто промысел Божий готовил Александра к главному душевспасительному делу его земной жизни. И дело это, это деяние, вскоре последовало.

Александр Иванович начал широкую кампанию за возвращение Новосибирской епархии собора Александра Невского. Подробно эта эпопея изложена во вступлении к «Избранному» Александра Плитченко одним из его ближайших соратников и последователей А. Денисенко.

«...Изуверским пыткам был подвергнут собор Александра Невского: сначала его обезглавили — срубили с его прекрасного купола крест, потом пытались взорвать, но два чудовищной силы заряда разрушили лишь звонницу, надолго оставив собор беззаязыкым. Это было тройное поругание: веры, народной памяти и красоты. И все же храм, возведенный предками на скале, осеняемый духом святого князя, выстоял — такой запас прочности вложили в него христиане-первостроители. Изувеченный, он все пережил: и разграбление его святынь, и нашествие непрошенных “квартирантов” — сперва рас-

кольников-обновленцев, затем въехавшей по казенным “ордерам” воинской части, студии кинохроники, по-топорному перестраивавших изумительное по архитектуре и акустике здание под свои нужды: перекрыли купол, прилепили уродливую пристройку... Источник воды в соборном помещении загадили и залили кинохимикатами... Изумительного качества мозаичную голландскую плитку выкорчевали ломачами... Богатые настенные и купольные росписи закрасили нитрокраской...»

Едва храм Божий покинула кинохроника, как к его многострадальным стенам прихлынули новые пришельцы: в 1985 году решением Новосибирского облисполкома здание собора было передано городской филармонии под размещение камерного хора, выданы нешуточные средства — но не на восстановление Божьего храма, а на переоборудование под концертные нужды...»

В феврале 1989 года в газете «Вечерний Новосибирск» была напечатана страстная полемическая статья А. Плитченко «Дорога к храму». Далее снова предоставим слово тому же источнику:

«Резонанс был огромный, поток писем ошеломляющий. Сила писательского слова оказалась такова, что мгновенно “воспламенила” миллионный город... Долгой и тернистой оказалась эта “Дорога к храму”, начатая А. И. Плитченко. Но он прошел ее вместе с земляками: настаивал, доказывал, организовывал вместе с епархией многолюдные вечера в дни памяти благоверного князя, выступал на радио, во многих газетах, сражался в администрации, поднял творческие силы города на защиту храма, доказал инженерскую несостоятельность проекта, но главное — вдохнул веру в новосибирцев, сумел внушить им, что отцовское, родное — больше нельзя предавать. Сила его убежденности, помноженная на авторитет и молитвенную помощь владыки Гедеона, на массовую народную поддержку, на принципиальную, гражданскую позицию мэра Ивана Индинка, совершили невероятное: в городе начались митинги, шествия, пикетирования. Тысячи жителей поставили свои подписи рядом с подписью Александра Плитченко — вернуть собор епархии. И 25 числа месяца августа 1989-го собор благоверного князя Александра Невского вернулся в лоно Церкви».

По России размахисто гуляла рука об руку гласность и перестройка. Рушились устои прежней жизни, советская власть изжила, исчерпала себя, всесилье КПСС сошло на нет. Многие и многие руководители всех рангов потерянно озирались по сторонам, пытались понять, что происходит, как жить дальше.

В Новосибирске горше других пришлось братьям-писателям. Несколько лет назад Госкомиздат и Союз писателей РСФСР выделили деньги на строительство своеобразного Дома печати, где предполагалось разместить областную писательскую организацию, Новосибирское книжное издательство и редакцию «Сибирских огней». Субподрядчиком стала Березовская экспедиция, она и вела строительные работы в престижном здании рядом с оперным театром. Тем временем прежние помещения писательской организации передали другой конторе, и та попросту выселила бывших хозяев: шкафы с книгами и мебель рабочие перетащили в помещение гардероба, а стол впавшего в ступор председателя правления писательской организации поставили в «предбанник», где обычно сидел вахтер... Именно тогда А. И. Плитченко и предложили возглавить Новосибирскую областную писательскую организацию, справедливо посчитав, что если не он, то кто же? Шел 1992 год.

А тут еще одна новость — хуже некуда. Заканчивались отделочные работы, когда резко, в несколько раз подскочили цены на стройматериалы. И все застопорилось, поскольку Москва уже прекратила финансирование. Удалось договориться с ипотечным банком, расположенным в том же здании, тот внес недостающую сумму, но за это отобрал ряд комнат.

За несколько недель до вселения в новые апартаменты Александр Иванович договорился с одним из подразделений ОМОНа, и милиционеры стали нести круглосуточное дежурство: в городе участились случаи самозахвата пустующих помещений, а здесь, в самом центре, один квадратный метр полезной площади стоил сотни долларов. Так благодаря расторопности новоизбранного председателя правления писательская организация обрела, наконец, то, что принадлежало ей по праву.

Принято считать, что поэты — существа возвышенные, не от мира сего. К Плитченко это утверждение ни в коей мере не относится. В начале этих заметок уже указывалось, что в нем счастливым образом сочетались яркий литературный талант и прагматизм. Он быстро освоился в переменчивых реалиях рыночной экономики и эти знания сумел обратить на пользу, но не себе лично, а делу, которому себя посвятил, организации, которая ему доверилась.

Последнее обстоятельство особенно красноречиво. Предыдущие руководители

Новосибирской писательской организации первое, что делали, — это выбивали себе квартиру в каком-нибудь престижном доме. Александр Иванович, к чести для него, оказался бессребреником, лично ему ничего не требовалось. Зато он сумел добиться у обескровленного финансовыми потрясениями Литфонда ежемесячного вспомоществования для писателей-пенсионеров, которым тогда ох как трудно приходилось!..

Вообще, те пять лет, которые А. И. Плитченко находился у кормила, обернулись для писательской организации подлинным ренессансом. Возобновилась работа творческих секций, поэтической и прозаической, чуть ли не каждую неделю стали происходить встречи с интересными людьми. Один из давних «коньков» А. И. Плитченко — работа с молодыми. У него давно была на примете целая группа поэтов-«неофитов», которых он постоянно опекал, следил за их первыми шагами в литературе, способствовал выходу их собственных книжек и коллективных сборников. Наиболее «продвинутые» из них вскоре пополнили ряды писательской организации — может быть, и несколько поспешно, стоило бы к ним получше присмотреться, но Александр Иванович если уж был чем-то всерьез увлечен, то не очень-то считался с мнением своих более осмотрительных собратьев по перу.

...Отпевала раба Божьего Александра в храме Рождества Пресвятой Богородицы, при большом стечении народа. Погребли на Южном кладбище, что в Академгородке, в «аллее академиков».

В заключение хочется привести мудрые и пророческие строки, завершающие его краткий автобиографический очерк и датированные 1972 годом. К его личности, к его многогранному творчеству они имеют прямое отношение.

«Я понимаю, каждый видит в поэзии свое. Так же по-разному видят березу лесоруб, пейзажист, лесничий, жук-древоточец. Но ведь кроме их точек зрения есть еще и сама береза, и у нее просто нет выбора — стать ли двумя кубометрами дров или качать птичье гнездо на ветках. Просто нет выбора. И пока она жива, она останется березой».

Поэтической березе Александра Плитченко уготована долгая жизнь. Как и светлой памяти о его деяниях во имя родного города, в котором он жил и для которого столько успел.

ГОРНИЙ ГОРОД

С течением времени то, что близко — мелькает секундами и минутами, то, что дальше — месяцами и годами, то, что совсем далеко — почти стоит на месте. Можно рассмотреть каждую деталь, каждый лист на дереве, под которым садились отдохнуть в последнее лето, каждое мгновение той последней поездки. В «скорой» я ехал, держа отца за руку, а он тихо, едва шепча, складывал простые слова молитвы: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешного».

Это странно, но работая вместе с отцом, мы друг от друга отдалялись, рабочая обстановка уже не позволяла папу называть папой, а только по имени-отчеству. Все наши разговоры были на темы редакционные, издательские и экономические.

Одним из самых ярких и счастливых воспоминаний моего детства был день, когда отец взял меня с собой на работу. Я помню огромное здание Совнархоза, помню небольшой кабинет, помню, как все коллеги отца по журналу «Сибирские огни» приходили поздороваться с ним и познакомиться со мной. Потом мы спустились в буфет и отец купил дефицитной «пепси-колы». Потом, позже, когда уже прошел день или два, я спрашивал: «А когда снова поедем на работу?» Отец обещал, что возьмет. Но маленьким побывать уже не довелось. Подростком был на Вокзальной магистрали в Западно-Сибирском книжном издательстве. Еще позже не раз приезжал в уютный особнячок издательства «Детская литература» на Красноярской. По которому отец устроил мне подробную экскурсию, познакомив со всеми обитателями. Позже, году в 96-м, помню, как

я, совсем как в детстве, веря во всемогущество отца, пришел к нему с вопросом — что-то по поводу очередного проекта. Отец немного грустно ответил: «Я не знаю, сынок, я же не бизнесмен». На мгновение я разочаровался — «как?», но следом пришло чувство раскаяния — вот опять полез со своими глупостями. Встречаясь каждый день на работе, не замечал, что отец смертельно уставал. Все последние годы.

Весной 1997-го часто бывавший в редакции Виктор Кох, заместитель командира Новосибирского ОМОНа, не потерявший на Северном Кавказе ни одного своего бойца, вдруг заметил: «Александр Иванович! Что-то ты плохо выглядишь, нужно бы в больницу показаться». Отец, как всегда молча и вежливо, кивнул. Когда я ему про этот разговор напомнил — он меня оборвал — мол, не лезь.

Вскоре после ноября я вспоминал об этом. Полковник, боевой офицер — разглядел близко подобравшуюся костлявую, как умелого и безжалостного врага. Но обезвредить не удалось. Только остановить на время, сдержать силой молитвы. Молились все. Мы — в семье, наш приход, все батюшки. Знакомые и незнакомые звонили, приходили и спрашивали: как там дела? Двадцать пять дней жизни удалось вымолить. Двадцать пять дней вырвать у небытия.

Отец очень любил перочинные ножички, мы привезли ему маленький с красной ручкой складашок в виде рыбки. Он и сейчас хранится среди самых дорогих сердцу вещей. Таких простых и вдруг ставших навсегда бесценными. Записка на листке в

клеточку из блокнота, мне — где он просил проследить за книгами на выходе из типографии, он сложил ее треугольником, как складывали письма с фронта. Его очки, серебряная ложечка, на которой, как мы потом обнаружили, — он выцарапал «ЦКБ 1997», его старенькие и очень простые наручные часы.

Первый раз, когда я увидел папу после скорой — уже в реанимации, куда мне разрешили пройти, чтобы принести ему бритву, то не сразу узнал: он был — бледным, волосы, трехдневная щетина и усы были почти белыми — как будто не три дня, а десять лет пролетело. Отец радостно и как будто немного виновато посмотрел на меня. Мы обнялись, и он рассказал мне, как причудливо ему снились все наши дела по журналу и готовящимся к выходу книгам. Потом он сказал, что чувствовал наши молитвы, ощущал светлые силы, помогавшие ему выкарабкаться из тьмы.

Уже позже, после реанимации, в больничной палате — мы подолгу сидели и разговаривали. Я приезжал каждый день, иногда по несколько раз. Никогда за последние годы не было возможности так подолгу сидеть и говорить. Обо всем. Мы говорили, и сначала появилась — улица, потом — город, потом — целый прекрасный край — место, где будет отец, когда поправится — даже не место, а то состояние души, в котором он будет пребывать. «Вот подлечусь и возьму длинный-долгий отпуск, пока не восстановлюсь, а это не меньше года, наверное. Сначала отсюда в санаторий, а потом домой — и никакой работы. Конечно, кроме “Торницы”. Все, чем дальше буду заниматься — наш журнал. Не буду тратить время на тещу, на зарабатывание денег — друзья помогут дальше. Не буду себя нагружать». Он говорил, а я — представлял себе светлый теплый город, где всегда мягкая осень, такая, как в тот долгий Ноябрь. И нет больше этой гонки ежедневных хлопот...

Он стал ходить медленно, очень небольшими шажками. Дыхания не хватало, и если мы долго говорили или день был тяжелый, то его слова осекались, голос становился тише. За три дня до 8-го отец позвонил в «Горницу» — мы все по очереди говорили с ним — я спросил — все ли нормально, отец звонил, чтобы просто услышать наши голоса. В последний раз. Вечером я приехал к нему и привез всю родню, позже он вышел проводить нас в больничный коридор. Мы уже уходили, но он подозвал меня, крепко обнял и поцеловал — это был последний раз, когда я видел отца живым.

* * *

Прошлое безвозвратно растворяется во тьме, уходит и лишь тонкая нить остается связью — это память, это чувства.

В ночь после похорон я увидел во сне отца. Он ничего не говорил, вокруг была тьма, он был таким же, как я видел его в последний раз в больничной палате, он подошел, немного постоял рядом, не произнес ни слова, не ответив на рвавшиеся у меня из груди вопросы. Потом поднял на меня немного грустный взгляд, и снова ушел в темноту.

Я вижу отца во сне. Не часто и потому каждый сон помню ясно. Все они похожи: сначала говорят, что я уже и так знаю — папа тяжело заболел, потом ему пришлось уехать на лечение и его очень долго не было. И вот — вернулся. Но все вокруг так, как будто и не уходил. Я обнимаю отца, и у меня всегда начинают непроизвольно катиться слезы, град слез, и непонятно — почему, ведь все живы и вот он рядом — отец. Он и сам удивляется — к чему такие сантименты? Потом вспоминаю, что он перенес тяжелый сердечный приступ и ему ни в коем случае нельзя волноваться. И тут же начинаю спокойно думать: как же я ему расскажу о том — как ушли безвозвратно его друзья, как изменилось все, как... да всего и не перечислишь, что случилось за пятнадцать лет. Вижу его всегда деловитым, спокойным, но слишком серьезным — в жизни же мы всегда много шутили, по самым разным поводам. Но это, наверное, всегда так бывает, после долгой разлуки люди должны снова друг к другу привыкнуть, настроиться на общий лад. Шутка — это ведь тонкая материя, и неуклюжим движением можно все испортить. Однажды отец мне приснился в большом туннеле, что-то вроде перехода на вокзале в Москве. В обе стороны шел народ, а мы с ним остановились, и он очень серьезно и напряженно сказал, что нам нужно купить хлеба.

В тот день я купил помин и раздал все нищим возле храма.

Отец рассказал мне об одном из своих последних снов. Будто идет он по заснеженному полю, поднимается на пригорок и видит вдалеке деревеньку, но только странная она какая-то — тихо там и спокойно, закатное красное солнышко освещает снег на крышах домов и отражается пожаром в стеклах, но не идет из труб дым, не топят и не готовят жильцы. И ни одной живой души нет ни во дворах, ни на улице. Но не это место искала его деятельная душа, и не об этом он вспоминал в те последние осенние дни —

строился вместе с рассказами его о будущей жизни-мечте в моей душе Горний город.

* * *

Наверное, у каждого города есть в обители горней — подобие. Есть и Новосибирск-Новониколаевск небесный. Это — огромный тихий центр без конца и начала. Добротные дома, спокойные улочки и погруженные в летнюю синеватую тень двory. Центр, где горожане, идущие неспешно по улицам, встречаясь — приветствуют друг друга — все знают всех. И если теплым вечером в мае захочется пройтись по Урицкого, то она не закончится на Вокзальной магистрали, а будет длиться и длиться. Город долог — идешь, идешь, но нет усталости и только умиротворение, как от книги, что уже читал, как от любимой тихой мелодии, как от звука стихов.

Прирастает горний град — городом из яви. Что-то силишься вспомнить, вертится

в голове, но никак на язык не придет? Город — где нам хорошо? Слишком просто, но слишком точно. Архитектурные жемчужины на берегу океана житейского и энергии, живой энергии существования. А ночью город спит, как большой конь, подрагивая крупом, всплескивая светом на мокрых асфальтовых боках. И мелькает искорка в смеженных веках.

Много работы. Много ее. Нужно отдохнуть. Яремная вена реки несет тугую кровь. Крепкие позвонки моста. Панцирь театра. Тихое ночное сонное дыхание Красного проспекта. Расслабленные мускулы заводов заработают на зорьке. Он спит. До восхода. Розовеет серое небо на востоке — вокруг уже светло и можно различить и урну, и лавочки, и прохладный тротуар, и шершавые стены.

И растет вместе с городом из яви — Город горний, где в гости приходят всегда те, кому рад и все происходит так, как должно. И в городе этом — всегда светло!



ЧЕТЫРЕ СЛАВНЫХ АЛЕКСАНДРА

Нынешняя площадь Свердлова имеет свою историческую родословную: Базарная — Старобазарная — Облисполкомовская — Свердлова. Горожане горячо ратуют за ее переименование, есть несколько вариантов. Я бы предложил назвать так: *Александровская* площадь.

Для православных людей это почитание Благоверного князя Александра Невского — государственного мужа, воина-победителя, защитника Отечества. Для представителей монархических взглядов — это память об Александре III, который выделил из своей вотчины 5 тысяч саженей земли для храма Александра Невского, погоста и площади.

Для земляков, почитателей старины, это прикосновение к насельникам нашего города конца XIX и начала XX веков, к его корням, когда поселок назывался Александровским.

Для тысяч и тысяч земляков это признание великих заслуг перед людьми и Отечеством трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина, отец которого, Иван Петрович, именно на этом месте, на этой площади своими руками возводил Александровский собор, возглавляя бригаду каменщиков-виртуозов.

Александровская площадь будет дорога и тем, кто помнит и ценит творчество и деяния во славу храма и города нашего замечательного земляка — поэта Александра Ивановича Плитченко.

Кто кому будет надобен из Александров, тот тому и памятен, и все они сошлись здесь, в одной точке, на этой земле, на этой площади.

В декабре 1896 года на Базарной площади был первый военный парад казачьих войск в честь приезда Его Величества Николая II. На этой площади с 1897 по 1913 годы, на Пасху, проходил парад войск, а затем всенародное гулянье. На этой площади совершались молебны и проводы наших земляков на русско-японскую войну. Да, были бездарны Стессели, Фоксы и другие, но русские воины, сибиряки, новониколаевцы, не посрамили имя свое, сдержали клятву, данную на этой площади.

Отсюда провожали на германский фронт новониколаевцев, а спустя 26 лет — новосибирцев. Вспомните, земляки, как на этой площади формировался командный состав Сибирских добровольческих дивизий, выступал А. И. Покрышкин, призывая на ратный подвиг земляков. И 9 Мая именно на этой площади был Праздник Победы.

Здесь, на этой площади, возле стен святыни волновалось людское море по призыву поэта, гражданина, патриота города Александра Ивановича Плитченко, возглавившего борьбу за возвращение собора Александра Невского в лоно Церкви.

Быть площади Александровской в честь простых мирян, воинов, поэтов, благоверных, кто во имя земляков и соотечественников не жалел своей жизни и имущества и останется дорог родным, близким и Родине.

10 июля 1998 г.

САША

...Александр Иванович Плитченко для всех, а для нас: когда-то для Гены Карпунина, Гены Абольянина и сейчас для нас, он: С а ш а.

У Саши был какой-то взгляд, не сказать что тяжелый или неподвижный, а какой-то, правда, сильный, многих смущающий. До него писали, создавали образы, чеканили строку, крепко типизировали отдельность.

Он же, с него... Да, с него начались в нашем мегаполисе стихи одного человека от начала до конца.

**...Ой, а там, где тучи черные,
Гуси-лебеди на юг
На крылах несут девчоночку,
Непослушную мою.**

**И не свидеться,
Не встретиться,
И далек,
Далек-далек,**

**Колыхается и светится
Этот желтый платок.**

Сила, лад и русская свобода. Это из стихотворения «Первый снег». Уж на что я вольный человек, а съезживался и задумывался. За ним пошла новая плеяда, Лазарчук, Денисенко, Малышев, Степаненко, Соколов. Потом Жанна Зырянова, Коля Шипилов (вечная им память), Юлия Пивоварова. Забыл, забыл — нехорошо — забыл Нину Грехову и Нину Садур, о, они...

Как-то я ближе оказался к этой ватаге. Нас почти не печатали. По стишку в три года. И вот, как только Плитченко стал во главе Союза писателей, он сразу же позвал нас. Считаю, призвал. Стал печатать, издал с Володиёвым Березевым сборник, да с таким названием: «Гнездо поэтов». Кому, кому теперь сказать: спасибо! Сколько уж прошло после него, а как вчера виделись, и сегодня хочется как живому сказать: спасибо, Саша!

19 февраля 2013 г.



* * *

**За Каргатом — Запад — наша неизвестность.
Сколько деревенских там и не бывало.
С этих мест заканчивалась его местность —
Саши Плитченко, Александра Ивановича.**

**Там его — родное все, свое, родительское.
Помнить, поминать его здесь будут честно.
Будет время. А что растило его —
Остается там — других уже чтоб пестовать.**

**Пролетаем городок за несколько минут —
Друг, товарищ наш оттуда.
Прожил он полвека. Проезжаю все —
А хоть раз бы заглянуть в край его,
В край большого, друзья, человека.**

ОЦЕНИТЬ «ВЕЛИЧИЕ ЗАМЫСЛА»

Макушинский А. Город в долине. Роман // Знамя, 2012, №№ 5, 6.

Роман Алексея Макушинского «Город в долине» мог бы иметь эпитафией известные слова Осипа Манделштама: «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз <...> Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, немыслим без интереса к отдельной человеческой судьбе, фабуле и всему, что ей сопутствует». Эти слова, звучащие в самом романе в нужном месте, весьма откровенно обнажают структуру авторского замысла. «Город в долине» — это и есть рассказ о человеке без биографии, который пытается написать роман о Гражданской войне.

Макушинский «дарит» своему персонажу собственный давнишний невоплотившийся замысел, описанный в его эссе «Три дня в Ельце»: «Мне виделась <...> некая повесть, действие коей должно было происходить во время Гражданской войны, не в Ельце, но в безымянном каком-то городе, году в девятнадцатом. <...> Она (повесть) виделась мне как “роман на старый лад”, как что-то простое и строгое, без автора, без долгих рассуждений, без эссеистики. Только действие, страсть и страдание. Ничего не получилось из этого. Эссенстика возможна, роман на старый лад, увы, нет».

Макушинский использует достаточно традиционные романские приемы. Его текст начинается знакомством автора-повествователя с главным героем Павлом Двигубским и заканчивается смертью последнего. В этом смысле роман Макушинского попадает под классическое определение жанра: в нем показана эпоха сквозь призму судьбы главного героя, профессионального историка и неудавшегося писателя, что позволяет рассматривать текст Макушинского в ряду «рома-

нов о художнике», композиция которых является собой пример реализации схемы «текст в тексте».

Текст несостоявшегося романа Двигубского дан фрагментарно. Несколько таких фрагментов, касающихся истории воцарения в Ельце «царя-Кудеяра», одного из революционных бандитов, который «женится» на местной учительнице, «венчается» на царство и т. д., дословно совпадают с текстом приведенного выше эссе Макушинского. Однако одни и те же слова в эссе и в романе звучат по-разному. Исторические зарисовки в эссе читаются как блестящая стилизация под черновик. Их незавершенность такая же мнимая, как незавершенность «жизнеописания» отца Годунова-Чердынцева. Чувствуется, что соблазн написания «невозможного» романа автор преодолел и одержал над материалом блестящую победу, но нероманными средствами. От былых писательских страстей тут осталась лишь почти незаметная ироническая усмешка, обращенная к обветшалому каркасу романной структуры, этакого барского баловства, непозволительного для современного писателя.

Те же самые страницы в «романе» Двигубского имеют вид подлинного, а не мнимого черновика: бесконечное вращение одних мотивов, полная непрописанность других, фарсовая литературность третьих. Мучительное косноязычие Двигубского сказывается даже в именах героев. Григорий... Мелихов? Отнюдь. Лидия... Обыкновенное имя, но как будто плохо приклеенное к героине. Не ирония, а тайная мука бесконечного поиска потерянного слова. Иллюзия подлинности оказалась настолько полной, что некоторые критики поставили знак равенства между косноязычием Двигубского и стилем самого Макушинского. Так, Кирилл Анкудинов почему-то посчитал, что неоконченный текст Двигубского должен быть шедевром и, не увидев в нем шедевральных черт, сильно обиделся и на «мечтательного гим-

назиста» Макушинского, и на журнал «Знамя», опубликовавший столь вредоносный роман*. Однако такое прочтение противоречит тексту романа, в котором точки зрения автора и персонажа то совпадают, то расходятся самым решительным образом. Автор-Макушинский стремится к созданию цельного образа времени, места и человека. «Автор»-Двигубский может создать только фрагмент повествования, который повторяется, как кошмарный сон: «Григорий; въезд в город; площадь, вокзал, сад, раскоряки; поездка в имение с кап. Степановым; возвращение, разговор с полковником; спрашивает себе отпуск; на другой день остается один; гостиница, хозяин гостиницы; обходит город еще раз; дом, где жила Лидия; все повторяется <...>». Призрачный герой совершает бесконечный осмотр чужих для него декораций. Его создатель как будто не может решить, какую тайну, в конце концов, он хочет разгадать: тайну героя или тайну эпохи? Они, герой и эпоха, почему-то не могут соединиться в структуре художественного образа. Природа их несовместимости и составляет главную загадку — двигатель романного повествования, в котором действует все-таки живой, а не марионеточный персонаж. Потому что Павел Двигубский — это несомненная удача Алексея Макушинского как прозаика. Это герой, который чем-то неуловимым похож на недосыгаемо живых героев русской прозы XIX века. Он так похож на настоящего человека, что невольно возникает вопрос о прототипе. Тем более что второй, не менее интересный персонаж этой книги — друг главного героя и летописец его жизни, является полной тезкой автора романа. Впечатление живой достоверности не умаляет даже несколько шаржированный портрет персонажа: худой, высокий, неловкий, очень (ну, очень-очень) густые брови, похожие на птицу, когда смеется, сгибается пополам.

Алексей Макушинский, автор нескольких литературоведческих исследований о русском романе, хорошо чувствует границы этого жанра, хорошо представляет динамику его измельчания и, в отличие от своего героя-писателя Двигубского, не пытается игнорировать эти изменения. Его роман представляет собой художественное исследование границ жанра, но проведенное не со стороны постмодернизма, а со стороны реализма. На примере рукописи Двигубско-

го Макушинский показывает ряд романских невозможностей.

Основой сюжета не может стать история любви, любовные коллизии, переходящие в семейную драму. Любовный треугольник Григорий — Лидия — Кудеяр, возникающий в тексте Двигубского, свидетельствует о безусловном провале самой идеи биографического повествования: «Лидия! Лидия, учительница, подруга Кудеяра. Григорий пытается бежать; прячется у Лидиной тетки; его схватывают. Товарищ Сергей, главный чекист. Тов. С. хочет расстрелять его. В город приезжают Кудеяр и Лидия. Лидия узнает его. Просит за него Кудеяра. Кудеяр не позволяет расстреливать. Товарищ Сергей инсценирует побег. Финал. Гибель». Здесь правдиво звучат только два последних слова.

Герой романа не может выступать как типичный представитель эпохи. Несмотря на то что Двигубский — историк и досконально знает предметный облик эпохи, он приходит в ужас от необходимости ввести в свой текст описание одежды, усов, штанов, лошадей, всего того, что окружает его персонажа. Двигубского тошнит от необходимости стилизовать повествование так, чтобы сквозь него можно было расслышать эхо языка той эпохи. А как иначе? Как, например, должны обращаться друг к другу герои? Сударь? Товарищ? На худой конец, можно обойтись вообще без диалогов, ограничиться несобственно-прямой речью. Но и это не спасает положение.

«Мысль народная» и «мысль семейная» давно сданы в архив, и это ни для кого не новость, но оказалось, что при их упразднении образовалась пустота, которую не в силах заполнить приемы модернистской поэтики. Но ее нужно, для Двигубского — жизненно необходимо заполнить. Не просто «знать» о том, что в 1917 году произошел Октябрьский переворот и т. д., но воочию увидеть людей, которые были свидетелями, участниками и жертвами тех событий. Их судьбы должны выйти для нас за рамки исторического анекдота, они должны вызвать наше возмущение, сожаление, сострадание. Но все, что удается Двигубскому — это рассказать очередной «случай из жизни», мертвый по сути, хотя и дающий пищу для размышлений.

Каждый раз, когда Двигубский хочет соединить свои историсофские размышления (вполне совпадающие с авторскими) с правдой человеческих отношений, со всеми этими деталями, он терпит поражение, потому что чувствует глубокую неправду того, что можно было бы назвать вымыслом.

* Анкудинов К. Марианская впадина. Прогулки по журнальному саду с Кириллом Анкудиновым // <http://svpressa.ru/society/article/58932/>

Почему «роман на старый лад» так и не был написан? Макушинский ищет ответ не в личных свойствах Двигубского: был ли он в достаточной мере талантлив, смел, самоотвержен, эгоистичен и т. д. Речь идет об особых отношениях между временем и человеком, чья биография более не имеет значения. Именно эти отношения, отношения отталкивания не дают возможность увидеть эпоху глазами героя. Это касается как Григория — героя Двигубского, так и Двигубского — героя Макушинского, хотя, конечно, в меньшей степени. Хронологические приметы действия — поздний застой, перестройка, «нулевое» безвременье прописаны подробно, фигурно, виртуозно. А все-таки и это время не более чем шаткая декорация, на фоне которой разворачивается драматическая история идей и их носителей.

Владимир Вейдле, рассуждая о кризисе романной формы, пишет о том, что прозаик потерял возможность создать в романе живой человеческий образ, вместо этого он создает марионетку, во всем покорную своему создателю.

Макушинский показывает нам пример, пожалуй, обратный тому, о чем пишет Вейдле: не мир авторских идей без человеческого образа, а живого персонажа, лишённого судьбы, действующего как бы в безвоздушном пространстве.

Но что может стать сюжетом сегодня, после всех модернистских и постмодернистских игр? После того и ввиду того, что человек больше не центр истории, что и самой истории, кажется, уже нет? Человеку просто нечего делать на этой сцене.

История, которую жаждет рассказать нам Двигубский, должна была произойти на фоне революции, на фоне любви, на фоне гибнущей России, на фоне удивительной загадки непознаваемой личности человека, на фоне русского языка, но факт в том, что эта история становится осмысленной только по ту сторону любой конкретики: «Помимо всех вариантов и по ту сторону слов рассказать ее, разумеется, невозможно, но никакому сомнению не подлежит теперь для меня, что во всех своих тетрадях и рукописях, при всем разнообразии испробованных и отвергнутых им ходов, при всей путанице ветвящихся, всякий раз в тупик и в никуда заводящих дорог, дорожек, тропинок, он рассказывает все одну и ту же, ту же самую, все время, историю, рассказать которую он все-таки не сумел, ни более, ни менее подробно, к примеру, ни совсем кратко, допустим, ни с диалогами, ни без диалогов; историю, думаю я теперь, разбирая его бумаги и рукописи,

которая сама, может быть, не позволила ему себя рассказать, предпочтя остаться где-то там, по ту сторону слов, в мире чистых идей и не осуществившихся, не запятанных осуществлением возможностей <...>».

Авторская стратегия Макушинского прямо противоположна тому, что делает Двигубский. Никакой любовной линии в судьбе Двигубского нет, а есть неудачный брак, несложившаяся карьера, дочь — типичный кособокий продукт эпохи потребления. Эти тяжелые, но весьма обычные жизненные обстоятельства составляют не сюжет, а фон повествования. У Двигубского, равно как и у его визави «Макушинского» нет яркой судьбы, нет и определенных языковых черт. Роман «Город в долине» написан «одной рукой». Такое ощущение, что предполагаемые тексты героя «переведены» на язык автора. И об этом «переводе» нужно сказать особо, потому что та странная, бесконечная фраза, которая, кажется, может вместить в себя и написанный и ненаписанный роман, и еще многое другое, напоминающая одновременно Толстого и Набокова — это еще один «герой» романа Макушинского, такой же яркий, несомненный, как и два товарища, рассуждающие о судьбах русского романа и русской революции.

Текст движется от встречи к встрече, приятели взрослеют, стареют, защищают диссертации, эмигрируют, соответственно, во Францию и Германию, но движение текста основано на другом. В нем показано, как идеи взаимодействуют со временем, как они превращаются из потрясения основ — сначала в предмет исследования, а затем — в банальность. Нет, история, страшная, непонятная, позорная история XX века не стала банальностью. Но она стала такой казаться. То, что представлялось молодым героям романа взрывоопасным — правда о Гражданской войне, Елецкая республика, тоталитарные системы XX века, создателями современного «гуманитарного дискурса» воспринимается как рутина, как некий весьма условный «объект». И это особый род виртуализации смыслового пространства: реальность превращается в параграф диссертации.

Двигубский, в каком-то смысле, действительно герой. Он вступает в неравный бой не только с беспамятством современности, но и с олитературенной памятью исторического мифа. Своей неудавшейся попыткой утвердить реальность трагических событий XX века он как бы говорит о том, что литература XX века, свободная, а не подцензурная, не справилась с этой задачей. Что

сегодня нам мало «Окаянных дней» Бунина, «Солнца мертвых» Шмелева, «Доктора Живаго» Пастернака, текста слишком амбивалентного на сегодняшний вкус. Двигубский смеет утверждать, что вся эта — великая — литература не сказала самого главного и литературная традиция нуждается еще и в нашем слове о том же самом. Нужно ли говорить, что и в этом бою он терпит сокрушительное поражение?

Но читатель романа «Город в долине» имеет возможность в полной мере оценить «величие замысла», потому что сверхзадачи Макушинского и его героя при всей разнице их литературных стратегий совпадают: «изо всех сил оставаться в границах реальности».

Попытка оставаться в границах реальности — это и есть судьба Павла Двигубского, более реальная, чем свадьбы, похороны и перемещения по карте Европы. Это его маленький незаметный подвиг. Спасаться от эрозии реальности можно — решая

«собственно литературные» задачи. Но Двигубский поступает по-другому. Он тратит все силы на то, чтобы написать несколько тетрадей никому не нужного текста, и вся его жизнь превращается в одну сплошную стыдную неудачу. Но он никогда не оставит попыток предать форму бесформенному, превратить нелепую историю в тот шедевр, каким она, наверное, явилась ему в непредставимом идеальном пространстве замысла.

Макушинский ценой творческой гибели своего героя, очень дорогой ценой, купил себя право, пусть косвенно, пусть через отрицательные конструкции (так нельзя и эдак не получится), но все-таки связать духовный облик современности с исторической катастрофой XX века. Не через категорию памяти, на чем мог бы быть основан исторический роман, но через категорию забывания. Наша связь с некалендарным XX веком тем крепче, чем меньше мы об этом думаем, чем меньше мы хотим об этом думать.

Екатерина ФЕДОРЧУК



АВТОРЫ НОМЕРА

Березовский Николай Васильевич родился в 1951 г. на Сахалине. Работал в геологоразведке, на заводе, в газетах. Окончил литературный институт им. Горького. Публиковался в журналах «Юность», «Октябрь», «Сибирские огни» и др. Автор ряда книг прозы, стихов, публицистики и критики. Лауреат многих литературных конкурсов. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Живет в Омске.

Бирюков Дмитрий родился в Новосибирске в 1979 году. Окончил гуманитарный и философский факультеты НГУ, учился в Литературном институте им. Горького. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «День и Ночь», «Пролог» и др.

Бруштейн Ян Борисович — поэт и прозаик. Родился в 1947 г. в Ленинграде. Кандидат искусствоведения. Работал журналистом, преподавателем, возглавлял региональный медиа-холдинг. Автор книги нескольких поэтических сборников. Живет в г. Иваново.

Дергачёва Виктория родилась в 1986 году в г. Амвросиевка Донецкой области. Окончила исторический факультет Уральского государственного университета. Учитесь в Екатеринбургском государственном театральном институте на «Литературном творчестве» у Н. В. Коляды. Публиковалась в сборнике пьес уральских драматургов «Я не вернусь». Живет в городе Екатеринбург.

Роньшин Валерий Михайлович родился в 1958 г. Окончил Петрозаводский государственный университет по специальности «История» и Литературный институт по специальности «Литературное творчество». Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Сибирские огни» и пр. Живёт в Санкт-Петербурге.

Синявская Зинаида Моисеевна родилась в 1948 г. в Херсоне. Училась в Киевском политехническом институте. С 1997 года живёт в Израиле.

Плитченко Александр Иванович (1943 — 1997) — русский поэт. Автор переводов алтайского и якутского эпоса, поэтических переводов, сделанных по подстрочнику, с турецкого, алтайского, якутского, тувинского, бурятского, венгерского, польского, немецкого, монгольского языков.

Сурнина Ирина родилась в г. Рубцовске. Окончила Литературный институт. Стихи и проза публиковались в «Литературной России», «Литературной газете», журналах «Сибирские огни», «Наш современник», «Континент» и др. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Чебанюк Константин Сельвестрович родился в Одессе в 1936 г. Из крестьян. Образование: Архангельское мореходное училище и Водный институт (Одесса). 1956—1994 — ремонт и модернизация судов ММФ СССР; 1998—2008 — вахтенный смотритель Одесского маяка. Рассказы печатались в архангельской газете «Моряк Севера». Живет в Одессе.

Щукин Михаил Николаевич родился в 1953 г. в с. Мереть Сузунского района Новосибирской области. Окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. С 1969 г. — литературный сотрудник сузунской районной газеты «Новая жизнь», новосибирской областной газеты «Советская Сибирь», собственный корреспондент журнала «Огонек» и газеты «Литературная Россия» по Сибири; с 1995 г. — главный редактор журнала «Сибирская горница». Автор 14 книг — романов, повестей, сборников рассказов. Лауреат премии Ленинского комсомола. Живет в Новосибирске.